



## Annotation

Роман Е. Пермяка «Горбатый медведь» — о революции, о рабочих уральского города, о коммунистах, возглавивших борьбу за власть Советов.

В центре внимания писателя — судьба молодого героя, будущего большевика Маврикия Толлина. На страницах произведения юноша проходит сложный путь духовного развития, превращаясь в убежденного борца за социализм.

---

- - [Евгений Пермяк](#)
    - [КНИГА ПЕРВАЯ](#)
      - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
        - [ПЕРВАЯ ГЛАВА](#)
        - [ВТОРАЯ ГЛАВА](#)
        - [ТРЕТЬЯ ГЛАВА](#)
        - [ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА](#)
      - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
        - [ПЕРВАЯ ГЛАВА](#)
        - [ВТОРАЯ ГЛАВА](#)
        - [ТРЕТЬЯ ГЛАВА](#)
      - [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
        - [ПЕРВАЯ ГЛАВА](#)
        - [ВТОРАЯ ГЛАВА](#)
        - [ТРЕТЬЯ ГЛАВА](#)
        - [ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА](#)
      - [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
        - 
        - [ПЕРВАЯ ГЛАВА](#)
        - [ВТОРАЯ ГЛАВА](#)
-



**Евгений Пермяк**  
**ГОРБАТЫЙ МЕДВЕДЬ**

# КНИГА ПЕРВАЯ

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ПЕРВАЯ ГЛАВА

#### I

Рано начинаются зимние сумерки в затемненной сырой квартире с двумя маленькими окошками, которые выходят на тесный двор высокого дома. Скучно сидеть в полумраке восьмилетнему Маврику и смотреть на стрелки будильника. Еще целых два круга нужно пройти большой стрелке, и только тогда вернется мама, если ее, конечно, не задержат в магазине Зингера, где она служит кассиршей. С мамой придет свет керосиновой лампы и тепло круглой печи, остывшей за день.

Маврик мог бы и сам растопить печь и зажечь лампу. Спички так и просятся:

— Возьми нас... Не бойся. Чиркни!

— Нет, нет, — отвечает им Маврик, не открывая рта. — Я дал маме честное слово не прикасаться к вам. И, пожалуйста, не поддразнивайте меня. Разве вы не знаете, что обмануть маму — это самое страшное из всех самых страшных преступлений. За это мало тюрьмы...

Спички получают по заслугам. Маврик закрывает их блюдцем. Пусть сидят в темноте и не смеют попадаться на глаза. Один их вид наводит на всякие размышления. А Маврик был и останется порядочным человеком на всю жизнь.

Но и порядочному человеку, выучившему все уроки, невесело коротать время с мышами. Опять хлопнула мышеловка. И опять пришлось вздрогнуть. Маврик не трус, он просто немножко нервный. В прошлом году он испугался громкого пароходного свистка и стал после этого заикаться. Мышеловка тоже хлопает слишком сильно.

Нужно посмотреть, кто попался. И Маврик лезет под кровать. Попалась очень скромная, тихая мышка. Не бьется, не бегают, не старается улизнуть. Среди таких мышей и встречаются заколдованные феи, добрые волшебницы. А вдруг это не простая мышь? Стоит только ее пожалеть, и жалость снимет с нее злые чары. Пока этого еще не случилось, но может случиться. Выпущенная мышь превратится в красавицу и скажет:

— Спасибо, Маврик. Проси что захочешь, и я все сделаю для тебя.

И Маврик скажет ей:

— Пожалуйста, сделайте так, чтобы я сейчас же очутился в Мильвенском заводе, в дедушкином доме, где светло горят лампы и топят печи, где не нужно смотреть на часы и сидеть одному в темной комнате.

— Только-то и всего, — скажет волшебница, — а я думала, ты попросишь лошадку пони, а то и двух... Одну себе, а другую для Санчика. Вдвоем куда интереснее скакать по улицам Мильвенского завода...

Скажет так и тут же исчезнет, а Маврик окажется в дедушкином доме, и на дворе будут тоненько ржать две маленькие лошадки пони. Феи любят нежадных и поэтому дают им и то, что они не смеют у них попросить, но очень хотят.

Фея даже может сделать так, что на дедушкином дворе, за старым сараем, появится пруд. По пруду фея может пустить и пароход. Ей что?.. Махнула волшебной палочкой и сказала: «Будь пароход!» И будет пароход. Небольшой. С тремя каютами. Для мамы с папой одна. Для тети Кати с бабушкой другая. И для Маврика с Санчиком. Хотя они могут обойтись и без каюты. Потому что им некогда будет в ней сидеть. Нужно вертеть рулевое колесо, подбрасывать в котел дрова, давать свистки, отдавать чалки, приставать к пристаням.

Фея может сделать и так, что на пруду появятся две пристани. Тоже маленькие, но побольше кровати. И с крышей. И с флагами. Одна пристань будет называться Банная — на том берегу возле бани, а другая на этом, возле сарая, Сарайная. Или лучше — Сарайск. Город Сарайск. Вот и ездят туда и обратно... Какое это счастье!

Размечтавшийся мальчик открывает мышеловку и осторожно выпускает из нее серую пленницу. Мышь не торопится убежать в свою

норку. Она оглядывается на Маврика, раздумывает о чем-то... И вот-вот, кажется, начнет превращаться в фею, но не превращается, а исчезает...

На свете очень редко встречаются добрые феи. Из них Маврик знает только одну, да и та не фея, а тетя Катя.

Тетечка Катечка, а почему бы тебе не стать хоть на немножечко, хоть на одну минуточку феей? За эту минуточку ты бы успела взмахнуть волшебной палочкой и вернуть к себе своего Маврика.

Милая тетечка Катечка, ты не знаешь, как трудно сидеть без лампы и ждать, когда мама вернется от Зингера и затопит печь. Милая тетечка и милая бабушка, мне плохо, мне холодно, а мамы все нет и нет...

Крупные слезы заливают глаза Маврика. От слез ему становится еще холоднее, и больше нет никакой возможности терпеть, он должен написать письмо тете Кате и упросить взять его к себе, в Мильвенский завод, в теплый дедушкин дом...

## II

В тот вечер Маврику не удалось написать письмо своей тетке. Помешали слезы, которые никак не хотели переставать литься из его глаз, да и мама вернулась раньше, чем всегда. Загорелась под потолком лампа, и затрещали в печи дрова. Мама принесла очень свежие сосиски, которые так любил Маврик. Она получила прибавку. Рубль. Рубль—это воз дров. Пусть небольшой, но все же воз.

Мама не забыла купить и любимые царьградские яблоки. Она все, что могла, делала для Маврика. И Маврик знал, что мама любит его. И он любил ее, хотя все реже и реже сидел у нее на коленях. Наверно, вырос. А может быть, теперь маме нужно любить не одного Маврика, потому что появился папа. Второй папа. Первый умер. Его почти не помнит Маврик. Ему тогда было три с половиной года.

Первый папа похоронен на старом кладбище против тюрьмы, где сидят «политические». На папином кресте написано: «Андрей Иванович Толлин». Маврик тоже Толлин. Тетя Катя ни под каким видом не советовала ему менять фамилию. И второй папа ничуть не обиделся на это. Наверно, он понимал, что нехорошо отказываться от

фамилии настоящего отца. И кроме того, тетя Катя сказала, что быть мещанином города Перми Маврикием Андреевичем Толлиным лучше, чем сыном крестьянина деревни Омутихи Завозненской волости Маврикием Герасимовичем Непреловым.

Мещанин — это мещанин, да еще такого города. А крестьянин — это совсем другое. Хотя его новый папа совсем не похож на крестьянина и он не носит лаптей, но все равно Мама стала теперь Непреловой. Для нее перестать быть Толлиной ничего не значит, потому что это тоже не ее фамилия, а папина. У мамы настоящая фамилия Зашеина, как у бабушки и у тети Кати.

Но зачем на это обращать внимание. Мама со всякой фамилией остается мамой. Правда, не очень приятно объяснять в школе, почему он Толлин, а не Непрелов. Но что же делать. Он же сам согласился на нового папу и венчался вместе с ним и мамой в церкви на Слудке. И священник не запретил Маврику ходить вокруг аналая, когда мама была папиной невестой, а папа — ее женихом. Значит, Маврик тоже повенчанный со своим новым отцом. Они втроем праздновали свадьбу, и Маврик пил шипучее вино, разбавленное лимонадом. Оно шипело и щекотало в носу. Папа в этот день подарил Маврику волшебный фонарь, которым можно показывать на стене туманные картины. Очень хороший фонарь, только мало картин. Шесть стекол. Осталось пять. Одно разбилось.

Папа и теперь каждый раз, как только получит жалованье, покупает ему подарки. Хотя и не такие, как волшебный фонарь, но тоже интересные. Он и сегодня принес подарок. Электрический фонарик с кнопкой. Стоит нажать эту кнопку, и под увеличительным стеклом, на боку фонарика, зажигается лампочка. Маврик был очень рад.

— Теперь я не буду сидеть в темноте.

Но папа сказал, что батарейки хватает только на два часа, если фонарик держать все время зажженным.

— Как мало, — удивился Маврик.

— Что же делать, — сказал папа и пообещал в следующее жалованье купить еще две батарейки.

Не попросить ли Маврику денег у тети Кати?

Нет. Он этого не сделает. Тете Кате нужно написать не о батарейках, а совсем о другом. Да и много ли изменится в его жизни,



если у него будет двадцать или тридцать батареек? От этого будет, конечно, светлее в комнате, но не там, не внутри, где душа, где сердце, где спрятано самое главное, о чем нельзя рассказать ни папе, ни маме, и никому, кроме тети Кати и бабушки.

В комнате стало очень тепло, и мама была так ласкова, а царьградские яблоки оказались еще вкуснее, чем они были всегда, но письмо в Мильвенский завод не выходило из головы Маврика. Оно и не могло выйти, потому что мама опять задала Маврику тот же вопрос. Она сказала:

— А не веселее ли будет тебе, если мы купим на Черном рынке маленького братца или маленькую сестричку?..

Мама всегда советовалась с Мавриком, и Маврик всегда отвечал то, что ей хотелось. Теперь ей хотелось мальчика или девочку. И Маврик не мог запретить ей хотеть этого. И если бы он сказал «нет», то мама все равно бы добилась от него «да». И он ответил:

— Да.

Мама была очень рада. Папа пообещал, не дожидаясь жалованья, завтра же купить еще три батарейки и постараться разыскать к волшебному фонарю новые стекла с новыми картинками.

Маврик молчал и краснел. Мама и папа, наверно, думали, что он краснеет от удовольствия. А он краснел от стыда. Ему было очень стыдно говорить неправду и еще стыднее слушать ее. Покупка братика или сестрицы на Черном рынке, где будто бы купили и его, это неправда. Он родился в Мильве, в дедушкином доме, в большой комнате, в пять часов утра восемнадцатого октября, и его принимал доктор Овечкин. А то, что цыган привозит на рынок полный короб плачущих ребятишек, которых продают как цыплят или поросят, — это ложь. Но в нее приходится верить. Делать вид, что веришь. Нельзя же сказать матери, что она... Что она сочиняет. Этого сказать невозможно, но невозможно и прикидываться дурачком, хотя бы в угоду матери. Это значит — тоже лгать.

Если бы у него были деньги, он завтра же послал бы длинную-предлинную телеграмму в Мильвенский завод. И может быть, он это сделает. Его первый папа когда-то служил на почте, и у него там остался товарищ. Телеграфист. Этот телеграфист всегда здоровается с Мавриком и рассказывает ему о папе. Может быть, он пошлет телеграмму без денег или в долг?

Нет. Об этом узнает мама. Телеграфист может рассказать ей. Только письмо. Прошитое нитками и запечатанное сургучом...

### III

Маврик уснул рано. Электрический фонарик лежал у него под подушкой. Мальчик улыбался во сне, и мать была очень рада, что ее сын так сладко спит. Теперь никто не мешал поговорить и помечтать вслух.

— Ты знаешь. Люба, — сказал Мавриковой маме его отчим, — бумаги уже находятся на подписи. Наверно, на той неделе я буду чиновником, и тебя никто не посмеет упрекнуть за меня...

Герасиму Петровичу очень хотелось получить первый чин — коллежского регистратора — и надеть чиновничью форму. Хотя он и не останется служить в пермском окружном суде, где сейчас числится переписчиком, но, став чиновником, он перестанет называться крестьянином, что так важно для счастья Любочки и его счастья.

Ради этого он покинул Мильвенский завод, где мог занять очень хорошее место доверенного товарищества «Пиво и воды» и получать не двадцать три, а семьдесят рублей при готовой квартире с отоплением и освещением за счет фирмы. Но все равно бы все говорили, что писаная красotka Любочка выскочила замуж за мужика из Омутихи. И ей нечего было на это ответить. А теперь, извините, она чиновница, жена коллежского регистратора.

— Я так счастлива, Герочка, я так счастлива, милый мой, — говорила и плакала Любовь Матвеевна на плече мужа, который станет ее гордостью на той неделе, и она заложит в городской ломбард плюшевую шубу на лисьем меху, и тогда хватит денег, чтобы заказать настоящую диагональную форму коллежского регистратора.

Все равно скоро весна, и ей ничуть не трудно бегать в драповой жакетке от Сенной площади, где они живут, до Зингерского магазина на Черном рынке. А потом ему прибавят жалованье... А летом не нужно будет покупать дрова и платить за обучение Маврика в школе Ломовой.

— Все будет хорошо, — шептала, засыпая, Любовь Матвеевна. И Герасим Петрович верил этому.

Розовый свет трехлинейного ночника озарял уснувших надеждами. Каждый лелеял свои желания, и они очень часто сбывались во сне. Этот бескорыстный обманщик не жалел красок, рисуя спящим людям и то, что наяву не могло выдумать самое пылкое воображение.

Герасим Петрович видел себя фермером. Фермер — это новое слово, которое появилось несколько лет тому назад. Ферма Герасима Петровича снилась ему не столь большой. Тридцать коров. Дом в три комнаты. Хорошие лошади. Пролетка на резиновых шинах. Небольшое, но и не маленькое рубленое помещение молочного завода, где будет стоять ведерный сепаратор, бочка для взбивания сливок и пресс. Пресс прессует фунтовые кружки сливочного масла, а на кружках рельефное изображение породистой коровы и надпись: «ФЕРМА Бр. НЕПРЕЛОВЫХ». Его брат — Сидор Непрелов, умный и хозяйственный, но малограмотный мужик, — тоже войдет в компанию. И вообще вся деревня Омутиха будет кормиться, и хорошо кормиться, возле фермы. Кто сбивать масло, кто работать на молочном заводе, кто ходить за скотом. Но до этого нужно заработать и скопить деньги. Все начинается с них. И служба в суде началась с денег. Продается и покупается все, даже место судейского переписчика.

Герасим Петрович не собирается сделать хуже для своих однодеревенцев-омутихинцев. Он хочет, чтобы они ходили в сапогах, а не в лаптях, пахали плугами, а не сохами и благодарили своего благодетеля — коллежского регистратора в отставке, фермера Непрелова.

Лучшего сна нельзя и желать. Однако же если бы этот фермерский сон вместе с Герасимом Петровичем могла видеть и Любовь Матвеевна, то им, наверно, пришлось бы скоро проснуться. Любовь Матвеевна ни при каких обстоятельствах не будет жить в деревне. Потому что «это ужасно и невыносимо и, одним словом, кошмар».

Любовь Матвеевна видит себя женой доверенного фирмы «Пиво и воды». Квартира на втором этаже. Варшавские кровати с никелированными шишками. Ковры на полу и на стене. Большой столовый стол с двенадцатью венскими стульями. Четверги или пятницы, когда собираются гости. Преферанс и лото. Пельмени. Шуба

на беличем меху. Оренбургская шаль, которая легко продевается в обручальное кольцо, и смиренная вороная лошадь. Как у Дудаковых в Мильве.

И это она отчетливо видит во сне. Видит и знает, что этот сон станет явью. Любовь Матвеевна не позволит себя обманывать даже снам. Она видит только то, что будет или, по крайней мере, может быть.

А мещанин города Перми Маврикий Андреевич Толлин по малолетству позволяет снам властвовать над собой и показывать им невозможное.

Невозможное заключалось в том, что тетя Катя вела, ломая лед на Каме, крейсер «Варяг» и командовала: «Наверх вы, товарищи, все по местам...» И все подымались наверх. Палили из пушек. Льдины рушились, и крейсер подходил уже к Перми, чтобы, забрав Маврика, двинуться обратно в Мильву, но в последнюю минуту «Варяг» наскакивает на огромную льдину... «Шумит и гремит и грохочет кругом...» Маврик просыпается.

Начинается утро. Обыкновенное зимнее утро, когда заглушают будильник, когда гасят ночник с розовым стеклянным абажурчиком, зажигают лампу, потому что на улице еще темно, разогревают вчерашний ужин или просто пьют чай с почерствевшим за ночь хлебом.

Маврик, закрывшись с головой одеялом, оплакивает гибель тети Кати вместе с крейсером. Но сон постепенно оставляет мальчика, а с ним проходит и страх...

#### IV

Маврик мог бы и не просыпаться так рано. В школе Ломовой занятия начинаются в девять часов утра. А до школы — пять минут. Но Маврика нужно накормить, а потом погасить лампу. Ему этого делать тоже не разрешено. И Маврику приходится уходить из дому на полтора часа раньше, когда уходят его родители. Ничего не поделаешь — они тоже не виноваты.

Маврик обычно заходит в Богородскую церковь. Там тепло, и его знает церковный сторож. Но что делать в церкви? Смотреть на иконы?

Он уже насмотрелся на них. Замаливать грехи?.. Какие?

Иногда Маврик заходит в булочную. Булочная открывается очень рано. Но в булочной можно постоять недолго. Там обязательно спросят: «Что тебе?» Не ответишь же: «Мне ничего, я просто так».

Утром необыкновенно трудно проболтаться час. Раньше он заходил к сапожнику Ивану Макаровичу, который с удовольствием разговаривал с ним. Но мама запретила заходить к нему, потому что у сапожника он может набраться скверных слов, хотя у Ивана Макаровича были только хорошие слова. Он любил Маврика. Он называл его «барашей-кудряшей». Он рассказывал ему множество интересных историй. Почему же нельзя дружить с сапожником, у которого нет детей, а он любит их? Почему?

Но мама все равно потребовала, чтобы Маврик дал ей честное слово не заходить больше к Ивану Макаровичу, и заходить стало некуда.

Другое дело после школы. Можно пойти в городской музей. Правда, он там бывал раз сорок и знает все от чучел зверей до двухголового ребенка, заспиртованного в банке. Но все равно, когда некуда деваться, можно пойти и в музей. Там его знают...

Иногда он проводит время у бабушки. У мамы первого папы. Но бабушка живет в богадельне, и не одна. В ее комнате еще шесть других чьих-то бабушек. Там нужно сидеть на одном месте и разговаривать шепотом. А это очень трудно. Да и бабушка начинает расспрашивать, как он живет, что делает, любит ли его новый отец, тепло ли в квартире, почему его мама давно не была в богадельне... На эти вопросы ему не очень легко отвечать. Если Маврик скажет правду, то получится, что он жалуется на свою маму, а ничего не говорить тоже нельзя. Бабушка требует рассказывать все.

— Я же твоя родная бабушка, — говорит она, — ты ничего не должен скрывать от меня. Если что, я сумею постоять за тебя...

А как «постоять»? Обидеть его маму? Накричать на нее? Она и без того как «белка в колесе». И это она не выдумывает. Ей нелегко.

Если бабушка на самом деле хочет «постоять» за него, так пусть приходит после школы и посидит с ним хоть полчаса. А бабушка этого не делает. Но и ее нельзя обвинять. Наверно, ей неприятно видеть вместе с мамой другого папу... Да и папе, наверно, тоже не хочется встречаться с бабушкой, которая ему никто, а «одни только

напоминания». Хватит ему и того, что Маврикий Андреевич Толлин напоминает и лицом и фамилией первого папу, а тут еще «старая свекровка Толлиниха». Так ее называет Маврикова мама.

Вот и приходится заходить в богадельню к бабушке очень редко, когда совсем некуда деться.

Если бы Маврик учился в обыкновенной школе, то у него были бы обыкновенные товарищи. Как он. И Маврик мог бы приходить к ним, а они к нему. И было бы хорошо. Но в школе у Александры Ивановны Ломовой учатся мальчики, которых привозят и увозят на лошадях или приводят и уводят горничные. Не всех, но многих. А те, которые ходят сами, все равно не кассиршины дети. У них папы не служат переписчиками в судах. У них папы господа или купцы, а мамы купчихи или барыни... И все они живут в своих больших домах или в квартирах, где много комнат, и туда нельзя приходить, как к сапожнику.

Впрочем, Маврика однажды пригласил к себе школьный товарищ Володя Морин, но потом перестал приглашать. Перестал приглашать потому, что Володя побывал в квартире у Маврика. Побывал и увидел, что у Маврика, вместо столика для учения уроков, стоит ящик из-под зингеровской машины, покрытый клеенкой. Увидел, что стульев только три и все разные, а комнат — одна. Увидел и рассказал об этом всем остальным в первом классе. И все заметно переменились. Правда, Александра Ивановна Ломова разговаривала с классом и сказала, что «бедность не порок», но все же от этого Маврик не стал богаче, а несчастнее стал. Его при всех назвала бедным сама Александра Ивановна... А быть бедным среди богатых еще хуже, чем сидеть одному в темноте.

Однако в классе находились мальчики, которые не обращали внимания на богатство. Например, Геня Шаньгин. Геня был паровозом. Он самый большой в классе. Его оставили на второй год. Он умел свистеть и шипеть, как настоящий паровоз. И когда в переменку играли в поезд, Геня Шаньгин подымал пары, подавал свисток, и все мальчики становились вагонами друг за дружкой, держась за ремни. Геня начинал шипеть, потом двигать локтями, как паровозными рычагами... Поезд двигался по классу, потом по большой комнате...

Маврик сначала был почтовым вагоном, а теперь его сделали простым товарным — и он мог прицепиться только к хвосту поезда. Самым последним.

Плохо быть простым товарным вагоном в хвосте поезда. Можно оторваться на крутых поворотах и полететь кувырком и больно удариться о печь. Но быть никем еще хуже.

Спасибо Гене Шаньгину за то, что он разрешает Маврику быть в его поезде хотя и последним, но — вагоном...

## V

Если бы Маврик знал, что ему так плохо будет в Перми зимой, разве бы он поехал сюда? Ему нужно было сказать всего лишь одно слово — «нет», и тетя Катя и бабушка ни за что не отпустили бы его из милой Мильвы.

Но Пермь манила его. Он любил приезжать в этот белый город. Белый город начинался дымным Мотовилихинским заводом. Мотовилиха чем-то походила на родной Мильвенский завод. За Мотовилихой сразу же начиналась Пермь. В городе Маврика ждал жареный миндаль в «фунтиках», вафли трубочками, горячие жареные пирожки, фонтан в театральном саду, извозчики, у которых лошади так хорошо выколачивают копытами «ток-ток-ток».

Да разве можно с чем-нибудь сравнить Пермь летом. Что может быть лучше, чем стоять в набережном саду, который почему-то называется Козьим загонем, хотя там нет никаких коз. Стоять в Козьем загоне и любоваться пароходами. Сколько их тут... Любимовские, каменские, кашинские, русинские... А буксирных? А барж? А плотов? Про лодки нечего и говорить. На них можно и не смотреть.

Как было бы хорошо, если бы не застывала Кама, не заносило снегом улицы и ночи бы всегда оставались короткими, светлыми, а дни длинными и теплыми. Тогда бы не нужно Маврику торчать в музее, в церкви, в писчебумажном магазине и вообще придумывать, куда уйти от холода и рано наступающей темноты.

Маврик многое увидел, узнал и понял в Перми. Но мог ли он увидеть больше и понять лучше увиденное, чем он мог?

И помехой этому были не только его малые годы, но и глаза, которые могли видеть окружающее и понимать его так, как видели и понимали мама, папа, тетя Катя и две бабушки.

Недавно бабушка Пелагея Ефимовна Толлина внушала внуку:

— Кому как написано на веку, тот так и живет. К примеру: булочник торгует булками, мужики сеют рожь, судьи судят, рабочие работают, губернатор губернаторствует, школьники учатся, нищие просят милостыньку, а царь царствует над всеми. Понял?

— Понял!

И бабушка опять начинает наставлять:

— И всякому свое, и все от бога. И никто ничего не может изменить, потому что от бога не до порога и без него даже и волос не упадет ни с чьей головы. Ясно?

— Ясно.

Да и как может быть не ясно, когда он это же, только сказанное другими словами, слышал от первой бабушки. От главной.

Значит, так устроена жизнь не только в Мильвенском заводе, но и в Перми. Коли Агафуровым написано на веку быть хозяевами большого магазина, они и торгуют. А батюшкам в Богородской церкви написано отпевать покойников и крестить ребят — они и отпевают и крестят. Всякому свое. И было бы смешно, если бы губернатор стал играть вдруг на шарманке и предлагать билетик на счастье или отпевать покойников, а шарманщик — ездить в карете. Не может и он, Маврик, стать вагоном-салоном или хотя бы багажным, если ему написано на веку быть товарным вагоном и прицепляться в хвост поезда. И этого нельзя изменить.

Мало ли истин, на которые можно и нужно положиться. И полагались. Терпели, обманывались и молились.

Кто же мог сказать Маврику, что богатые люди богаты потому, что бедны другие, что они обворовывают их. Этому не поверил бы Маврик, даже если бы так сказал ему и сам Иван Макарович, который очень много знает. Больше учительницы в школе Ломовой. Маврик обязательно бы удивился и спросил: если они воры, то почему же не сидят в тюрьме?

Кто мог разъяснить Маврику, что эта кража состоит в том, что одни нанимаются на работу, а другие нанимают их. Одни работают, а другие наживаются на их работе, недоплачивая им за нее.



Кажется, просто, но этого бы не понял и его отчим Герасим Петрович Непрелов. Ему, как и миллионам других, не могло прийти в голову, что через семь лет рухнет это царство купцов, фабрикантов, чиновников и жандармов. И его превосходительство господин губернатор, упоминание имени которого приводит в трепет, будет — никто.

Многие ли знали, что «политические», которые сидят в тюрьме напротив кладбища, которых иногда проводят по улицам в кандалах, — хорошие люди? Люди, которые хотят счастья для всех и для тех, кто никогда не слышал об этом счастье. А они борются, жертвуют свободой, а иногда и жизнью во имя жизни других. И Мавриковой жизни.

Маленький Маврик, ты ничего не знаешь. Ты даже не знаешь, что сапожник Иван Макарович, которого ты любишь и который любит тебя, вовсе не сапожник. Не такой простой была жизнь, какой она представлялась многим людям. Не так легко стало распознавать людей.

Кто заподозрит встреченного на Сибирской улице франта с ухоженными усиками и увидит в нем бежавшего с каторги организатора студенческих волнений! И не подумаешь, что девушка, так похожая на бедную швейку, везет в футляре не швейную машину, а шрифты для восстанавливаемой партийной типографии. И уж конечно никому пока не приходило в голову, что сапожник Иван Макарович Бархатов один из организаторов большевистского подполья. Ко многим заводам Урала тянутся невидимые нити из подвала, где Иван Макарович Бархатов, в перепачканном варом фартуке, ставит заплаты, подбивает каблуки.

Дорого бы дали в полиции за этого сапожника, ставшего видным революционером, выросшего из рядового, ничем не приметного слесаря-механика талантливым вожаком, замеченным Владимиром Ильичем Лениным, связанным с виднейшим большевиком Яковом Михайловичем Свердловым.

Если бы знали отец и мать Маврика, как предан он Ивану Макаровичу и как бездетный вдовец любит мальчика. Если бы они знали, какое счастье для Маврика поселиться в большой пламенной душе отличного человека и стойкого борца. Если бы знал Маврик, как много будет значить в его жизни Иван Макарович.

А пока...

А пока Пермь живет своей жизнью нужды и благополучия. Идет тысяча девятьсот десятый год, когда, кажется, утихомирилось все и забылись недавние волнения. Волнения тысяча девятьсот пятого года. Он ушел навсегда, и как будто ничто не возвратит теперь эти опасные для империи месяцы.

Купцы Агафуровы расширяют торговлю. Пароходчики Любимовы, Каменские готовятся пустить новые пароходы. На фабриках и заводах тишина. Его превосходительство господин губернатор может безопасно ездить в открытой карете и давать открытые балы. Власть тверда и незыблема.

Так думала, так заставляла себя думать, благополучная, богатая, верноподданная, чиновная, купеческая, епархиальная, губернаторская, чернорыночная Пермь.

## VI

Когда пришло письмо, прошитое нитками, с печатью из хлебного мякиша вместо сургуча, Екатерина Матвеевна Зашеина, оставив все, распечатывая конверт, дрожащим голосом сказала:

— Мамочка, от Маврушечки письмо, — и принялась читать вслух: — «Дорогие родители, тетя Катя и бабушка!..»

Этих слов было достаточно, чтобы высокая полная женщина, с умным лицом, в очках, которые ей придавали особую солидность, прослезилась вместе с маленькой старушкой, сидевшей на низенькой кровати, покрытой лоскутным сатиновым одеялом. У нее сами собой вырвались слова:

— Конечно, родители! Кто же мы ему?

Написав без единой ошибки первую строку, уместив буквы в линеечки листка, вырванного из тетради, далее Маврик уже не заботился о грамматике и каллиграфии. До них ли ему, когда нужно было рассказать самое главное. О том, как «плохо ему живецца», как поздно приходит мать, как ему «нечего делать в Богородцкой церкви»...

Теперь уже тетушка и бабушка не плакали, а рыдали:

— И за что это все, за что...

Маврик знал, как тетя Катя боится, чтобы он не простудился, и особенно выразительно написал про холод в квартире: «а вечеромь холотно здесь и зуббы нипирастають чакадь одинь обь другой».

Платок был мокр. Екатерина Матвеевна утиралась кухонным полотенцем.

— Что же это, что это, мамочка...

Буквы письма вылезали из строк, прыгали, скакали, будто им тоже было холодно и от них отскакивали палочки и крючки.

И так три страницы. На одной оставила след слеза, растворившая слово «прииздй».

Екатерине Матвеевне стало трудно дышать. Она подошла к русской печи и открыла дверцу трубы, затем снова принялась читать. Маврик умолял: «не дожидайса когда пройдет лётъ на Каме, а прииздй на делижанцовых лошадях».

И далее:

«буду ждть тибя днем и нощю».

И наконец подпись: «Учен. 1-го класса Маврикий Толлинъ».

Валерьяновых капель оказалось недостаточно. Пришлось нюхать нашатырный спирт.

На «бессовестную из бессовестных Любку», то есть на мать Маврика, был исторгнут весь запас ругательств, которыми располагала оскорбленная тетушка. Просолонив слезами полотенце, Екатерина Матвеевна, причитая, жаловалась Мавриковой бабушке:

— Я же как в воду глядела, что так и будет. И как только мы отпустили его? О чем мы только думали? Отчим не отец, и родная мать при втором муже немногим лучше мачехи.

Далее шли «преисподние» и «тартарары» и еще менее приятные пожелания.

За окном разыгралась метель, усиливая впечатление после прочитанного письма и сгущая краски. Екатерина Матвеевна, видящая теперь Пермь сквозь письмо Маврика, рисовала себе, как он в пургу бродит по занесенным снегом улицам города и ждет, когда закроется распроклятый Зингеровский магазин, ни дна ему и ни покрывки и всем, кто там служит. А здесь такая благодать. Новые обои с голубенькими цветочками так оживили большую комнату, а порыжевший потолок, оклеенный белоснежной матовой бумагой, так хорошо отражает свет лампы. А для кого это все? Для кого тюлевые

новые шторы на окнах и заново покрашенный золотистой охрой пол? Как бы он мог кататься по этому полу на своем трехколесном велосипеде, который обиженно стоит в углу вместе с парходами, паровозами, клоуном, бьющим в медные тарелочки, и обезьянкой в зеленом железном сюртучке, лазающей по веревочке.

Как бы он мог играть в этот вечер! Каким бы сладким был его сон в белой кровати с кисейным пологом! И если она теперь ему стала мала, то разве нельзя было купить новую? А для кого томилось сегодня в русской печи хорошее молоко, которое приносит добросовестная, чистоплотная соседка Кулемина? Как он любил молочные пенки с белыми слоеными плюшками. А что ест он там?

Дума побивает думу. Один план за другим строит Екатерина Матвеевна и не может придумать ничего путного. Она не может даже потребовать в письме, чтобы в корне изменить жизнь Маврика. Тогда «ей и ему» будет известно, что ребенок жаловался своей тете Кате, и от этого Маврушеньке будет еще хуже.

Но утро, которое не только в сказках бывает мудренее вечера, подсказало хорошее решение. Утром пришло второе письмо из Перми. От Пелагеи Ефимовны Толлиной. И она посоветовала «принанять старушонку, которая бы могла доглядывать за Мавриkiem и сидеть с ним часок до школы и часа четыре после уроков».

Как все оказалось легко и просто! Нужны были какие-то пять рублей в месяц. Ну пусть семь, и мальчик будет не один, а потом она перевезет его сюда, в Мильву.

Через неделю в Пермь пришло обдуманное, хорошо взвешенное письмо и перевод на двадцать пять рублей.

«Дорогая Любочка, — писала Екатерина Матвеевна, — мы знаем из письма Пелагеи Ефимовны, как тебе трудно, поэтому просим тебя...»

Далее подробно указывалось, какой должна быть нанятая старушка, что должна была делать она по уходу за Мавриком и все до мелочи на двух четырехстраничных листах. Но в конце письма Екатерина Матвеевна не удержалась и приписала: «Если же ты, Любовь, эти деньги измотаешь на другое, тогда запомни раз и навсегда, что не получишь от меня никогда ни одной копейки, ни одного лоскутка, и я вымолю у бога кару на твою голову...»

И наконец Екатерина Матвеевна взывала к Герасиму Петровичу, как человеку рассудительному, непьющему и некурящему, исполнить ее просьбу относительно единственного племянника и самого дорогого в жизни существа — Мавруши.

Старуха была нанята. Лампа зажигалась засветло. Купили три воза дров. Топили дважды, и стало тепло. Но веселее от этого не стало Маврику. Докучливая и исполнительная старуха Панфиловна, у которой пахло изо рта чем-то тухлым, ревностно выполняла свои обязанности. Она провожала Маврика до школы, как требовала Екатерина Матвеевна, встречала его и вела за руку. И это было унижительно для мальчика, лишенного самостоятельности: Панфиловна держала его дома, потому что в ее годы были затруднительны прогулки на берег Камы, куда рвался Маврик, чтобы посмотреть, не посинел ли, не собирается ли тронуться лед. Это было всего важнее в его жизни.

Сказки Панфиловна рассказывала плохие. Про жадных попов, про кровавых царей Злодеянов, Живодеров, Костоглодов. К тому же она часто дремала. И наконец это стало невыносимо. Старуха не облегчила, а затруднила жизнь Маврика.

— Мама, — сказал он, — я не хочу, чтобы приходила Панфиловна. Вечером теперь стало светло, и не нужно зажигать лампу.

Дни очень прибавились. Теплело с каждым днем. Тянуло на улицу, к ручьям, на оттаивающие тротуары. Зачем томить мальчика дома ради того, что так хочет тетка. Зачем платить деньги старухе, у которой такой хороший аппетит, за то, что она спит. Маврик прав, ее нужно уволить, а на, оставшиеся деньги выкупить из городского ломбарда лисью шубу, сшить черную шерстяную юбку и купить Маврику весеннее пальтишко. А если «скупая Катька» заставит вернуть оставшиеся деньги, то их можно выплатить. Летом их куры не будут клевать.

Все оказалось разумным и правильным. Лисья шуба вернулась из ломбарда и была зашита от моли в мешок. Появилась черная шерстяная юбка, а затем и фотографические карточки, где папа, мама и Маврик в новом пальтишке стоят у каменной ограды испанского замка. Папа в форме и в фуражке с чиновничьей кокардой. Мама в

черной юбке и в модном жакете, взятом у знакомых для примерки, и в туфлях на высоких каблуках.

Очень красивая фотографическая карточка. Никто не догадается, каких трудов и забот стоит это снимок, появившийся для того, чтобы обмануть родных и знакомых запечатленной на нем беспечной улыбкой Любви Матвеевны, независимым взглядом Герасима Петровича и восторженным личиком Маврика, ожидающего, что из аппарата вылетит обещанный франтоватым фотографом скворец. Скворец! Не какая-то другая птица, а та, с которой приходит весна. Милая, добрая царевна Весна-Красна из очень хорошей сказки бабушки Толлинихи.

## VII

И бабушкина сказка сбывалась...

Царевна Весна-Красна шла и шла в своем солнечном платье. И это платье было столь широко, что нет на свете меры измерить его ширину. А уж долго-то оно так, что и досужий язык ретивого краснобая — малая верста в нескончаемой длине жаркого царевниного подола, протянувшегося далеко за Казань, до теплых морей за лазоревые Крымские горы. И пока его край, отороченный кружевом, сплетенным из золотых лучей, сметает последние снега с древних киевских земель, пока расковыривает ото льда преславный Дон и священный Днепр, Весна-Красна ступает на камские берега, держит путь на Север, через Пермь в мильвенские верхнекамские леса, в соленые Строгановские земли и дальше на Вишеру, Колву, где стоит старая Чердынь — бабка всех городов и селений малохоженого, мелкокопаного, плохознаемого, лесного, гористого царства скрытых руд, невиданных самоцветов, ненайденной черной огненной воды, неслыханных кладов, позапрятанных на дне самого ветхого из всех морей — Пермского моря...

Весна-Красна в этом году рано накрыла своим жарким голубым подолом холодную пермскую землю. Если бы не ночные заморозки, то посиневший камский лед треснул бы, тронулся и пошел бы шелестеть, скрежетать, жаловаться на раннее таяние.

Тетя Катя снилась теперь Маврику каждую ночь. Каждую ночь она увозила его на пароходе в Мильвенский завод, но всегда что-нибудь случалось, и он просыпался. То слишком громко свистел пароход и спугивал сон вместе с тетей Катей... То возвращался неверный месяц март и замораживал пароход... То просто-напросто бессердечный будильник заглушал тети Катин голос и возвращал Маврика из солнечного сна в серое утро...

А сегодня тетя Катя снилась так, что Маврик слышал ее голос и боялся открыть глаза. Вдруг сон опять улетит и останется только ночничок с розовым стеклянным абажурчиком да насмешливый, недобрый будильник с двумя громкими колокольчиками. Как будто мало ему одного, чтобы прозвенеть людям: «Хватит спать».

Маврик слышал, как тетя Катя говорила:

— Уже десятый час, и цветику-самоцветику пора открыть свои голубые плазеньки.

Но Маврик не мог поверить. Сны вытворяли всякое. Когда же знакомая рука, от которой пахло как ни от какой другой, потрепала его по щечке, он решил открыть один глаз. Только один, чтобы другим удержать сон.

— Деточка моя, — услышал он, — голубок мой...

Это была она, и он завизжал от радости, обнял ее и заикаясь стал спрашивать:

— Ты не во сне? Ты не во сне, тетечка Катечка?

— Да что ты, да что ты, проснись, моя худышечка... Боже мой, какие у тебя остренькие лопатки... И ребрышки можно пересчитать... Я ведь еще вчера приехала... С первым. Ты уже спал. Не хотела будить тебя...

Екатерина Матвеевна тут же, в постели, дала Маврику теплого молока, мягкую плюшечку и только потом стала помогать ему одеваться.

Маврику так много нужно было рассказать, и ему никто не мешал. Мама и папа давно уже ушли на службу. На, будильнике половина десятого. И он говорит об отметках, перескакивает на электрический фонарик, потом начинает рассказывать о Панфиловне, спрашивать о Санчике, заикаться и снова рассказывать.

Рассказывая, Маврик то и дело трогает тетю Катю, проверяет на всякий случай, не во сне ли она и не исчезнет ли так же, как вчера,

как исчезала она много раз.

Екатерина Матвеевна не знает этого и очень боится за «умственное состояние» племянника. Мало ли «тронутых и блаженненьких» в раннем возрасте, особенно из впечатлительных детей, мозги которых потрясаются самыми непредвиденными обстоятельствами.

С Мавриком ничего подобного не случилось. Он просто измучился и начал заикаться, и немножечко больше, чем раньше. Но скоро она его увезет, и мальчик снова окажется в хорошей обстановке. От заикания не останется следа. А теперь нужно как можно скорее пойти в город по магазинам, чтобы он знал, как она любит его, и что ей не жаль для него ничего, и она готова истратить все десять рублей, которые отложены только для прихотей Маврика.

Прихотей оказалось не столь много. Нужно было купить фунт мягкой вишневой пастилы беззубому сторожу Богородской церкви. Затем побольше колбасных обрезков, чтобы «чайные» и «рябчиковые» съесть без хлеба самому, а остальными досыта накормить ласковую собачонку из соседнего двора и мышей. Наверно, все-таки одна из них, та, что смело приходила к нему на стол, когда он учил уроки, не простая мышь. Фея не фея, но какая-нибудь добрая девочка, заколдованная мачехой или кем-нибудь еще.

И наконец, нужно было купить жареного миндаля и батареек. Тетя Катя, как и мама, также боится спичек, свечек, огня. И ей будет удобно обходить перед сном с фонариком все уголки дома и проверять, не забрался ли кто и на все ли крючки заперто все.

Как он повзрослел за эту зиму. Не прибавив в росте и одного вершка, к огорчению Екатерины Матвеевны, Маврик очень часто рассуждал не по годам и задумывался над тем, что не должно беспокоить его на девятом году жизни.

Когда жареного миндаля было куплено два фунта, потому что его не найдешь и днем с огнем в Мильве, Маврик очень серьезно спросил:

— А останутся ли у нас, тетя Катя, деньги на билеты? — И наставительно, точь-в-точь как это делала бабушка Толлиниха, сказал: — Их нынче надо тратить с умом. Золотые корабли к нам не приплывут.

Тетя Катя испуганно посмотрела на Маврика, глубоко вздохнула и ответила:



— Это верно, Маврушечка, но нельзя же отказывать себе в самом необходимом, — и попросила татарина-лавочника взвесить еще фунт жареного миндаля на дорогу.

Дорога уже была предрешена. Они поедут послезавтра. В экономной одноместной каюте второго класса на пароходе с негромким свистком. Как хорошо, что они поедут во втором классе, а не в общей дамской каюте третьего класса, где нет никаких дам и полно теток в вязаных жакетках, которые всю дорогу тискают Маврика, сажают на колени, нахваливают его кудри и целуют толстыми мокрыми губами, не имея на это никакого права.

Пассажиру второго класса не нужно просить разрешения у толстого капитана побыть немножечко на верхней палубе и потом благодарить его, вежливо шаркая ножкой. Во втором классе можно попросить в каюту телячьих ножек, поджаренные с сухарными крошками и с Зеленым горошком, вкуснее которых никогда и ничего не едал Маврик. Разве только пельмени. Но это домашняя, а не пароходная еда.

Как знает тетя Катя все его желания! Какая начнется теперь у него жизнь! Вернется все — и велосипед, и лужок за сараем, по которому можно плавать на самодельном пароходе из старых ящиков и досок. Хорошо бы купить щенка и достать настоящий спасательный круг.

Маврик прикидывается к тете Кате и громко, не обращая внимания на лавочника, на покупателей, признается ей в своей любви:

— Я люблю тебя со всю Пермь, со всю Мотовилиху, со всю землю и со все небо... А «им» тоже хорошо будет жить без меня, с другим мальчиком или с другой девочкой.

Екатерине Матвеевне, солидной женщине в очках с золотой оправой, никак не годилось давать волю слезам в бакалейной лавке, а они текли.

## VIII

Все уже было готово к отъезду, нужно было только сходить к бабушке Пелагее Ефимовне Толлиной. Маврик вчера побывал на папиной могилке, и тетя Катя велела обложить ее новым дерном. Это

сделали тут же, при ней и при Маврике, а потом отслужили панихиду. Мама хотя и знала, что нужно следить за могилкой, служить панихиды, насыпать зерен и крошек птицам, но ей было некогда. А у тети Кати было время. Она не забывала первого папу Маврика и привезла три крашенных яйца. Одно из них она положила на могилу и сказала папе, как живому:

— Здравствуйте, милый Андрей Иванович!

Маврику тоже нужно было поздороваться с папой и положить второе яйцо на могилку, а третье положить на другую, на дяди Володину могилу. Он тоже умер скоропостижно и преждевременно. И тоже от скоротечной чахотки, поэтому Маврику нужно беречь свое горло и завязывать его шарфом, даже в теплую погоду.

Побывал Маврик и у тети Дуни на собачьем дворе. Пришлось прикупить колбасных обрезков для собак, которые сидят в клетках, потому что их еще не нашли хозяева.

Зашли проститься и к сапожнику, Ивану Макаровичу Бархатову, в подвал с крутой лестницей, и тетя Катя очень боялась оступиться. Но все равно она спустилась туда, потому что «безнравственно забывать старых друзей». Маврик хотя и не знал, что значит это слово, но понимал, что поступать «безнравственно» — это плохо. Почти бессовестно.

Сапожник Иван Макарович подарил на прощание Маврику маленький молоток и привинтил резинки, на каблуки его новых башмачков.

Тетя Катя преподнесла Ивану Макаровичу штоф с водкой и сказала:

— Спасибо вам, Иван Макарович, за все, за все, — и поклонилась ему.

— Что вы, зачем же это, — стал отказываться заметно смутившийся Иван Макарович. — Я же не за это любил и люблю вашего мальчика... Мне, конечно, трудно объяснить вам, но вообще-то спасибо, поскольку это от чистой души. Когда-нибудь я сумею отблагодарить вас... И вообще... — не досказал Иван Макарович и смущенно улыбнулся.

А что он мог досказать ей? Что она произвела на него очень хорошее впечатление. Что по счастливой случайности он знает о ней куда больше, чем рассказывал Маврик. Что ее мильвенский сосед

Артемий Кулемин познакомился с ним в ссылке. Что, рассказывая о своем заводе, говорил и о Зашеиных. А теперь, когда было решено создавать подпольную типографию нового типа в Мильвенском заводе, то этот же Кулемин, которому было поручено подыскать помещение для типографии, указал на зашеинский дом как на самый подходящий во всех отношениях.

Ничего из этого не мог сказать Иван Макарович. И он ограничился тем, что узнал о дне отъезда, названии парохода, на котором она отправится с Мавриком. Этого было вполне достаточно, чтобы с ней познакомился организатор задумываемой в Мильве типографии, который поедет на том же пароходе и «случайно» разговорится о сдаче квартиры.

— Желаю вам, Екатерина Матвеевна, и вашему племяннику всяческого благополучия в Мильве. Я слышал, что это очень хороший и тихий завод.

— Да, да, — подтвердила Екатерина Матвеевна и протянула Ивану Макаровичу руку в черной плетеной перчатке. — Желаю и вам благополучия в вашей работе. Прощайся, Маврушечка, с Иваном Макаровичем.

Иван Макарович поцеловал своего Марату в голову и, не заметя того, прослезился.

А бабушка Толлина не прослезилась, прощаясь с Мавриком. Она только благословляла и наставляла внука. Тетя Катя подарила бабушке черную косынку. А бабушка ничего не подарила ей. И Маврику тоже ничего.

Как оказалось, Пелагея Ефимовна не сумеет прийти на пристань, чтобы проводить Маврика. Она сказала:

— Во-первых, дальние проводы — лишние слезы, а во-вторых, умер купец Кунгуров и меня звали читать. За это дадут никак не меньше трешницы. При моем положении, Катенька, три рубля — большой капитал.

— Конечно, конечно, — согласилась тетя Катя и велела Маврику поцеловать бабушку.

Потом бабушка взяла толстую книгу — Псалтырь, — напечатанную церковными буквами, по которой она будет читать у купца Кунгурова, и сказала:

— Я провожу вас до уголка.

На углу бабушка в последний раз поцеловала Маврику и пошла от живого внука к мертвому купцу, чтобы обогатить новыми рублями свою пуховую копилку-подушку, завещанную Маврику, которого она видит в последний раз. И это прощальное свидание с ним, с единственным человеком, которым она хоть как-то продолжится и останется жить на земле после своей смерти, и есть самое дорогое и самое яркое в этом ее последнем году. И никто, и даже тот, кого она называла «всемогущим, всезнающим и живущим в ней», не подсказал ей:

«Вернись и проведи с сыном твоего сына все эти часы и насладись ими, потому что впереди у тебя одиночество богадельни, а за ним вечное безмолвие и забвение. Остановись, многогрешная, в скарденности своей и запечатлись в его памяти доброй улыбкой и не рассказанной тобою сказкой про обманную злодейку Суету-Сует и прекрасную княжну Щедроту-Щедрот...»

Ах, Пелагея Ефимовна, ну зачем вам ходить читать Псалтырь по покойникам и копить рубли? Вы же так щедро одарены умением сочинять. Купили бы лучше десть-другую бумаги да перенесли бы на белые листы напридуманные в длинные бессонные ночи дивные сказки. Какую бы хорошую память оставили вы по себе вашему внуку, а через него всем добрым людям. Не уносите бесценные стоцветные слова в землю на старое кладбище. Оставайтесь жить своими былями-небылицами в неистощимой людской любви к прекрасному, и вам будут благодарны тысячи.

Не верите?

Не верите. Вы и не можете поверить. И вас нельзя за это винить. Вы не первый и не последний человек, не познавший себя. Идите добывайте очередной рубль. Его тоже вместе с остальными накопленными рублями выкрадет из подушки злая старуха Шептаева, как только вы в последний раз закроете глаза.

Если бы все это вы могли знать, как бы много изменилось.

Но тсс... Пелагея Ефимовна оглянулась. Минуту внимания — она возвращается к Маврику. Может быть, сейчас произойдет неожиданность. Зачем-то же она лезет в карман своей кашемировой юбки. Она развязывает узелок носового платка и подает Маврику две копейки:

— Это тебе семик на сахарное мороженое. Да не потеряй...

— Не надо, не надо, — прошептал Маврик. — У нас есть деньги...

— Ну-ну... Богач еще какой нашелся.

Тут Пелагея Ефимовна сунула в карман куртки внука медную монетку и ушла. Ушла навсегда...

## IX

До отвала парохода оставалось более четырех часов, а делать в Перми уже нечего. Можно бы зайти в городской музей и показать тете Кате двухголового ребенка, заспиртованного в банке, но это невозможно. Она тогда не будет есть два дня. Тетя Катя может лишиться аппетита, если ей показать лягушку. И не живую, а нарисованную на картинке.

Можно было отправиться за богадельню на пустырь. Там гастролируют цирки, балаганы, показывают чудеса заезжие фокусники, факиры, властелины черной и белой магии... Там же продается владельцем прогоревшего балагана маленькая лошадка пони, которая называется загадочным и прекрасным именем Арлекин. Арлекин позволял погладить себя Маврику, и он мог на нем прокатиться за три копейки два круга. Теперь пони не нужен хозяину, потому что нужны деньги на проезд в Самару, и он продает смиренного и ласкового Арлекина.

Неплохо было бы добавить копейку и прокатать бабушкин семик на Арлекине. Но зачем? Зачем еще раз расставаться, еще раз обнимать шею, гладить исхудавшие бока шептать: «Прощай на всю жизнь, прощай, моя маленькая лошадка, тебя, наверно, купят для богатого мальчика, пусть он любит тебя не меньше, чем я».

Не горюй, Маврик, придет время, и у тебя появится рыжий конек Огонек. Не такой маленький, как Арлекин, зато настоящий, быстроногий, неутомимый сибирский конь, и ты изведешь радость верховой езды по бескрайним степям Кулунды.

У тебя все еще впереди — и обманчивые радости, и счастливые несчастья.

В нелюбимой квартире на Сенной площади делать тоже было нечего, и тетя Катя сказала, что лучше посидеть на пристани, где

свежий воздух, чем слоняться по улицам. На пристани могли разрешить занять каюту раньше времени.

Так и сделали. На бирже наняли извозчика. Извозчик забрал вещи. Их было немного. Мавриковы костюмы с кружевными воротниками, белье, волшебный фонарь и книжки. Простынь не оказалось, а одеяло совсем вытерлось. А подушки никто не возит в Мильвенский завод, когда там столько пера и пуха продают на базаре. Подушки лучше продать в Перми, а в Мильве купить новые.

Тетя Катя ни за что не захотела садиться в пролетку, пока не вылез извозчик и не подержал лошадь за узду. Лошадь может дернуть, когда одна нога находится в пролетке, а другая на земле. Но лошадь не дернула. И вообще она, оказывается, не трогалась без громкого «но-но» и кнута. После «но-но» и кнута она бежала тоже «так себе» по Красноуфимской улице на Черный рынок, где магазин Зингера.

— Так рано? — спросила мама.

— Да что же тянуть, Любочка, — ответила тетя Катя.

В магазине было много покупателей. Мама то и дело получала деньги за иголки, за нитки, за машинное масло во флакончике с картинкой, на которой румяная боярышня сидела за ножной машиной и шила в большой букве «З».

Маме не хотелось на прощанье расстраивать сына, и она старалась говорить очень весело...

— Я осенью приеду... А лето пролетит незаметно...

Маврик знал, что мама приедет в августе или в сентябре, потому что его братцу или сестрице лучше и дешевле появляться на свет в Мильве, чем в Перми.

Поговорить в суете при посторонних людях так и не удалось. Да и не о чем говорить, когда все переговорено. Нужно скорее, пока еще у сына сухие глаза, отдать ему большую коробку с вафлями, пирожным и с десятью катушками прочных ниток для змейков.

— Слушайся тетю Катю. Она тебя любит больше всех.

Маврик получил коробку. Мама поцеловала его и тут же, повернувшись лицом к полкам магазина, громко сказала:

— Теперь идите. Можете опоздать...

Тетя Катя повернула Маврика к двери, и вскоре лошадь снова зацокала своими копытами по булыжнику Торговой улицы. Маврик не плакал, но и не радовался.

Очень хорошо, что он уезжает в свой Мильвенский завод, но было бы лучше, если бы мама не оставалась, а ехала бы вместе с ними в каюте второго класса, а папа мог бы пожить в Перми, если ему нельзя пока не служить в суде.

Маврик прижался к тете Кате и заикаясь сказал:

— Хорошо бы, когда мы приедем в Мильву, послать маме какую-нибудь посылку... Она их очень любит...

Губы Маврика дрожали, как и голос. Заметив это, тетя Катя пообещала послать очень большую посылку и указала на курносого мопсика, которого какая-то барынька вела на цепочке, а он лаял и на столбы...

— Смотри, какая отвратительная пустолайка. Разве такую куплю я тебе, как только приедем домой.

## X

На пристани боцман сказал:

— Четвертак невелики деньги, зато загодя будете чин чином сидеть в своей каютке.

Тетя Катя с радостью согласилась, и они очутились в беленькой, пахнувшей краской каюте. Теперь можно было пробежаться по палубе, ощупать спасательные круги, познакомиться с официантом, который принесет телячьи ножки, или запереть багаж в каюте и отправиться на берег, где множество лавчонок, ларьков, лотков, где торгуют пирогами, пирожками, жареным мясом, копченой рыбой, вяленой воблой, кислыми щами, овсяной бражкой, тыквенными семечками, живыми раками, печеными яйцами, красным топленым молоком... Где торговки кричат, зазывают, ссорятся из-за покупателей, сбивают цену, обсчитывают, где мазурики шарят по карманам, шарманщики предлагают купить на счастье билетик, который вынимает из ящика общипанный попугай, где свистят полицейские и забирают воришек, где кишмя кишит народ, куда бы ни за что не пошла тетя Катя, если бы не надо было ей отвлечь Маврика.

— Батюшки-матушки, как это мы забыли с тобой купить пеклеванного хлеба и вчерашней «четырешки» для чаек.

И они идут через пристань по мосткам, навстречу потоку крючников-грузчиков с большими кулями. То и дело слышится «эй, поберегись». С грохотом катятся тачки с ящиками, с тележными колесами... Пахнет весенней рекой, смолой, воблой. Множество запахов. Тьма людей. Славно журчит под мостками Кама, а на берегу еще веселей.

Екатерина Матвеевна покупает свежий пеклеванный хлеб, потом вчерашнюю «четырешку», вместо четырех копеек за фунт — по три. Тетя Катя не жадная, а бережливая. Чайкам все равно. Чайки не разбирают, вчерашний или сегодняшний хлеб им бросают.

Думая о чайках, Маврик безразлично смотрел, как взвешивается хлеб, как расплачивается тетя Катя.

— Хорошо бы, — мечтательно сказал он, — наловить чаек корзины две, увезти с собой в Мильвенский завод... Прикармливать каждый день, и развелись бы у нас в Мильве чайки.

Екатерина Матвеевна хотела было одобрить затею, но послышался голос:

— А я тоже еду в Мильвенский завод...

Маврик и Екатерина Матвеевна оглянулись. Перед ними стоял темноволосый мальчик с огромными черными глазами.

— Ты кто? — спросил Маврик.

— Я Иль!

— Такое имя?

— Да. Так зовет меня папа, а мама — Ильюшей. А тебя как зовут?

— Мавриком. А на каком пароходе ты едешь, Иль?

— На том же, что и ты.

— А в каком классе?

— Мама, я и Фаня во втором, а папа в третьем.

— А почему он в третьем?

— Так ему больше нравится.

Мальчик производил хорошее впечатление на Екатерину Матвеевну. На нем была хотя и старенькая, но чистая, тщательно заштопанная куртка. Смугловатое лицо, уши, нос тоже были безупречно чисты, и густая шевелюра, отливающая на солнышке, кажется, тоже была вполне в приличном состоянии. Кроме этого, он



едет во втором классе. И самое главное, мальчик поможет Маврику скоротать время до отвала парохода. Екатерина Матвеевна сказала:

— Сейчас мы выйдем из толчеи и начнем знакомиться...

И они втроем направились к Козьему загону. Черноглазый веселый Ильюша понравился Маврику, а Маврик — ему. Они сдружились и выяснили все, не сделав и ста шагов. В этом возрасте люди не требуют многих подробностей, Маврик будет учиться во втором классе, и он во втором. Маврику было трудно жить в Перми. И ему было нелегко. Разве этого недостаточно?

Но Екатерине Матвеевне хотелось знать больше, и она спросила:

— Кто твой папа, Ильюша?

— Мой папа штемпельщик. Он умеет делать очень хорошие штемпеля и печати. Вот посмотрите.

В доказательство мальчик вынул из кармана куртки небольшой штемпель, подышал на него, затем отпечатал им на своей руке — «Илья Киршбаум».

— Какая прелесть, — похвалила Екатерина Матвеевна прочитанный оттиск. — Только зачем же ручку-то пачкать?

— А на чем же я мог показать?

Видя, что довод неотразим, Ильюша лизнул напечатанное на руке и стер рукавом, доказывая этим, что только так, а не иначе он мог поступить.

— А кто твоя мама, Ильюша?

— Она теперь просто мама. Нас же двое у нее. Фаня еще ничего, а меня приходится воспитывать. А вообще-то мама наборщик первой руки. Но что ей платили? Жалкие гроши. Папа тоже зарабатывал мало у своего хозяина. Зато хозяин неплохо зарабатывал на папе.

Екатерина Матвеевна, внимательно слушая, отлично понимала, чьи слова повторяет маленький говорун.

— И вы решили переехать в Мильву?

— Не в Екатеринбург же нам ехать? — снова серьезно принялся рассуждать мальчик. — В Екатеринбурге штемпельщиков больше, чем клопов в ночлежном доме. А в Мильве папа будет один. Ну пусть два. Типография Халдеева тоже пробует делать штемпеля и печати, но это же не печати, а сырые блины.

Выговорившись и расположив к себе Екатерину Матвеевну, Ильюша попросил разрешения побегать с Мавриком по Козьему

загону.

— Я буду козлом, а ты будешь меня загонять.

Маврик с радостью согласился. Что еще лучше можно было придумать до первого свистка? Козлом Ильюша оказался преотличнейшим. Он бегал на четвереньках, подымался и кричал «ме-е-ке-ке». Требовал афиш, заявляя, что афиши его самый вкусный обед.

Сидя на лавочке Козьего загона, Екатерина Матвеевна любовалась двумя кудрявыми головками, мечущимися по большому, безлюдному в эту пору дня набережному саду.

Сентиментальная и в меру мечтательная Екатерина Матвеевна думала о встрече Маврика с Ильюшей, в котором тоже так рано проглянул взрослый человек.

Как знать, куда поведет эта встреча у хлебной палатки племянника и так запросто зашагнувшего в ее сердце чужого мальчика.

## XI

Отец Ильюши Григорий Савельевич Киршбаум и был тем организатором подпольной типографии, которого Иван Макарович Бархатов всячески стремился поселить в зашеинском доме. По замыслу Ивана Макаровича и Киршбаума, знакомство должно было состояться на пароходе. Анна Семеновна Киршбаум должна была разговориться с Екатериной Матвеевной, но все оказалось проще, естественнее и быстрее.

Киршбаум не знал в лицо Екатерину Матвеевну, но узнал ее по приметам. Очки в золотой оправе. Черная кружевная косынка. Степенна в походке, взгляде и разговоре. Родимое пятно на подбородке. И наконец, самая безошибочная примета — кудрявый, голубоглазый мальчик в бархатном костюмчике с белым кружевным воротником. И когда Киршбаум увидел Маврика на мостках вместе с его теткой, он сказал сыну:

— Иль, не лучше ли, чем сидеть на багаже, познакомиться с этим мальчиком? Вам же вместе ехать...

И тогда Ильюша пошел за Мавриком и его теткой. А теперь они возвращались втроем. Екатерина Матвеевна вела за руки по шумным

мосткам обоих мальчиков.

— А это, тетя Катя, моя мама, мой папа и моя сестра, — сказал Ильюша, подводя Екатерину Матвеевну к своей семье, сидящей на багаже.

— Илья, ты с ума сошел, — оговорил его отец, — может быть, госпожа, которую ты так невежливо называешь тетей Катей, и не желает знакомиться с нами...

— Ну как вы можете так, — смущенно сказала Екатерина Матвеевна, протягивая руку. — Здравствуйте, Анна Семеновна, здравствуйте, Григорий Савельевич...

Киршбаум оживился, пожал плечами и весело сказал:

— Как? Этот маленький чертенок уже предал своих родителей?..

— Так нельзя, — остановила его Екатерина Матвеевна. — Так нельзя называть младенца, Григорий Савельевич... — Не договорив, она услышала знакомый голос:

— Бараша-кудряша!

Маврик оглянулся. Ну конечно, это он, сапожник Иван Макарович Бархатов.

— Как вы любезны, — сказала ему Екатерина Матвеевна.

А он:

— Как на шиле сидел все это время. Дай, думаю, сбегая на пристань. Невелико время полчаса, а помнить не один год будешь.

Иван Макарович Бархатов на пристани оставался недолго. Ему нужно было, чтобы Киршбаум увидел его разговаривавшим с Зашеиной и Мавриком, Бархатов нарочно громко называл Екатерину Матвеевну, а Киршбаум, проходя в это время на пароход, тоже громко сообщал своей жене:

— Теперь я вижу, что не только ты считаешь меня пентюхом, но и другие...

— Ильюша, Ильюша, — предупреждающе крикнул Маврик, — осторожнее по сходням...

— Я знаю, я знаю, — отозвался Ильюша. — И ты иди. Сейчас засвистит второй.

Бархатов понял, что его опасения были напрасны. Он мог бы и не приходить на пристань. Ему очень хотелось сказать Маврику об Ильюше: «Какой хороший у тебя новый знакомый», но большая

конспирация не терпит и малых промахов. Поэтому Киршбаум и Бархатов на прощанье даже не обменялись взглядами.

Иван Макарович не стал дожидаться второго свистка.

— Прости, мой дружок, тороплюсь. Не забывай меня...

— Никогда. Никогда, — ответил Маврик и протянул руки к шее Бархатова.

— До свидания, Екатерина Матвеевна, — сказал Бархатов и поцеловал ей руку.

«Бывают же и среди сапожников обходительные люди, — подумала она. — Конечно, может быть, он зашел по пути. Но все равно нужно быть благодарной ему. Хоть один человек да проводил Маврика. Пусть не до третьего свистка, но проводил».

— Маврик обязательно вам напишет, Иван Макарович... Дай бог вам всего хорошего...

И они расстались.

Маврик в кармане своей куртки обнаружил надувного чертика и пачку с множеством картин для волшебного фонаря.

— Ты смотри, тетя Катя, — радовался мальчик, — папа не сумел разыскать их, а он разыскал...

Это были картинки к сказкам «Конек-горбунок», «Про братца Иванушку и про сестрицу Аленушку» и особый пакетик с картинками к рассказу Л. Н. Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет».

— Как это хорошо, как это хорошо с его стороны, — твердила Екатерина Матвеевна и в первый раз в жизни подумала, что за такого человека она, может быть, и могла бы выйти замуж. Правда, у него не очень чистые руки... Они, кажется, в дратвенном вару... Но зато сам он чистый и, безусловно, честный человек.

## XII

Третий свисток засвистел скорее, чем думал Маврик. Пароход постоял еще с полминуточки, потом убрали сходни. Послышалась команда:

— Отдать носовую, — и зашумели плицы колес.

Потом отдали кормовой канат с большой петлей. Петля шлепнулась в воду и стала ползти на пароход.

Пароход шел против быстрого течения все еще прибывавшей воды вверх по Каме. С пристани махало множество рук, зонтов, шляп, платков. Маврик тоже махал тети Катиным кружевным платком. Не им, а городу. Вокзалу. Перми первой. Козьему загону, белым домам, мощеным, оживающим весной улицам и маме.

Прощай, Пермь с театральным садиком и городским музеем. Прощай, Богородская церковь и школа Александры Ивановны Ломовой. Прощай, Геня-паровоз и мальчишки-вагоны. Пассажирские, почтовые, служебные. Пусть вы и не очень хорошо относились к товарному вагону и никогда не разрешали быть ему хотя бы багажным вагоном, но все равно Маврик не сердится на вас и не желает вам колов и двоек. Это безнравственно.

Маврик смотрит на похорошевшую и ожившую в мае Пермь, жалеет и не жалеет ее. Пусть смутно, все же он начинает представлять, что есть две Перми. Пермь богатых и Пермь бедных.

Ему еще много надо прожить, чтобы понять, как устроена жизнь и почему у одних есть все, а у других ничего или очень мало, хотя и теперь он задумывается об этом, глядя на оборванных людей, сидящих внизу на корме парохода между канатами и клеткой с живыми цыплятами. На корме едут и дети. Они с удовольствием съели бы всю «четырешку», потому что едят черный хлеб с солью. Значит, он, и тетя Катя, и мама с папой живут лучше их. А они едут даже не в третьем, а в четвертом классе, где общие нары и железный пол.

Пермь остается позади. Все меньше и меньше становится высокий кафедральный собор, от которого так недалеко мама получает деньги за иголки, за нитки, за масло для швейных машин.

Вспомнив о маме, Маврик вспоминает о копейке, которую она дала ему, чтобы подарить Каме. Это нужно делать каждый год при первой встрече с рекой, чтобы она была доброй и в ней нельзя было утонуть.

Маврик находит в кармане монетку и бросает ее в воду. Чайки кидаются за ней, думают, что это хлеб, но монетка тонет в сероватой воде, и птицы остаются ни с чем. Это смешит Маврика, но ненадолго. Он снова думает о маме, о папе, о бабушке, об Арлекине, о белой собачке в клетке, о серой осиротевшей мышке, совсем забывая, что рядом с ним стоит тетя Катя и что от нее нельзя ничего спрятать. Она знает, о чем он думает.

— Милый мой, не нужно вспоминать обо всем этом. Тебе еще рано морщить лобик. Пусть все остается за кормой парохода, — сказала она и махнула рукой на берег. — Пойдем лучше на нос и будем смотреть вперед.

Екатерина Матвеевна увела племянника на нос парохода.

Нелегко пароходу бороться с могучей внешней водой. Наверно, кочегары сейчас подбрасывают и подбрасывают в котлы большие поленья, чтобы пароход мог хоть как-то ускорить свой ход против течения.

Деревья выше колен в воде, а некоторые даже по макушку. Низкие берега залиты далеко-далеко, а высокие зажимают Каму так, что река не течет, а мчится.

Скоро будет видно, как впадает в Каму очень красивая река Чусовая. И вообще, есть на что смотреть с парохода. Берега становятся выше и круче. У каждого из них свой цвет.

Попадают встречные буксиры, плоты и баржи. Разглядывать их тоже интересно, а Пермь все равно стоит перед глазами, хотя она и далеко за кормой парохода, за многими поворотами реки.

Конечно, нужно смотреть вперед, но не оглядываться тоже невозможно. Потому что человек не пароход. У него ничего не остается за кормой, все сохраняется в нем и с ним. В нем и с ним хорошее и плохое. И ничего нельзя выгрузить, оставить на какой-либо из пристаней и забыть, потому что он человек, а не пароход. Но...

Но все-таки нужно смотреть вперед.

## ВТОРАЯ ГЛАВА

### I

От Камской пристани до Мильвенского завода не так далеко, но и не близко. Екатерина Матвеевна перед отъездом сговорила с кузнецом Яковом Кумыниным, чтобы он подал свою смирную Буланиху, а потом послала ему телеграмму, какого числа и во сколько придет пароход. Она могла бы нанять крестьянскую лошадь и не платить Кумынину за прогон на пристань и обратно, да еще поденщину за потерянный на заводе день. Однако же Яков Евсеевич

повезет не тряхнув, захватит одеяла и подушку для Маврика, постелет в коробок хорошего сена, прихватит на случай ненастной погоды большую старую столовую клеенку.

Киршбаумы наняли крестьянских лошадей. Они еле разместились со своим багажом на двух телегах. Ильюша, вчера допоздна просидевший со своим новым товарищем на палубе, теперь сладко спал подле матери. Маврика, тоже сонного, уложили в коробок, где он, укрытый теплым стеганым одеялом, проспал всю дорогу до Мертвой горы, с которой открывался вид на Мильву.

Очень не хотелось будить его на горе, но это было ему обещано, а не сдержать обещанное невозможно. Правдивость и в мелочах для Екатерины Матвеевны была святая святых. «Как я могу требовать с ребенка того, что не выполняю сама».

На вершине горы Буланихе было сказано «тпру», и она, довольная, остановилась, а Екатерина Матвеевна сказала:

— Мавреночек, я сдержала свое обещание, но, если не хочешь, можешь не просыпаться. Мы потом сходим с тобой на Мертвую гору, когда пойдем навещать дедушку.

Маврик встрепенулся, широко раскрыл глаза, сбросил одеяло, выпрыгнул из коробка и громко крикнул:

— Мильва!.. Мильва!..

Ему хотелось крикнуть что-то еще, может быть «милая» или «здравствуй», но не хватило воздуха. Он задохнулся, увидев огромный пруд, освещенный солнцем, разноцветные дымы заводских труб, дома и улицы, начинающие зеленеть деревья и все, что называлось таким дорогим словом «Мильва» и даже «Мильвочка».

Редкий человек, приезжая в Мильву, знающий ее или видящий впервые, не останавливается на этой горе и не любит панорамой Мильвенского казенного завода.

Сам завод находится в глубине большой зеленой долины, ниже плотины пруда. Так ставились почти все старые уральские и приуральские заводы, где падающая вода была главной силой, приводящей в движение плющильные и прокатные станы, мехи доменных печей и все, что было не по силам коням и людям.

Теперь пар потеснил воду, но все же не заменил ее полностью Могучий Мильвенский пруд и по сей день отдает свои силы многим

цехам завода. Заводом здесь называют не одни лишь фабричные корпуса, но и самый заводской поселок.

Побывавший в Мильве житель Тагила, Невьянска, Туринска. Златоуста, Кушвы и других подобных им найдет много родного, схожего, своего, начиная от пруда, плотины, архитектуры домов и улиц и кончая бытовым укладом. Все большие и малые при заводские уральские поселки не города и не села, но их собратья.

В центре Мильвы плавят сталь, прокатывают и куют железо, сооружают котлы, корпуса судов, а по улицам бредут стада коров и овец, в конюшнях ржут лошади, на дворах гогочут гуси, квохчут куры и хрюкают свиньи. У Мильвы свой запах. Она пахнет и фабричным дымом и прелой, унавоженной землей огородов. И тот же Яков Евсеевич Кумынин на заводе кузнец, а дома сельский житель. У него богатый огород, корова, буланая лошадь, две овцы, свинья, гуси и куры, а он ни мужик, ни крестьянин, а мастеровой человек, как в большинстве жители Мильвы, которых «кормит завод-батюшка, а подкармливает земля-матушка».

Для Маврика пока еще непонятны эти особенности и подробности жизни родного завода. Ему сейчас важнее всего увидеть дедушкин дом, а он не может его найти среди множества домов, сгрудившихся в низине.

— Да вон же он, вон, — говорит Яков Евсеевич, — с красной железной крышей, куда я указываю пальцем, подле тополей.

Теперь можно ехать.

Под гору Буланихе легко бежать. Она, чуя близость скорой кормежки, весело помахивает хвостом. Маврику хочется пересечь на козлы, но из коробка тоже видно отлично, как начинается Мильвенский завод. Он начинается не обжитыми еще «концами» улиц. Здесь не все дома достроены. Некоторые из них стоят непокрытыми срубами. Нет изгородей. Нет сараюшек.

Чем ближе к центру, тем больше и чернее деревянные дома. Каменные начнутся в самом центре. Их не так много, и все они двухэтажные, но есть один трехэтажный дом — это дом Чураковых. В нижнем этаже чураковский магазин, а в двух верхних живет нотариус Шульгин с женой и с дочерью Ниночкой, которая хочет и пока не может выйти замуж. Большой дом и у провизора Мерцаева. У него своя аптека и сын Игорь. Он старше Маврика на два года. У него



настоящие сабли и ружья. Игорь не водится с Мавриком. Ему неинтересно. Может быть, теперь он обратит на него внимание? Ведь Маврик ученик второго класса.

А вот дом старого уважаемого мастера Матушкина. Скромный такой дом, с приветливыми окнами и добрым крылечком. Дома, как и собаки, похожи на своих хозяев. У гостеприимного и сердечного человека никогда не бывает злой и кусачей собаки. Они просто не уживутся вместе в одном доме. Жадный, скарредный хозяин не может держать ласкового пуделя, как не может любить бездельничающая пустая дама умную собаку. У нее болонка-пустолайка. Обо всем этом так хорошо рассказывал Маврику милый Иван Макарович, на которого очень походит улыбающийся кулеминский деревянный дом с резными наличниками. Так и кажется, что его строил Иван Макарович.

За чопорным домом Чураковых Буланиха сама свернет влево, на Большой Кривуль, и Маврик знает это. На углу Большого Кривуля и Ходовой улицы — дедушкин, похожий на бабушку, дом.

— Ба-буш-ка-а-а!.. Я приеха-а-ал!

Маврик закричал так громко, что о возвращении Маврика узнали все соседи и, конечно, Санчик, проснувшийся с солнышком. Оказывается, он сидел на воротах, чтобы первым увидеть Маврика и броситься к нему навстречу.

— Санчик!

— Маврик!

Мальчики обнялись.

Из окна хмурого кирпичного краснобаевского дома слышался веселый женский голос:

— Вызвали Маврикия Андреевича?.. С приездом, Екатерина Матвеевна! Здравствуйте...

— Здравствуйте, — ответил Маврик, наскоро раскланявшись, и побежал вместе с Санчиком к бабушке.

Какое счастливое, солнечное утро. Как пахнет распускаящимися тополями, как хорошо в объятиях своей бабушки, при которой не нужно думать, как себя вести, что можно и что нельзя говорить.

— Бабушка... Я приехал, бабушка... Навсегда. На всю жизнь!

— Дитяtko мое, — обнимает его старушка. — Мой маленький Матвей Романович, зашеинская кровушка, дедушкина кудрявая

головушка, бабушкины глаза... Дождалась, дожילה!  
— И я дожиль, бабушка... Где велосипед?..

## II

Мальчики с Ходовой улицы еще не знают, как следует им отнестись к новичку в плюшевом костюмчике с белым кружевным воротником. Принять ли его в свою ватагу или начать дразнить, как поповского сына Левку, и придумать обидное прозвище. «Неженка», «Полосатик», — Маврик приехал в полосатых чулках. «Зашейная жужелица», — по дедушке он — Зашейн. «Поганый гриб», — у Зашейных в пустующем огороде растет уйма шампиньонов, которые в Мильве считаются несъедобными, погаными грибами. Можно прозвать и просто «Поганкой». Должно же у него быть какое-то прозвище, как у всех. Ну а если зашейнский внук окажется «ничего себе» и разуеться, как они, не начнет воображать из себя «городского», то можно прозвать как-нибудь получше.

Маврику и Санчику, нашедшим друг друга, не было дела до мальчишечьего сбора на улице. Им нужно скорее по одному разику прокатиться на велосипеде, проверить, цела ли елочная коллекция, побывать в старой бане, слазить на сеновал, заглянуть в погреб, заново покрытый, как все строения, железом, потому что поросшие зеленым мхом тесовые крыши сгнили и стали теперь еще не распиленными дровами. Вот бы в Пермь все эти доски!

Кажется, не хватит дня, чтобы все проверить и осмотреть. А проверить нужно еще очень много. Маврик должен знать, вывелись ли скворчата, или скворчиха все еще сидит в скворечнице и высиживает их. Очень важно решить, что можно сделать с грудой старого кирпича. Не соорудить ли из него кафедральный собор или пермскую тюрьму. Если тюрьму, то можно по очереди одному быть арестантом, а другому стражником.

Санчик согласен на все. Он моложе на один год Маврика и чувствует себя при нем. Он знает, что хотя старший товарищ никогда не обидит его, но все же он старший. И ему нужно быть капитаном, а Санчику помощником. А если они вздумают играть в церковь, то Санчик не может стать священником, а всего лишь диаконом. Но в

церковь лучше играть зимой, а сейчас, летом, играй хоть во что. В охоту на тигров. В шарманщиков. В бродяг, которые в бочке переплывают Байкал. Бочка есть, а Байкалом может быть двор или лужок за сараем. Но лучше всего играть в пароход. Веревки для чалок много. Старая труба от железной печки ничуть не хуже пароходной, а большая кованая четырехрогая «кошка», которой достают упавшие в колодец ведра, самый настоящий якорь. Котлом может стать медный ведерный самовар. Он также валяется.

— Давай, Санчик!

— Давай.

Нелегко сделать хороший пароход, но можно, если не пожалеть сил и не бояться испачкаться Корму и нос лучше всего выложить из старого кирпича, а первый и второй классы сделать из ящиков, палубу из досок, а мачту. Мачта найдется — был бы пароход.

И вот уже за сараем на лужке закладывается пароход. Приличный пароход, но не такой, каким он мог бы быть, если бы мышь оказалась феей. А она не оказалась ею. Зато пришел другой волшебник, который может сделать все.

— Здорово, пароходчики!

— Здравствуйте, Терентий Николаевич!

— А корма-то кося и нос с изъязном, — говорит он и подымает Маврика своими сильными руками, чтобы лучше рассмотреть его.

Терентий Николаевич Лосев теперь на пенсии. У него старей-престарый дом на Лесной улице. К пенсии ему приходится прирабатывать где придется. Для Екатерины Матвеевны он незаменимый мастер на все руки. Подновить ли сруб, погреба, наколоть ли дров, починить забор, подмести двор, вставить стекло в раму — все может сделать Терентий Николаевич в зашеинском доме, где нет ни одного мужчины.

Терентия Николаевича знают и любят в Мильве как человека доброго, честного, отзывчивого. Человека, которому можно довериться. Не выдаст. Политические убеждения Лосева были крайне ограничены, хотя и определены. Он не раз говорил в своем кругу:

— Царю нужно дать коленом не потому, что он дурак, а потому, что царь.

Терентий Николаевич твердо знал, что эту жизнь нужно сломать. Что новая жизнь должна быть без дармоедов. А какой именно она

должна быть, Лосев не представлял и считал, что этого не знает никто. Как можно знать о том, чего нет?

Екатерина Матвеевна дорожит Терентием Николаевичем. И он дорожит хорошим к нему отношением. Сегодня у него особые поручения.

— Тереша, дорогой, — попросила его Екатерина Матвеевна, — Мавруше нужно не дать заскучать без матери... И я, Терешенька, все согласна сделать для племянника, лишь бы отвлечь его...

— Катенька! Катерина Матвеевна, не толкуй ты мне, пожалуйста, зря. Зачем-то же струмент при мне. Неужели я сам не знаю, что понадобится собачью будку сколачивать. Щеночек-то у меня уж совсем подрастает. Через неделю можно брать, — говорит и смеется веселый Терентий Николаевич, размахивая огромными ручищами.

— За это спасибо тебе, Терентий Николаевич. Щеночек пусть растет, а пока нужно строить пароход.

— Что ж, можно и пароход. Старых досок достаточно. И краска от ремонту, — он делает ударение на первом слоге, на «ре», — осталась. Только я покурю для разгона, чтобы в голове не шумело...

В ответ на это Екатерина Матвеевна сдержанно наливает в граненый стакан «разгонное».

Они понимают друг друга.

— Теперь можно хоть пруд прудить, хоть мосты мостить, — говорит Лосев, закусив выпитое куском рыбного пирога.

А потом, оказавшись за старым сараем, Терентий Николаевич незаметно для мальчишек, а может быть, и для самого себя, входит в игру.

— Ненадежно, господа судовые мастера. На этакой посудине и утонуть недолго, а уж на мель сесть — как пить дать. И палуба низка, и в каюте двум котам не разойтись.

Маврик не спорил. Он знал, что Терентий Николаевич говорит плохо о начатом пароходe не для того, чтобы посмеяться, а чтобы сделать лучше.

Так и случилось.

Терентий Николаевич вбил пять кольев, обшил их досками, и получился почти настоящий нос парохода. С него уже можно бросать настоящую чалку и отдавать якорь.

Ямка за ямкой — четыре ямы, четыре столба. Опять доски. Доски с боков, доски сверху.

Тетя Катя зовет обедать, но до обеда ли, когда прорезаются окна и вставляются настоящие рамы со стеклами, забытые в каретнике.

— Шабаш! — командует Терентий Николаевич. — Свисток на обед. — И он свистит куда громче и «настоящее» Гени Шаньгина.

В кухне накрыт стол. Деревянные ложки, общая чашка, а в чашке уха. Все по-настоящему. Кормят, как плотников, которые рубили новую баню, когда Маврик был маленьким.

— Пожалуйста, рабочие люди, садитесь за стол, — приглашает тетя Катя и отрезает по большому ломтю ржаного хлеба каждому.

Маврик не знает, что все это делается для того, чтобы он ел. Ел с аппетитом и здоровел. И Маврик ест. Он решительно откусывает от ломтя черный хлеб, зачерпывает за Терентием Николаевичем полную ложку ухи, дует на нее, а потом проглатывает и счастливо улыбается, переглядываясь с тетей Катей. Она не ест. За этим столом на кухне могут есть только рабочие люди. И они едят. Уписав уху, принимаются за гречневую кашу с маслом. Тоже из общей чашки и теми же деревянными ложками.

После обеда Терентий Николаевич набивает махоркой свернутую из белой бумаги сигарку и долго курит ее, а потом, видя нетерпение Маврика, говорит:

— Шут с ней... Пошли на пароход...

И все с шумом и криком бегут за Терентием Николаевичем.

### III

Терентий Николаевич увлекся строительством парохода не меньше ребят. Наверно, в его шестьдесят с лишним лет проснулось недоигранное детство, а может быть, в нем «взыграла» оборванная болезнью работа в судовом цехе. Он рано пошел в «зашейную сотню» нагревать заклепки. С тех пор от темна до темна Лосев проработал без малого пятьдесят лет. Помешала болезнь, случившаяся «от надсады». Уж он-то знал, какие бывают пароходы. И дать бы ему волю, то им были бы пущены в дело все старые доски, не пожалелось бы силы, чтобы сделать все «форменно и на полную статью». Не

поденщины ради, не ради отплаты покойному мастеру Матвею Романовичу за его добрые дела, а для своей душеньки строил он, потому что дите должно жить и во всяком старике, ежели он «путный человек».

Терентий Николаевич себя чувствовал «путным человеком», поэтому понимал, что пароход без дыма все равно что собака без голоса.

— Катенька! Ты не бойся, дорогая моя, — увещевал он. — Ну какой же может быть пожар, если в старый самовар накласть угольев, поверх их навалить сосновых шишек, а лучше ладану Дымить будет так, что и ты залюбуешься.

Екатерина Матвеевна колебалась — можно ли играть церковным ладаном, которого осталось с фунт после похорон Матвея Романовича.

— Так не в кабаке же он будет дымить, Катенька, — продолжал убеждать ее Терентий Лосев, — в божье же небо дым от него пойдет. И Матвею Романовичу оттуль будет видно, как хорошо живется-играется его внучоночку.

Это решило исход дела. Ладан был выдан, и пароход задымил сизым, пахнувшим церковью дымом.

Маврик и Санчнк завизжали от восторга. На заборе появился босой розовощекий мальчик. Это был Толя Краснобаев Маврик сразу же узнал его и зазвал к себе.

Хочешь быть рулевым? Ты умеешь править?

Нет, застенчиво признался Толя, я лучше пока побуду матросом.

Следом за Толей на заборе показался его брат Сеня. Он был старше Толи, но ниже его ростом, зато коренастее и крепче. Тетя Катя называла его «очень самостоятельным мальчиком», которому можно доверять, и предложила заведовать «котлом» и подсыпать в самовар, то есть в котел, уголь и ладан.

Сеня, довольный этим, серьезно мотнул головой, понимая, какая ответственность возлагается на него.

Не хватало матросов. Маврик вышел через калитку и сказал ребятам, приникшим к щелям уличного забора:

— Нужны матросы, пассажиры и грузчики.

Ребята переглянулись. Смелые на улице, не все из них набрались храбрости появиться на зашеинском дворе, где они никогда не бывали. Выручил Толя:

— Маврик, ты иди и свисти, а я выберу, кому кем быть.

Засвистел пароходный свисток. Засвистел он не ртом Терентия Николаевича, а резиновым кругом, к которому была приделана свистулька. Отвернешь у круга запорную шайбочку, затем сядешь на круг, из него начнет выходить воздух, и он засвистит, а потом опять надувай и садись. Сколько раз сядешь, столько и свистнет.

Трижды надули круг. Трижды просвистел пароход. Тетя Катя, бабушка, Терентий Николаевич, Толина и Сенина мама остались на «берегу».

— Отдать носовую, — скомандовал Маврик.

И носовую начали выбирать.

— Руль налево. Отдать кормовую. Полный вперед.

И пошел белый, крашенный известью пароход с черной трубой на всех парах. Замахали руками на «берегу». Направо-налево поворачивает Санчик рулевое колесо. Ходит капитан Маврикий Андреевич по палубе и смотрит в маленький тети Катин бинокль, велит то с того, то с другого бока махать встречным судам белым флагом, сделанным из носового платка, раздувает во всю мочь Сеня котел-самовар, и валит сизый дым из трубы с красной полосочкой...

Маврик не может сдержать себя. Прыгает в «воду» с верхней палубы и сначала «плывет», а потом бежит по зеленой «воде»-мураве к тетечке Катечке, целует ее, целует Терентия Николаевича и благодарит за пароход, за свисток, за дым, за красную полосочку на трубе и за все, за все...

Умиленная Екатерина Матвеевна приглашает всю команду, всех матросов, всех грузчиков и пассажиров на обратном пути из Рыбинска остановиться в старинном городе Сарайске, где будет выдано угощение.

Растроганный Терентий Николаевич не выдерживает... Он вышибает ладонью пробку из шкалика, выпивает его через горлышко и, притопывая, поет:

И-эх! Пароход плывет по Каме,

Баржа семечки грызет.

Мил уехал напокамест,

Он обратно приплывет.

И пока под тесовым обломом сарая готовится немудрое угощение, пароход успевает сходить в Рыбинск и вернуться обратно. Терентий Николаевич тем временем сколотил на скорую руку пристанские сходни.

Маврик смотрит в бинокль и объявляет всем:

— Скоро Сарайск!

И все оживляются:

— Вон, вон... Я тоже вижу! — кричит Санчик. — Полна пристань народу...

Как хорошо бы сюда Ильюшу и молчаливую девочку Фаню. Уж она-то бы могла стать пассажиркой первого класса... Вы представляете на ней темную, оставшуюся от траура вуаль... В руках у нее черный страусовый веер... Длинные черные, тоже тети Катины, плетеные перчатки... И все наперебой:

— Барышня... Позвольте мне снести на берег вещи...

— Нет, ваша светлость, позвольте уж мне... Я задаром... Мне не нужны никакие чаевые...

А она, не глядя ни на кого, отвечает:

— Ах, зачем же... У меня только лакированная шляпная картонка и ридикюль песочного цвета. Могу и сама...

Но Фани нет. Первый класс есть, а в нем некому ехать. Как же мог Маврик столько дней не вспомнить о своих новых друзьях... И только теперь, когда так торжественно пароход причаливает к Сарайску, он вспомнил о них. Как это нехорошо и, наверно, безнравственно.

#### *IV*

Киршбаумы нашли временное пристанище в Гольянихе. Так по имени старой деревни, слившейся с Мильвой, назывались концы Замильвья, где тосковал Ильюша, требующий и ночью сквозь сон отвезти его на Ходовую улицу. Но Киршбаумам было не до встреч Маврика и Ильюши. Не состоялись более важные встречи. Киршбаум, конечно, мог бы в поисках квартиры забрести в дом Артемия Кулемина. Мог бы через него встретиться со своим питерским другом Тихомировым, сосланным в Мильву. Здесь, в благополучной Мильве,



слежка не так строга, как в Перми. Тихомиров мог бы с главой подполья, стариком Матушкиным, оказаться на весенней охоте и встретиться с Киршбаумом в лесу, на болоте. Однако Киршбаум свято хранит истину, преподанную ему Иваном Макаровичем: «Никогда не думай, что ты самый хитрый».

Рисковать было нельзя. И даже то, что казалось верным, но недостаточно мотивированным, не могло быть предпринято Григорием Савельевичем. Уже давно известно, что большие дела чаще всего проваливаются на мелочах.

Во всех случаях Киршбаум должен был побывать у пристава. Без его разрешения он не мог открыть своего заведения. И он, не теряя времени, отправился к приставу.

Пристав Вишневецкий был в самом хорошем расположении духа. Вчера он получил от губернатора благодарственное письмо за преуспевание в многотрудных делах блюстителя нравственности и спокойствия, а вместе с этим обещание быть представленным к награждению в этом году, если «искусство мягкого умиротворения сословий и впредь будет основой твердости и непреклонности в управлении».

Какие изумительные слова! Можно без конца читать и перечитывать их и находить новое. «Искусство мягкого умиротворения». Именно «мягкого»... Именно «умиротворения»... И одновременно: «твердости», черт побери... и «непреклонности в управлении». Какое изящество слога... Уж наверно сам диктовал чиновнику особых поручений, а может быть, и собственноручно начертил черновик и велел перебелить его ремингтонисту.

Счастливый пристав расхаживал по своему кабинету, заново меблированному купцом Чураковым заказной вятской мебелью из карельской березы, любуясь новым мундиром, сшитым другим дельцом, владельцем магазина готового платья, и радуясь солнечному дню, обещающему веселый пикник в ознаменование губернаторского письма.

— Адъютант! — крикнул за дверь пристав. — Кто ко мне?

«Адъютантом» на этот раз был неуклюжий, толстый дежурный, урядник Ериков. Он вошел и, стараясь казаться молодцеватым, каким он не был и в давние молодые годы, доложил:

— Имею честь, ваше благородье... господин из Варшавы.

— Проси.

Григорий Савельевич Киршбаум еще не знал, как себя вести с приставом. Взять ли на себя роль гонимого судьбой и желающего устроить свою жизнь или воспользоваться испытанной маской неунывающего местечкового искателя грошового счастья. Но, увидев блистательного Вишневецкого, а до этого услышав его грассирующий голос, Киршбаум сразу же нашел нужный тон. Почтительно поклонившись и задержав голову склоненной, затем, дождавшись приглашения сесть, он сказал:

— Я и не думал, ваше высокое благородие, что сумею так легко и просто представиться вам. Я действительно из Варшавы, хотя и приехал из Перми. Моя одежда не позволяет мне назваться тем, кто я есть. А я есть предприниматель, хотя и мелкий. Но если вашему высокому благородию будет угодно отнестись ко мне так же благосклонно, как ко всем другим, кто живет в Мильвенском заводе и кто приезжает в него, то ваш покорный слуга может стать на твердые ноги.

— К вашим услугам, — ответил Вишневецкий, памятуя слова из губернаторского письма об «искусстве мягкого умиротворения». — Чем я могу быть вам полезен?.. Пожалуйста... «Ю-Ю», короткая курка, длинный мундштук.

Поблагодарив за предложенную дорогую папиросу «Ю-Ю» и отказавшись от нее, Киршбаум коротко рассказал о себе, начиная с Варшавы, где он родился, где бедность не позволила ему закончить пятого класса гимназии, и он вынужден был искать счастья в Петербурге. Не забыв обронить очень важную подробность о своем деде — «николаевском солдате», потомкам которого разрешалось проживать беспрепятственно во всех городах Российской империи, Киршбаум подтвердил все это предъявленным паспортом.

— Так какой черт, досточтимый Григорий Савельевич, — удивился Вишневецкий, читая паспорт, — заставил вас покинуть столицу и приехать в Мильву?

— Нужда, ваше высокое благородие, господин пристав. Нужда. Наверно, вы слышали о существовании этой неприятной дамы. Став типографским наборщиком, я поднялся на ноги. Но, женившись, я снова оказался если не на коленях, то в полусогнутом виде. А потом, когда появилась на свет дочь, а за ней сын... Мне стало ясно, что,

набирая с утра до вечера колонки газеты «Биржевые ведомости», я занимаюсь не набором, а разбором того, что удалось скопить до женитьбы, и поехал искать город, где квартиры дешевле и руки дороже. Так я приехал в Пермь. Приехал и доучился на штемпельщика. Хозяин штемпельной мастерской хотя и молился тому же богу, что и я, но не обращался со мной по-божески. Тогда я услышал, что есть на свете счастливая Мильва. Мильва, где царит благополучие, где каждый имеет свой кусок хлеба, Мильва, где тихая, но процветающая жизнь, где есть женская гимназия и где будет строиться электрический синематограф «Прогресс», где имеется свое любительское драматическое общество, где казенный, императорский, а не какой-то другой завод, где нет беспорядков и, конечно, не может быть погромов и где нет, но может быть мастерская штемпелей и печатей «Киршбаум и сын». А в скобках — «из Варшавы». Теперь скажите мне, ваше высокое благородие, назвали бы вы меня ослом и даже хуже, если б я не бросил все, не продал кое-что на дорогу и не приехал сюда?

— И преотлично сделали, — одобрил пристав, — в таком большом, по сути дела, городе Мильвенске нужна такая мастерская. «Киршбаум и сын», да еще «из Варшавы» — превосходная вывеска. Положим, господин Халдеев пробует делать печати, но это же ужас... Полюбуйтесь...

Вишневецкий показал круглую аляповатую печать. И Киршбаум сказал:

— Если бы я не относился с уважением к господину Халдееву, то эту печать я бы назвал сырым блином, — и спросил: — А не будет ли недоволен господин Халдеев, что я в некотором роде...

— Он будет благодарен вам, господин Киршбаум. Он вынужденно занимается штемпелями, потому что ими не занимается никто. Благословляю! — пристав простер руки, снисходительно улыбнулся и поблагодарил за удовольствие, доставленное остроумнейшим разговором. — Надеюсь, что внук почтеннейшего солдата его величества государя императора Николая Первого вольно или невольно не доставит излишние хлопоты полиции.

— Я уже это сделал, ваше высокое благородие... И не могу поручиться, что не сделаю еще... В губернии — губернатор, а здесь —

вы. К кому же я приду, если госпожа судьба снова не захочет улыбнуться вашему покорному слуге.

После ухода Киршбаума Вишневецкий принялся выстукивать пальцами по столу и напевать вполголоса: «Эх, тумба-тумба-тумба, Мадрид и Лиссабон», а затем решил запросить Пермь, а пока установить проверочный надзор за приезжим, оказавшимся слишком безупречным и на редкость благонадежным, что должно вызвать неминуемую настороженность всякого пристава, и особенно— замечаемого самим губернатором.

А Киршбаум, великолепно понимая, что это так и будет или примерно так, зная, что слова пристава не могут соответствовать его мыслям, примет все меры, чтобы облегчить полиции проверку.

## V

Дом прокатчика Самовольникова, где нашли временное пристанище Киршбаумы, представлял собой типичное жилище мильвенского рабочего. Это изба-пятистенка, которую называют домом, как и горницу предпочитают именовать залом. В зале-то и разместились Киршбаумы, платя рубль в неделю за постой, чему Самовольниковы, как видно, были очень рады. Недавно построившись, эта рабочая семья дорожила каждой копеей. Ефиму Петровичу Самовольникову и особенно его жене Дарье хотелось, чтобы приезжие пожили у них подольше. Им продавалось молоко, первые овощи, а самое главное, для них выпекался хлеб, что тоже давало лишнюю копейку старательной хозяйке Дарье Сергеевне.

Узнавая ближе Самовольниковых, Киршбаум задумывался, как много нужно сделать, чтобы вывести хорошего человека Ефима Самовольникова из круга его интересов, огороженных временной оградой в одну жердь. И по эту сторону ограды обожествляется все, начиная с огородных грядок и кончая маленькой, чем-то похожей на козу коровкой. Здесь все приносило радость. И появившийся на окне горшок с геранью, и подаренная на новоселье рябая молодая курица.

Далекая от этого уклада жизни, Анна Семеновна говорила Киршбауму:

— А все-таки я верю, что такие, как Самовольниковы, однажды открыв глаза, увидят, как ничтожно то, чему они молятся, и, проснувшись, окажутся с нами. И сколько таких? Усыпленных. Ослепленных. Замороченных.

— Да, конечно, — согласился с женой Киршбаум, желая узнать, была ли она у Матушкиных. — Как твои зубы? — спросил он иносказательно.

— Я думаю, они будут болеть не менее недели, — так же иносказательно ответила Анна Семеновна, потому что разговор происходил при Фане, девочке думающей и понимающей более, чем хотелось ее родителям.

Зубы у Анны Семеновны заболели вскоре после ее приезда. Зубная боль была единственным поводом для встречи с Матушкиными.

Старик Емельян Кузьмич Матушкин в свое время ходил в знатных колдунах по выплавке инструментальных сталей. Хорошо зарабатывая, он позаботился о детях. Сын выучился на инженера по строительству железных дорог. Одна дочь, Елена, — учительница. Вторая, Варвара, — зубной врач. К ней-то и нужно попасть Анне Семеновне. Попасть умно. Не просто завязала щеку и — «здрасьте, Варвара Емельяновна, я из Перми, партийная кличка „Елена“, давайте знакомиться».

Так не могла явиться осторожная подпольщица, жена дважды осторожного Григория Савельевича. И она, «маясь зубами», дождалась, когда сочувственная хозяйка Дарья Сергеевна сказала:

— К доктору бы тебе, девка, надо.

А та, держась за щеку:

— А разве они у вас есть?

— Вот те на. Целых три. Один много берет и плохо лечит. Другой мало берет, но только дергает. А третья — душа человек, Варвара Емельяновна Матушкина, самая дешевая и самая толковая. За малое лечение даже вовсе не берет. Желает, сведу?

Этого-то и надо было Анне Семеновне.

— Сведи, Дарья Сергеевна. Куда же я одна в чужом городе?

И вскоре Анна Семеновна «мотивированно», так сказать, не по собственной инициативе, а по рекомендации хозяйки квартиры, была доставлена к Варваре Емельяновне.

— А я вас еще вчера ждала, товарищ Елена, — сказала Матушкина, разглядывая Анну Семеновну, когда закрылась обитая белой клеенкой дверь зубоврачебного кабинета.

Так началось знакомство и установилась связь Киршбаумов с мильвенским подпольем. Зубоврачебный кабинет соединялся второй дверью с жилыми комнатами Матушкиных. Анна Семеновна получила возможность встретиться с «самим».

«Сам» походил на кого угодно, только не на подпольщика, да еще большевика. Его можно было принять за церковного старосту, волостного старшину, лабазника, за удачливого земского деятеля, вышедшего на покой, и назвать болваном всякого, кто бы заподозрил в этом бородатом, розовощеком, пузатом старике внутреннего врага Российской империи.

Емельян Кузьмич Матушкин был человеком вне подозрения. И если он был в чем-то замечен, то разве только в неразборчивом гостеприимстве и неумеренном хлебосольстве.

В те дни, когда Анна Семеновна лечила «затянувшееся воспаление надкостницы», встречаясь с подпольщиками, новоявленный предприниматель штемпельщик Киршбаум налаживал коммерческие знакомства, избегая ходить по тем улицам, где жили люди, которые будут создавать вместе с ним подпольную типографию.

Между тем в полицию поступали самые приятные для Киршбаума сведения, чему он способствовал на каждом шагу, помогая не очень хорошо маскирующимся агентам. Одному из них он пообещал выбить зубы, если он еще раз посмеет сказать при нем хотя бы одно плохое слово о господине Вишневецком Ростиславе Робертовиче, который непременно будет вице-губернатором. Потому что господин Вишневецкий Ростислав Робертович не просто большой ум, но и большое сердце настоящего русского дворянина, умеющее чувствовать и барина, и мужика, и даже такого, как бездомный штемпельщик Киршбаум. Такие губернаторы, и только такие, как господин Вишневецкий, нужны русскому и всякому народу великой империи.

Пристав Вишневецкий трижды перечитывал донесение, которое прочило ему пост вице-губернатора.

— Хватит искать чертей в кадьнице, у нас есть поважнее дела, — сказал пристав своему помощнику по негласному надзору и

принялся распекать его за «нераскушенный орешек», за Валерия Всеволодовича Тихомирова, высланного из Петербурга в Мильву. — Уже полгода, и ни одного дельного донесения, ни одной зацепки.

Помощник пристава по негласному надзору молчал, опустив голову. Иного ему и не оставалось.

Тихомиров — юрист по образованию, столбовой дворянин по происхождению, опасный, но неуличенный внутренний враг империи — жил в доме своего отца, генерал-лейтенанта в отставке, тоже подозреваемого в неверности государю, жил, не давая полиции даже самых малейших поводов для подозрения его в причастности к политической деятельности. И даже сам отец протоиерей, бывавший в доме у генерала Тихомирова, отзывался об его сыне Валерии как о человеке, «пострадавшем по облыжному доносу завистников его уму и простоте, свойственной настоящим сынам высшего сословия». А между тем Валерий Всеволодович уже дважды «пломбировал» здоровый зуб в те же дни и часы, когда Анна Киршбаум лечила «затянувшееся воспаление надкостницы» в зубоврачебном кабинете Варвары Емельяновны Матушкиной.

Впрочем, у Валерия Всеволодовича были основания посещать Матушкиных не только по зубным недугам, но и недугам сердечным. Младшая дочь Матушкина, Елена, называлась досужими языками невестой Тихомирова задолго до того, как он понял, что любит ее и что только она будет его женой.

## VI

А рабочая Мильва жила своей трудовой жизнью по заводскому свистку. Первый свисток — просыпайся, второй — беги на завод, третий — начинай работу. С третьим свистком закрываются ворота проходных и ящики, куда рабочие бросают свои номера. Эти железные бляхи с выбитыми на них цифрами все еще остаются главными «документами» рабочего на право входа в завод и на выдачу инструментов. Получить номера — это значит поступить на завод, лишиться их — значит потерять работу.

Ранним утром оживают улицы Мильвы, и особенно те, что ведут к заводу. По ним проходит много рабочих. Смотря по году. Если

большие заказы в этом году — завод берет на работу из ближних деревень и пришлых издалека. А если мало заказов — увольняют и коренных, местных.

Ходовая улица и Большой Кривуль, на углу которых стоит приземистый двухэтажный зашеинский дом, особенно шумны в этот утренний час. Здесь сливаются людские потоки со всех улиц по эту сторону пруда и текут шумной лавиной к главной проходной.

Екатерина Матвеевна прикрывает окна, чтобы гулкое топанье ног по звонким деревянным тротуарам и голоса рабочих не разбудили Маврика. Но стекла окон не предохраняют от шумного говора, и Маврик слышит сквозь сон это с детства привычное оживление, и оно не будит его.

Вчера он вместе с ребятами тоже решил работать на заводе, как только подрастет. Толя Краснобаев сказал, что после окончания городского училища, а затем — технического будет техником. Сеня, его брат, пойдет к отцу в механический цех и станет токарем на самоточке. А Маврик и Санчик пойдут в судовой цех и начнут нагревать заклепки, а потом будут строить шаланды, землечерпалки, а может быть, заводу дадут заказ на большой пароход. Давали же. И Толя Краснобаев уверен, что дадут.

Жить Маврик будет по свистку, как все, и если он просыпается теперь в восемь часов, то только потому, чтобы не огорчать тетю Катю.

Уже около восьми. Санчик сидит во дворе на рундуке наружной лестницы, и краснобаевские ребята тоже давно проснулись. Они ждут Маврика у себя на дворе. Наконец открывается окно.

— Санчик, ну что же ты? — приглашает Маврик.

— Иди, иди, — подтверждает Екатерина Матвеевна. — Поешь.

Санчика Екатерина Матвеевна про себя считает «мальчиком для аппетита». Вместе с ним Маврик ест все и самое простое, а самое простое — самое полезное для организма, поэтому экономной Екатерине Матвеевне ничуть не обременителен лишний рот, лишь бы единственный и бесценный племянничек пролотил лишний кусок. И как только Маврик перестает есть, Санчик делает то же самое. Видя это, тетя Катя говорит:

— Так что же ты, Мавруша, хочешь, чтобы товарищ вышел голодным из-за стола, ведь он же никогда ни на одну крошечку не



съест больше тебя.

И Маврику ради Санчика приходится есть.

Вот и сегодня, наскоро умывшись и помолившись «раз-два-три», отбывается самая трудная утренняя повинность еды. Маврик уже закормлен, а Санчик никогда не отказывается от еды. Правда, теперь он, с приездом из Перми своего друга, сытно и часто ест, но все равно его тельце тоще, руки худы, щеки впалы. Ему трудно наверстать недостаток в питании первых лет его жизни. Когда он был младенцем, ему не хватало молока, а потом, когда он подрос и сел за общий стол, семье не хватало и всего остального, даже не всегда доставало хлеба. Но зачем вспоминать об этом сегодня, когда на столе белая молочная лапша, когда в чашку чая кладется два куса пиленого сахара, когда чай пахнет чаем, а не прелым сеном, а хлеб, как тополиный пух, мягок и бел. Как вкусно и как хорошо есть досыта, и будто нет другого стола, где в этот же час сидит Санчикова семья и его мать со вздохом режет ржаной хлеб и думает, как всегда, где и что раздобыть на обед. А здесь уже топится печь и в глиняной латке-жаровне лежит утка, аккуратно обложенная кружками картофеля, дожидаясь, когда сгорят дрова, а угли загребутся в загнетку, чтобы ей, утке, начать томиться в вольном жару при закрытой заслонке и начать пахнуть нестерпимо вкусно, а потом появиться на обеденном столе и отдать одно крылышко Маврику, а другое ему, Санчику.

— А у нас, — говорит он, — в прошлом году тоже была утка. Не целая, а хватило всем.

Этим он как бы показывает, что и они живут вовсе уж не так плохо.

С завтраком покончено. Маврик вскакивает. Санчик бежит вслед за ним, дожевывая хрустящую хлебную корочку. На дворе ждет, виляя хвостом, счастливый Мальчик. Щенку выносятся вымоченный в молоке хлеб, и день начинается.

В паромод играть уже не хочется. Как он ни хорош, но надоело ездить в Рыбинск и обратно. На одном и том же месте. Манит улица. Ее-то и боится Екатерина Матвеевна. Боится, но знает, что рано или поздно Маврику придется открыть туда ворота.

Она недавно разрешила ему перелезть через три изгороди и ходить через два огорода к Толе и Сене Краснобаевым. У Краснобаевых совсем другая жизнь. Засаженный, а не пустующий

огород. Красная комолая «не бодучая» корова. Куры, которых можно кормить. Но самое интересное — лазить по закоулкам большого сарая и собирать яйца. Но еще интереснее спускаться в подвал краснобаевского дома. Там почти завод. Там множество инструментов, которыми разрешается работать. Не всеми, но некоторыми.

## VII

Толя и Сеня Краснобаевы много умеют делать сами. Ружья. Свистульки. Мечи и щиты. Ветряные мельницы с хвостом, которые поворачиваются против ветра. У Маврика такой нет, но будет. Она уже начата, и Сеня поможет доделать ее, а потом, наверно завтра, Маврику и Санчику помогут сделать щиты и мечи. Тогда они могут быть приняты в славную дружину храбрых воинов.

Медленно вытесывается из сухой липовой доски лезвие меча. Тяжеловат для Маврика непослушный маленький топор. Боязно иметь с ним дело. Можно оказаться и без пальца или посечь ногу.

— А ты не бойся его, не бойся, — наставляет Сеня Маврика. — Пусть он тебя боится. Вот так, вот так...

И Маврик тешет «вот так... вот так...». Мало-помалу, мало-помалу топор оказывается легче, удары точнее, щепки ровнее...

— Вот так... Вот так, — приговаривает вышедшая во двор бабушка Краснобаиха и нахваливает: — Ух ты, какие ровные щепочки начали отлетать, — видать, понятливая у тебя рука, тетечкин кормилец-поилец... Вот так... Вот так... Сдружайся с топором. От него всякий струмент пошел — и долотья, и пилы, и струги, сверла, а потом станки-машины. Все они топору доводятся детками, внуками, внучками, правнучками... Сдружайся с топором. С топора всякий дельный человек начинается, а без топора и головастый грамотей в безруких растяхах ходит. А таким ли тебе расти, коренное молодое дерево, от старого дуба сильный росток...

Наговаривает-приговаривает так Краснобаиха, а топор все легче и послушнее становится в слабой и тонкой руке Маврика. Рука уже побаливает в локте. Пусть болит. «С топора всякий дельный человек

начинается, а без топора и головастый грамотей в безруких растяпах ходит» Боли, рука, не отвалишься.

И вот уже вытесано лезвие меча. Со лба льется пот. Обе рубашки прилипли к спине. Теперь нужно, как учит Сеня, помахать руками, да быстро-быстро, чтобы разошлась по жилам застоявшаяся кровь. И Маврик быстро-быстро машет руками, и расходится по жилам застоявшаяся кровь, и от этого веселей блестит отдыхающий на чурбаке топор. И он уже не пугает своим блеском и не говорит: «Я острый-преострый, живо отрублю тебе палец». Нет. Нет, он смеется, отсвечивая солнечными лучами, и говорит совсем другое: «Тебе со мной скоро не будет страшен никакой сук, никакое дерево».

Как мало еще сделано, а уже свистит свисток на обед. И снова шумные, хотя и меньшие потоки текут по улице. Не все рабочие обедают дома, а только те, что близко живут.

Отец краснобаевских ребят Африкан Тимофеевич и его брат Игнатий Тимофеевич обедают дома. Они живут очень большой неразделенной семьей. За стол садятся человек двенадцать. Игнатию Тимофеевичу давно хочется жить самостоятельно. Но этого сделать нельзя, пока жив старик Тимофей Краснобаев. Игнатий ненавидит старый кирпичный дом с «голубятней» наверху, как он называет мезонин. Краснобаевские ребята не любят своего дядю Игнатия и скрывают это от всех и от Маврика.

У Маврика нет дружеских отношений с Игнатием Тимофеевичем Краснобаевым. Это не то что Артемий Гаврилович Кулемин — ясный, солнечный, мягкий, как июнь. Игнатий Тимофеевич Краснобаев похож на март. Когда как. В нем нет устойчивой теплоты даже к племянникам. Он может и поколотить. Поэтому они побаиваются его.

В Мильве встречаются люди, похожие на этот месяц март, которым хотя и можно верить, но не во всем.

Вот и сейчас Маврик не знает, как понять Игнатия Тимофеевича, когда он, приглашая к столу, говорит:

— Садись обедать, жених, рядом с невестой. Невеста — это Соня Краснобаева. Ей семь лет. Она подходит в невесты и нравится Маврику больше всех краснобаевских дочерей. И он уже подарил ей клоуна, который, если нажимать ему деревяшечку в животе, начинает бить в медные тарелки, прикрепленные на гвоздики к его рукам. И вообще-то говоря, на Соне можно жениться. Она очень серьезная

девочка. И тетя Катя любит ее и гладит по голове. Но зачем Игнатию Тимофеевичу понадобилось говорить об этом при всех. Ведь еще же ничего не решено. Разве бы так сказал умный Артемий Гаврилович Кулемин?

— Спасибо, Игнатий Тимофеевич, нас ждут дома, — отказывается от обеда Маврик. Он, может быть, и остался бы, но ведь Краснобаев не пригласил Санчика.

Плохо, когда человек — март.

## VIII

Продолжая «отвлекать» Маврика, Екатерина Матвеевна делала все от нее зависящее. Нужно красить — крась. Вот тебе кисть и краска. Хочешь засадить свой огород — пожалуйста Терентий Николаевич вскопает тебе грядки на задерневшей земле заброшенного огорода. Нравится тебе играть в Зингеровский магазин — изволь. Чем не магазин старый каретник. Покупателей сколько угодно. Санчикова сестра. Краснобаевские сестры. Для них уже проделана лазейка в заборе.

Был куплен и опаснейший из опасных инструментов — маленький топор. «От судьбы не уйдешь». И если уж суждено поранить руку или ногу, этого не избежишь. Но все же «береженого бог бережет». И Екатерина Матвеевна, купив топор, попросила точильщика чуточку притупить топор на своем колесе.

Новым топором пользоваться было нельзя. Он годился только для колки, но не для рубки и тески. Маврик, тяжело вздохнув, отложил топор и решил поиграть с горя в пермскую тюрьму. И тетя Катя поддержала эти намеренья. Чем не тюрьма старая баня. Сиди там с Санчиком и пей:

Солнце всходит и заходит,  
А в тюрьме моей темно...  
Днем и ночью часовые  
Стерегут мое окно.

А потом можно выставить гнилую раму и бежать на волю. Только тетя Катя не советует мальчикам называть себя «политическими». Лучше сидеть за поджог или безвинно, как сидел дедушка в девятьсот пятом году заложником. С каким почетом его встречали потом рабочие.

Екатерина Матвеевна сама придумывает игры, только бы как можно дольше удержать Маврика дома, хотя она и понимает, что улицы Маврику не избежать. Поэтому приходится брать Маврика на базар и ходить с ним по родне, Родни много, а знакомых того больше. Разная это родня и разные знакомые.

Побывали они у дяди Леши. У него три девочки: Клава, Маруся и Надя. Старшая старше Маврика на год, а младшая на год моложе. Но интересно ли мальчишке играть в куклы, в классы, прыгать через веревочку.

У тети Сани и у тети Лары другое дело. Там хотя и тоже три девочки, три двоюродные сестрички, с которыми не очень интересно играть, зато есть надежда, что с ними отпустят купаться.

Так и случилось. Это было настоящее счастье. Маврика отпросили у тети Кати на пруд. Старшая дочь тети Лары, Аля, сказала: — Странно... Ему почти девять лет, а он еще не купался на пруду. Там купаются и пятилетние.

А вторая, толстая Танечка, добавила:

— Песок же на нашем берегу, и ни одной ямки. Ровное-преровное дно.

Тетя Саня, старшая из сестер Зашейных, поддержала племянниц:

— В самом деле, Катенька, за всю жизнь не слыхивали, чтобы кто-нибудь из ребятишек тонул в этом месте.

Лицо Маврика было таким просящим... В глазах его стояла такая мольба, а девочки давали такие клятвы, что тетя Катя сказала:

— Только недолго.

Этот день навсегда останется в памяти Маврика. Они бежали по широкой Песчаной улице, спускающейся к пруду. Пруд был как зеркало, и только у берега, где барахталась ребятня, вода кипела и сверкала, залитая солнцем.

Нелегко в первый раз зайти в воду и окунуться. Маврик купался впервые. Девочки раздели его, потому что он был мальчик. А сами

они остались в рубашках. В них они и будут купаться. Потому что они девочки.

К Маврику не пришло еще чувство стыда, а девочкам уже внушили его.

— Иди, иди, не бойся, — зазывали его в воду Аля и Таня.

И он зашел по колено.

— Теперь присядь...

— Присядь еще раз... Зажми нос. Окунись!

С чем можно сравнить эту радость первого купания, снившегося ему в Перми? Ласковые объятия теплой воды. Визг. Брызги. Плотное, ровное песчаное дно. Неужели все это сейчас кончится и его заставят одеваться?

Напрасные опасения. Аля и Таня ведут его глубже. По пояс. По грудь. И когда он упирается, Аля берет его на руки, затем кладет на воду животом и, поддерживая снизу, говорит:

— Плыви, я держу тебя... Не бойся.

Маврик болтает ногами, гребет руками. Он никогда не думал, что это у него получится. Ноги и руки делают сами все, что нужно.

Легко плыть, когда тебя поддерживают. А попробуй поплыть один, без Алиных рук, сразу же опустишься на дно. Маврик и не знает, что Аля давно убрала из-под него руки и он плывет сам по себе. Плывет, как щенок, оказавшийся впервые в воде. Его поздравляют. Его называют молодцом.

— И это правда, Аля?

— Ну как же не правда, Маврик? Попробуй еще!

Аля снова заносит его в воду, снова кладет на свои руки. Он плывет! Он плывет! Этому ни за что не поверит тетя Катя, а он плывет.

Пора выходить из воды. Он уже накупался. А ему хочется и еще и еще убеждаться в чуде, которое совершилось сегодня. Он не только человек, но и рыба...

Маврику, живущему в мире волшебных сказок, слышанных от бабушек, читанных матерью и теткой, хочется сказать пруду что-то очень хорошее, а слов нет. Он ищет их, торопливо надевая штанишки, приветливо улыбаясь огромному зеркалу воды. Он придумывает, что бы ему, такому громадному, сказать, застегивая ворот рубашки. И наконец он шепчет самые простые слова:

— Спасибо тебе, милый пруд, за мое первое купание!

Его шепот слышит Аля и говорит:

— Какой ты, оказывается, вежливый, Маврикий...

— Нет, нет, — опровергает он, — я нисколько не вежливый. Я благодарный. Я и тебе скажу спасибо за... — Он не договорил, и так ясно, а потом объяснил: — Человек за все должен благодарить, даже если ему всего-навсего сказали: «С добрым утром!»

Это было повторением слов Александры Ивановны Ломовой, которая бросила много всхожих зерен в рыхлую почву восторженной детской души.

Сколько раз придется ему в это лето благодарить за все первое. Лес — за первые найденные им грибы, луга — за первые ягоды. Речку Омутиху — за первую пойманную в ней рыбку. Топор и нож — за первое удище. Лук — за первую попавшую в цель стрелу...

В детстве почти все происходит впервые, но многое из этого первого бывает и последним, единственным, неповторимым. Дважды нельзя поймать первую рыбку, и тем более невозможно повторить ни один из дней своего детства. Но разве может это понять мальчик в восемь лет, да и надо ли ему понимать в это счастливое лето, что жизнь несправедливо быстротечна, что каждый день должен быть прожит хорошо и разумно.

## IX

Долго старалась Екатерина Матвеевна не пускать Маврика на улицу, опасаясь, что его переедет телега, что ему выбьют мальчишки глаз или его искусают бешеная собака. Мог Маврик подцепить и чесотку, на его руки могли пересесть и «цыпки». Мало ли какими болезнями хворают мальчишки, бегающие по улице. И все же пришлось уступить.

Сеня и Толя дали честное слово, что они будут следить за Мавриком. Им можно верить. Да и умный сосед Артемий Гаврилович Кулемин, повидавший виды, сказал про Маврика:

— В школе-то ему так и так придется учиться с этими ребятами. Так пусть он с ними сдружится до нее.

А Терентий Николаевич вставил свое:

— Дома и молоко киснет. Проквасишь ты, Катенька, парня, и вырастет он безногим, безруким Неумеем Незнаевичем.

Это тоже страшно. И Екатерина Матвеевна решилась. Сначала было разрешено играть в своем квартале, напротив окон. Потом было позволено ходить по соседним улицам, и однажды он выпросился сходить за краснобаевской коровой, отбивавшейся от стада.

И когда все обошлось благополучно, на защиту свобод внука поднялась сама бабушка:

— Лучше ест, крепче спит, здоровеет день ого дня, как такому человеку волю можно не давать...

Случилось невероятное. Маврик получил разрешение ходить купаться и бегать босиком. Однако же были строгие ограничения. Купаться только у берега Песчаной улицы, где мелко, и заходить в воду только по грудь и не выше ни вершка. В чем было дано клятвенное обещание Маврика, Санчика и поручителя Сени Краснобаева. Хотя и без того можно было надеяться на одного Маврика. У него «твердое дедушкино слово», а кроме этого, он всегда был «порядочным человеком».

Началась настоящая жизнь. Белых воротничков не было и в помине. Ноги скоро привыкли к колкой земле и «большим» камешкам. Теперь ни одно из приготовленных для Маврика прозвищ не могло пристать к нему. Разве он «неженка» или «полосатый чулок», когда он бос. Он и не «поганый гриб», а такой же, как все. Кое-кто из ребят еще пытается придумать ему кличку, но кличка не пристает. Кроме одной — «зашеинский внук». Так его называют взрослые. Он часто слышит за спиной, как одна старуха говорит другой: «Это идет зашеинский внук». Иногда его так называют в глаза. Здравуются с ним незнакомые люди и говорят:

— А ну-ка, покажись, каков ты, зашеинский внук...

В Перми никто не обращал на него внимания, когда он проходил по улицам. А здесь редкий не оглядывается на него, не останавливает его.

— Ну-кось, давай поздороваемся, — вдруг задерживают Маврика и начинают расспрашивать, что и как.

Говорят с ним на далеких улицах. Откуда о нем знают? Почему называют по имени — Катенькой и Любонькой — его тетку и его маму? Почему имя Матвей Романович произносится с уважением?



— Потому, — отвечает бабушка, — что дед твой не порознь с народом жизнь прожил, не как другие прочие мастера.

Маврик слышал о дедушке немало, но мальчик многое не понимал. Дедушку он помнил седым, кудрявым. Он сажал Маврика на колени, ласкал его, угощал сладкими пирогами, приносил маковые конфеты. Помнит он, как дедушка без конца щепал лучину для растопки печи. Пучки лучины сохранились и теперь на чердаке дома. Помнит он похороны. Помнит, что их перенесли на воскресенье, потому что заводское начальство боялось, что многие рабочие не выйдут на работу, чтобы проводить старика Зашеина на кладбище. И в самом деле, на похороны пришло много народу. Гроб пришлось выносить на улицу, чтобы не устраивать давки и дать подойти к покойнику всем, кто хочет.

Подходил к гробу и сам управитель завода. Он возложил венок с лентами. Гроб несли только почтенные рабочие, да и те ссорились — кому нести. Маврика тоже несли на руках. Чтобы ему было все видно. Это хорошо помнит Маврик. Он помнит, как ему кто-то с черными усами сказал:

— Оглянись и запомни, как хоронят твоего деда Матвея Романовича.

Маврик тогда оглянулся. Такого скопления народа он не видал никогда.

Знает Маврик, что после дедушки остался наградной кафтан с золотыми полосками на воротнике и на рукавах. Это «царский жалованный кафтан». Им очень гордились бабушка и тетя Катя, но Терентий Николаевич называл этот кафтан «пылью в глаза».

Нужно же когда-то узнать, кто такой был дедушка, если из-за него так много людей знают Маврика.

И ему снова рассказывает о дедушке тетя Катя, Терентий Николаевич, бабушка, и снова многое Маврик не может понять, и ему говорят:

— Подрастешь — поймешь все.

Наверно, они правы, но мы не должны переносить знакомства с дедом Маврика на дальнейшие главы романа. В истории, связанной с Матвеем Романовичем Зашеиным, лежит ключ к пониманию жизни рабочих таких старых заводов, как Мильва, и тех особенностей, которые печальным наследством перешли к сыновьям и внукам.

Не случайно забытый ныне, сосланный сюда художник назвал Мильву «Ключвой, Ключгородком горнозаводского Урала».

В этом преувеличении есть какая-то правда.

### ТРЕТЬЯ ГЛАВА

#### I

Зашеинский дом принадлежал к тем старым строениям, которые возводили на Урале и в Приуралье удачливые мастера, счастливые старатели, ведуны доменного и сталеплавильного дела и все те, кто нашел свой фарт в ремесле, знал свое дело лучше, чем самого себя, и поднялся в верхний слой перваков. От них во многом зависел успех заводского дела: добычи руд, выплавки чугунов и сталей и всего, чем славен этот старый и молодой край.

Нелегко выбиться в перваки, не всегда этому помогают золотые хваткие руки, умная голова, долгие годы тяжелого труда. Выходили в первый ряд и наушники, прижимщики, обмерщики, обвесчики и прочие плуты, любящие ездить на чужой шее и по спинам товарищей карабкаться к достатку и сытости, к своему домку не на три окна с одной трубой, как у всех, а о двух этажах с пятью-шестью горницами, теплыми голландками, с резными наличниками под железной крышей, крашенной стойким суриком, и с «паратьным» крыльцом на улицу. Ну а уж сараюшки, погребушки, белая банька, крытый колодец — само собой. Без теплой конюшни, без хорошего коровника тоже нельзя. Не Питер, не Москва, не другой какой город, где рабочий народ живет по чужим «фатерам» или в заводских казармах и пьет жидкое покупное молоко, ходит на базар за капустой, за огурцами и прочей «овощью». «Картовь» и та у них не своя, на чужом возу привезенная. А здесь разве так?

В стародавние времена было заведено на Урале и Каме жить рабочему человеку в своей избе, а при избе огород и двор. А при дворе: коровенка, свинья, курица, а если есть чем кормить, то и гусь с уткой не будут лишними. Лес рядом. А в лесу: дрова, грибы, ягоды. Были бы руки. Покос от завода дается каждому, особенно если ты коренной рабочий человек.

Тесня старожилов здешних мест, добросердечных и уступчивых коми-пермяков, еще в грозненские строгановские времена, обживался этот край согнанными, беглыми и пришлыми насельниками. Они, оседая здесь, и пускали глубокие корни в коми-пермяцкую землю, ставшую впоследствии землей Перми Великой, а потом просто пермской землей — Пермской губернией.

С умом заводчики и казна ставили здешние заводы. Не одни пруды прудили, не об одной даровой силе воды думали, но и заботились о дешевых рабочих руках и делали все, чтобы эти руки не только лишь заводское или рудничное дело справляли, но и сами себя подкармливали помимо завода.

Не от широкой же души, не от барских щедрот наделяли они рабочих покосами, нарезали им большие огороды, помогали обзавестись своим домишечком. Все это делалось с дальним проглядом. Лишь бы кол вбил рабочий, поставил бы хоть совсем плевую избушечку-малушечку, а потом ему и куренка купить захочется, боровка завести... А когда «свое да мое» разъест ноздри, тогда из него хоть веревки вей, хоть рогожи тки. Рвать и метать начнет, из сил выбиваться, вечера прихватывать, чтобы лишнюю копейку добыть, лишнюю хохлатку на двор пустить, в перваки выйти, полной чашей зажить. А полная чаша — живой пример. На одной и той же улице мастера живут, у которых и на кенгуровом меху шубы случаются и своя полукровка в конюшне ржет.

Худо ли о рождестве или о масленице жену, ребят в кошевку посадить и катнуть через плотину, скажем, к теще на блины. А кроме всего прочего, при своей лошади и дрова из леса, и сено с покоса свезешь, да еще и безлошадному соседу поможешь — опять деньги в дом. А заводу или заводчику — что. Тянись. Замахивайся хоть на каменный дом с мощеным двором. Пожалуйста. От завода ты никуда не денешься. И все твое благополучие в нем. Значит, трудись, добивайся, чтобы твои руки дороже стоили. Ловчись, ищи, придумывай, находи. От этого хоть казне, хоть хозяину только прибыль. И если ты меньшим жаром больше скуешь или через свою придумку в один и тот же день спорее сделаешь — больше получишь. Нет спора — казна и хозяева не знают сытости, но не жалеют рубля, коли твоя смекалка чеканит им сотни, а то и тысячи золотых.

К таким-то рабочим людям, чья голова и чьи руки ценились большим рублем, принадлежал дедушка Маврика — судовой мастер Матвей Романович Зашеин.

Зашеины на этой земле живут незапамятно давно.

Всякое случалось в их роду. Есть слух о том, что фамилия Зашеины пошла от их дальнего родича, смутьяна, подвешенного на заводской плотине за шею. Этому не хотят верить Зашеины. Мало ли что плетет молва. Да если бы такое и было, то зачем помнить о нем.

Зашеиных знают в Мильве как людей, у которых лоб и спины не бывали сухими. Чужого хлеба они не ели, а своим делились. Ни старик Роман, ни сын его Матвей выморщенной копейкой не жили, не мздоимствовали, хотя и могли бы. Под Романом хаживало до двух десятков судовых рабочих, а под началом Матвея Романовича до ста их работало. И кто может сказать хоть про самый малый подбор. Красненькая, скажем, за прием на работу или свиная туша. Брали мастера и по четвертному билету. Корову со двора сводили, только прими в цех. От мастера зависело все. Он царь и бог. Захочет — возьмет, захочет — выгонит. Случались и такие, что брали от каждого десятый заработанный рубль. И платили. Платили и молчали. Да и как не молчать. Лучше десятую долю отдать, чем все потерять.

Честным трудом Роман Зашеин не нажил себе каменных палат. В трехконной избе прожил свой век. И ту еле-еле срубил. Земля много сил взяла. Ему дали заболоченный пустырь. Никто не брал эту лягушиную топь. А Роман Зашеин взял. От завода близко. И если рассудить, то всякое болото можно засыпать. И засыпал. Чуть не на себе песок, гальку, камни возил. И смекалка помогла. Спускковой колодец вырыл. Вся вода ушла.

Знатное место получилось. На этом-то месте и стоит теперь большой зашеинский дом, который ставил Матвей Романович. Он поудачливее отца был. Грамоте знал и думать не боялся. Не только молот, но и циркуль умел в руках держать. Чертежу верил, инженеров, техников уважал, а свой разум тоже в сапог не прятал. Любил говорить:

— Коли ваша честь меня мастером держит, так дозвольте уж мне не быть чем щи хлебают.

Перед тем как заложить новый корпус судна, он не только сам, но и со всеми подначальными держал совет. Говорил, как лучше, как

спорей. И чужой голос умел слушать, если даже это был последний клёпаль. День-два потеряют на счетах-подсчетах, а выгадают не одну неделю. Пароход же строится. И если даже баржа, так ведь и ей при скором рождении долгу жизнь нужно дать.

За это и любили Матвея Романовича. Не «ором» брал, а толковым внушением. Поблажки не давал, но и обидеть не позволял своего товарища.

Не всякому так дозволялось. Не каждый мог рот на заводе открывать. А Зашеин мог. Мастер. Сам управитель его по имени и отчеству величал. Никогда зашеинские корпуса не браковались, хоть и делались они скорее других. А почему? Секрет простой. Каждый свое малое дело знал, и знал хорошо. А работали сдельно. С корпуса. И заводу ведомо, во что ему корпус вскочит, и зашеинская сотня тоже прикидывает, какие щи можно варить, сколько должать купцам, какое приданое готовить старшей дочери.

Счастливой была жизнь Матвея Романовича. Женился он на крупной сироте, у которой из приданого было все, что на ней да в ней. А на ней добра было столько, что и самый завистливый кашеев глаз не позавидовал бы. Зато в ней тепла-света было не меньше, чем на небе в летний день, а уж про честность, верность говорить нечего. Ее сама матушка Правда удочерить могла. Ну, а об остальном-прочем умалчивал Матвей Романович и даже под хмельком боялся хвастливым словом запятнать ее стыдливую и безоблачную любовь.

И завод не обижал Матвея Романовича. Тоже не от доброй души, а по расчету. Матвею Романовичу было на что честно свой дом поднять, надворные постройки поставить, дочерям грамоту дать, хоть и не столь велику, но достаточную для того, чтобы шляпки уметь носить и руки в перчатки от загара прятать. И больше того — Матвей Романович сумел впрок рубли положить для средней дочери, для Катеньки, оставшейся в девичестве при отце с матерью.

Но чем же все-таки прославился Матвей Романович? Почему одни называли его спасителем завода, а другие — обманутым соглашателем, но все равно — почитали все. За что?

Вот как это было.

Казенный Мильвенский завод редкий год сводил концы с концами. Старики частый «прогар» завода объясняли тем, что «казна, она и есть казна и мало кому до нее дела». И в этом была какая-то правда. Казенный, как бы никому не принадлежащий завод находился в руках лиц, которых не беспокоила его судьба. Это были «пришлые господа». Приезжали они сюда чаще всего с единственной целью — «отбыть» здесь пять — десять лет, нажить деньги и вернуться в большие города. А нажиться на казенном заводе инженеру или обедневшему барину было легче, чем где-либо. Безнаказанное взяточничество, сделки с поставщиками и заказчиками, которыми были частные предприниматели, давали немалые доходы. Не часто на Мильве появлялся заботливый управитель. Таких было два-три. При них расцветал завод, от заказов не было отбоя, строились новые корпуса цехов, обновлялись плавильные печи, завод получал золотые медали на выставках в дальних странах. А когда успех, когда есть большие заказы — возрастает и спрос на рабочую силу. Платят не по часам, а по выработке. Значит, оживает и население, благополучие которого зависит от своего кормильца — завода. Но такие «красные» годы процветания тоже можно было пересчитать по пальцам. Чаще случались «серые» годы, когда работал завод «так на так» и ничего не давал казне, но и не требовал от нее «доклада» капиталов. А выдавались и «черные беззаказные» годы, когда работали поочередно — неделю одна смена, неделю другая, чтобы не останавливать завод.

«Черными беззаказными» годами начинался новый, двадцатый век. Пошли разговоры о закрытии завода. Главной причиной этого была высокая стоимость судов, мостов, машин и котлов, изготавливаемых в Мильве. Предприимчивые заводчики подставили ногу казенным заводам, где давала себя знать старина.

В старые годы управляющий заводом, называемый барином, и был им. Разница состояла в том, что управляемые им мужики не пахали, не сеяли, не выращивали скот, а работали на заводе. А барин оставался барином. У него была своя псарня, свои егеря, гонщики, если он был охотником. Во всех случаях, при барине—управляющем заводом — состояла орава слуг. Кучеров, поваров, садовников, лакеев, казачков, вплоть до банщиков и придверников, оплачиваемых заводом.

Удельный князь едва ли мог жить с такой роскошью, как управитель казенного уральского завода. С меньшей роскошью, но

достаточно широко жили начальники цехов, мастерских, служб, различные смотрители, надзиратели, уставщики. Они тоже обходились заводу в большие суммы. При этом заводским начальством чаще всего назначались лица не по их деловым способностям, а по умению расположить к себе барина, понравиться чем-либо ему. Например, умением танцевать, развлекать на управительских балах, которые тоже давались за счет завода и обходились дорого. Из цехов наряжались мастера ловить стерлядь. Их гнали на Каму. В цехах знали умельцев добывать лесную дичь. Гнали в лес. Охотья для барского стола — поденщина идет. Особо — потехи. Если большое празднество — не обойдешься и без веселых огней. Сальные плошки, пиротехнические забавы, а потом и большой костер на пруду.

Назначались начальниками мастерских и цехов люди, вовсе не знавшие заводского дела. Приглянулся барину или барыне иноземный гувернер, а то и просто бродяга в камзоле, — как не пригреть его, кто запретит поставить нарядную балду верховодить над цехом. Все равно там все дела правят мастера, а ты ходи да помахивай хлыстиком, а для того чтобы знали, каков ты есть большой начальник, дай одному-другому по зубам или вели выпороть по своему усмотрению.

Так было в старину. А в конце девятнадцатого века, не говоря уж о начале двадцатого, управляющий обязан был заботиться о прибылях или хотя бы о безубыточности завода. Добиться этого было не просто. Требовалось произвести коренную перестройку завода, начиная с оборудования и кончая разгоном заживевшего, чиновного, бездумного начальства. Управляющему нужна была не только смелость, которая, может быть, и нашлась бы, необходимы были деньги. Притом — немалые деньги.

Завод ветшал. Убытки росли. Изделия удорожались.

И этого никто не замечал до тех пор, пока не заговорили о закрытии Мильвенского завода. Тут-то зашевелились все — от поденщика до мастера. От заводского фельдшера до богатого купца Чуракова. Жизнь каждого из них зависела от завода. На что уж духовные отцы не касались заводских дел, но и те понимали, что с закрытием завода оскудеют их приходы. Приуныли и нищие. Кто им подаст кусок хлеба?

Оказалось, что «казенный», ничейный завод дымит не сам по себе. И от того, будет он дымить или нет, зависит жизнь каждого живущего в Мильве. Куда деться? Где применить руки? Кому продавать товары? На что жить писцу? Чем кормиться мужикам из окрестных деревень, прирабатывающим на заготовке и возке дров? Но все эти люди «вокруг да около». Теряли работу тысячи коренных рабочих, для которых завод хотя и был добровольной каторгой, но неизбывной каторгой, кормившей их.

А теперь?

Что теперь? Голод? Смерть?

В каждом доме просыпались и ложились, спрашивая друг друга — что будет с нами? Думали все. Каждый предлагал свое.

Одни говорили, что нужно поднять бунт и свернуть шею заживевшим начальникам. Другие надеялись, что казенная Мильва перейдет в частные руки и тогда сами собой слетят безрукие, безмозглые заводские чиновники, неделями не бывающие в цехах, получающие даровые денежки, умеющие кутить да пить и ни уха ни рыла не понимающие в заводском деле. А хозяин-заводчик будет знать, кого миловать, кого жаловать. Поразгонит лишних смотрителей-надзирателей-прихлебателей. Уполовинит конторских дармоедов и будет мерить человека рублем. Даешь пользу — робь, нет — закрой дверь с той стороны. И от этого дешевле станет баржа, мост, котел и всякая прочая машина, изготавливаемая на Мильвенском заводе.

Находились головы, которые предлагали подать царю всенародное прошение о передаче завода на выкуп рабочему люду. Рабочий люд наведет свои порядки, поставит своих доверенных начальников, будет работать из последних сил, а не даст закрыть свой завод. И что стоит теперь рубль, будет стоить полтину. А ежели это так, то наступят опять «красные годы» и от заказов не будет отбоя.

Иначе думал корпусной мастер Матвей Романович Зашеин.

### III

— Мужики, — говорил Матвей Романович, сидючи на толстом бревне, заменявшем скамью, возле ворот своего дома, — можно и забастовать. Можно обуть управителя завода и цеховых начальников в



лапти и поводить их по улицам. Можно. Можно кое-кого и в печь на тачке свезти или в пруд сбросить. Можно. А что потом?

Старики и средних лет рабочие молчат. Кто сидит, кто стоит подле бревна, на котором беседует Матвей Романович, покуривая коротенькую трубочку.

— Потом, как после последнего бунта, приведут к медведю и начнут пороть. А потом кандалы, Сибирь, каторга! Ну это так-сяк. Кто-то должен ради других отдавать свою голову. И я бы, может, не пожалел ее. Поносил на плечах, и хватит. Но какова польза? Заказы придут? Или казна побоится закрыть наш завод? Обрадуется бунту казна. Может быть, только и ждет этого. Скажет, сами ушли с завода и гуляйте себе, бунтовщики. Не мы завод закрыли, а вы ему конец принесли. Так или нет?

— Так, Матвей Романович, — слышатся тихие голоса старых рабочих.

Зашеин снова неторопливо делится думаным-передуманым, в чем он убежден и от чего не отопрется и на кресте, если бы его вздумали распять!

— Ежели б нам плату сбавили, чтобы прибыли выжать, нажиться заводчику, — тогда так. А ведь наш-то завод не заводчиков, а казнин. Управителю, кроме медали, ничего за прибыль не дадут. Да и не до медали ему теперь. Он хоть и его превосходительство, а живет заводом. Тоже подумывает, куда мотануть, когда Мильва кончится. В губернаторы-то его могут и не взять. Без него ихних превосходительств многонько у царя. Ну да не о нем забота. У него тут своего дома нет. Сел на пароход и мотанул в Питер. А мы? А мы как, мужики?..

Молчат старики. Молчат рабочие средних лет. Каждый думает о своем домке, о своей коровке, а то и лошадке. Не бросишь это все, не подашься по белу свету работу искать. Две кадушки соленых груздей и те жалко. Не говоря уж о капусте в подполе, о запасе картошки на зиму... А Буренушка-матушка?

Все это, как никто другой, понимает Матвей Романович и снова говорит:

— Другой раз бывает и так, что лучше вместо рубля полтину получить, ремень утянуть, да живым остаться, чем все потерять и особенно потерять надежду на красные заказные года.

Не сразу старик Зашеин открывает свои планы. Исподволь растолковывает своим слушателям, от чего зависит цена моста, котла, железного листа. И все понимают, что плата за труд рабочего, и только эта плата, решает, чему и что стоять.

— И ежели, — говорит медленно Зашеин, чтобы пережевалось каждое его слово, — плата рабочему поменьшает, поменьшает и цена на мост, на судовой корпус и на все прочее. А ежели цена поменьшает — у кого тогда будут заказы? — спрашивает он и отвечает: — У того, кто дешевле просит. Будь то глиняный горшок, будь то железный котел — всегда берут тот, что лучше и к тому же дешевле. Вот и смекайте...

— Так как же так, Матвей Романыч, — спрашивают Зашеина, — в Москве, в Питере за прибавку бунтуют мастеровые, а ты за убавку ратуешь?..

И Зашеин отвечает:

— А я ни за что не ратую. Я говорю то, что есть. Одно из двух. Либо спасти его, нашего батюшку, и не дать закрыть, либо похоронить его, когда он еще может жить и дышать...

Такие разговоры велись не раз и не два. Сказанное Зашейным десятку-другому рабочих пересказалось сотням и тысячам рабочих. Кто-то говорил, что Зашеин баринов прихвостень, что по его подсказке он тянет рабочий народ в нужду, но этого никто не мог подтвердить. Зашеина знали как честного человека, болеющего не только за себя. Такой никогда никому что не надо лизать не будет. Но большинство сходилось на том, что лучше с петлей на шее жить, но — жить, впроголодь есть, но — есть, чем заживо в гроб ложиться и обрекать себя на смерть вслед за своим заводом.

«Свой», «наш», «кровный», «нами строенный», «нами поднятый» и многие другие слова теперь говорились всеми по отношению к «окаянному», «каторжному», «ненасытному» казенному заводу. И каким бы он ни был, кому бы он ни принадлежал, а позволить закрыть его было нельзя. И все кончилось тем, что к Матвею Романовичу пришли выборные и сказали:

— Просим тебя, Матвей Романович, идти от всех нас к управителю. Тебе верим, тебя знаем. Нашего пятака ты не упустишь. Будем работать по семь гривен за рубль, чтобы только сохранить завод.

Зашеин уперся. Ему боязно было говорить от имени всех. Кто знает, как потом повернется все это. Он уже слышал, как один из пришлых мастеров называл его «предателем».

— Один я не пойду, — отказался Зашеин. — Пусть хоть от каждого цеха по одному. При всех буду говорить с управителем. И со всеми ответ нести.

Так и было сделано. И настало воскресенье, когда рабочие люди пошли к барину просить его милости «об унижении им платы, чтобы спасти завод».

#### IV

Хорошо выглядела Екатерина Семеновна Зашеина своему послу чесучовую, в цвет глазам вышитую синими васильками, молодую рубаху. Тесна она ему была в вороте, а теперь, на восьмом десятке, опять в самый аккурат.

Хороший «спиджак» надел Зашеин. Из тонкого сукна. И сапоги надел лаковые. Тоже в недавние годы были малы, а теперь и с портянками не тесны. Калоши надел Матвей Романович. Хоть и жаркий день был, а дом господский. Чтобы не занести в него ни песка, ни пыли, и опять же уважение.

И другие ходоки к барину приоделись кто как мог. Своего не нашлось — соседи дали. Жизнь решается. Быть или не быть кормильцу-поильцу. Как голову репейным духовитым маслом не смазать, чтобы волосья блестели!

Семь лучших караваев принесли. Один выбрали. Замильвенская кузнечиха пекла. Высокий каравай. Как заря румяный. Блюдо, на котором понесут каравай, литейщики лили, медники чеканили. Все цеха на нем в вензелях значатся. Земледельческих орудий цех — плуг. Котельный — котел. Мостовой — ферма. Кузнечный — наковальня. Лафетный — лафет.

Вверху по окружию блюда особый вензель. Четыре буквы в нем переплелись. А. К. и Т-Т. Что значит Андрей Константинович Турчанино-Турчаковский. А поверх буквенной вязи три звезды на щите и дубовая веточка — фамильный герб барина-управителя.

Посредине же блюда—фабричная марка завода, стародавний памятник—медведь с зубчатой короной на горбу.

Солонка была склепана в виде шаланды. Заклепочки меньше головки булавочной. Потрудились лекальщики. А на шаланде буквы «М К З» — Мильвенский казенный завод. И опять же медведь с короной на горбу. Без медведя нельзя... О нем еще будет сказано. А в солонке соль мельче пыли, белее сахара. Соль эта не просто соль, а дар соленой пермской земли.

К хлебу-соли и полотенце положено. Нашлось такое. Тонкими пальцами вышито. И не только цветы да листья, но и слова: «Хлѣбъ-соль ешь, а правду рѣжь». К месту слова.

И вот собрались послы у зашеинских ворот. Кроме ходоков поднабралось человек сто с лишним провожателей. Они пойдут стороной, чтобы, не приведи господь, не задержала ходоков полиция. Два урядника уже похаживали.

Матвей Романович перекрестился и поклонился в сторону Мертвой горы. Там лежал его отец — Роман. Надо же попросить родительского благословения. И по всему видно было, что тот благословил его.

— Пошли, мужики, — сказал Зашеин. И послы тронулись.

Хлеб-соль, покрытый белым тюлем от пыли и всяких мух, несли по очереди. Первым нес Санчиков дед, маляр Иван Денисов. Путь через плотину долог. Плотина — верста с гаком. Надо пройти на виду у всех и без всяких таких непредвиденных и прочих всяких случайностей. Через каждые две-три сажени охранители из цехов. Боялись не только полиции, но и своих, которые звали не хлеб-соль нести управителю, а на расплату его вести.

Обошлось все по-хорошему. Вышли на Баринову набережную. Там особый заслон. Кто за дровяными поленицами, кто по дворам.

Подошли к управительскому крыльцу. Доложили лакею-придвернику, что ходоки ото всех цехов желают видеть его высокое превосходительство.

Допустит ли? Дома ли? Не вышлет ли вместо себя кого-нибудь из своих прихлебателей?

Напрасны волнения. Управитель больше часа ждет ходоков. Полиция в Мильве хоть и была из ротозейского сословия, а такое

гласное дело она не знать не могла. Да и заводские наушники опередили приставов и урядников.

Лакей вышел и сказал:

— Барин милости просит пожаловать!

Вошли в дом старики. Управитель вышел к ним запросто. Поблагодарил за хлеб-соль. Полюбовался блюдом. Прочитал на полотенце: «Хлѣбъ-соль ешь, а правду рѣжь» — и крикнул в соседнюю комнату:

— Матильда Ивановна! Где ты там?.. Почтенные люди пожаловали.

И вышла на зов дородная барыня, не меньше шести пудов живого веса, с тремя подбородками, вся в кудрях и шелках. Заморских кровей иноходь. Идет, как шаланда плывет, только юбки шуршат да грудь отлогой волной покачивается, а в руках поднос. А на подносе графин с рюмками.

— Благодарю вас, господа, — говорит и кланяется барыня, — не откажите и мне честь оказать.

На подносе одиннадцать рюмок. До одной пересчитал Матвей Романович. Десять для ходоков, одиннадцатую для себя. Значит, ждал, значит, знал и одежду не зря надел не свою, а мильвенскую. Рубаха с косым воротом, шелковый витой пояс с кистями, только штаны свои, с красными полосами по швам.

Лакей разлил водку по рюмкам.

Турчанино-Турчаковский редкого из ходоков не назвал по имени и по отчеству, угощая. Зашейна-то он знал, да и других помнил, а остальных лакей подсказывал.

Выпили по единой. Закусили королевской селедочкой, красной икрой, белой осетринкой — и:

— Милости прошу не таить, чему я обязан таким посещением?

Сказал так управляющий, усадил ходоков и велел выйти лакею за дверь, а супругу, поблагодарив за честь, тоже деликатно выпроводил из большой гостевой комнаты. Не бабье дело слушать, о чем послы будут разговаривать с управителем.

— Слушаю, — обратился опять Турчанино-Турчаковский.

Все посмотрели на Матвея Романовича, и он начал так:

— Ваше высокопревосходительство господин барин Андрей Константинович. Дело простое. Хотим завод спасти. А спасти его

можно, по нашему разумению, только тем, ежели мы сумеем побить ценой тех, кто нас в трубу хочет выпустить, по миру пустить, последний кусок отнять.

Управляющий кивнул в знак сочувствия и тут же спросил:

— А как можно, Сударь мой Матвей Романович, спасти завод, когда нет никакой возможности удешевить наши изделия?

— Есть, — перебил управляющего Зашеин, — есть, прошу покорно прощения, ваше высокопревосходительство господин барин Андрей Константинович. Что ты нам скажешь на то, ежели мы вместо каждого рубля семь гривен будем получать? Кто десятку зарабатывал, тому ты семь целковых будешь платить, ваше превосходительство господин барин Андрей Константинович.

— Ежели б да кабы, тогда бы и на крыше росли рыжики, — ответил управляющий. — Если б можно было платить семьдесят копеек вместо рубля, то мы бы повышибли из седла к такой-сякой... всех наших погубителей.

— Так и повышиби, ваше превосходительство Андрей Константинович, к такой-сякой и этой самой.

Послы негромко, но дружно захохотали.

— Я-то бы вышиб, — сказал молодцевато управляющий, щелкнув пальцами и причмокнув языком, — только боюсь в лапти переобуваться, в смоле быть измазанным, в пуху вываляннным, а то и в пруду утопленным. Пожить хочу. Пусть отставным барабанщиком, да не обещанным.

Зорко смотрели ходоки за выражением лица своего управителя, чутко вслушивались в каждое слово.

— Да как же это может случиться, ваше высокопревосходительство, коли мы сами об этом толковать начали?

— Так-то оно так, Матвей, друг мой, Романович, да ведь вас-то только десятеро, — сказал, опустив голову, управляющий, — а на заводе тысячи человек. Они-то что?

— То же, что и мы, — сказал Зашеин.

— Ой ли?

— Так что же ты, ваше превосходительство, господин барин, неужели ты думаешь, что мы сами от себя? Когда во всех цехах все обговорено, растолковано и как следно быть...

— А чем я могу подтвердить это?.. Ведь на высочайшее же надо писать, что рабочие сами, осознав за благо сохранение своего завода, просят снизить плату, тридцать копеек на рубле?

Тут не выдержал маляр Иван Денисов и громко крикнул:

— Ежли надо, все подпишутся! До единого.

— Это другое дело, господин Денисов. Тогда и мне будет не боязно, что я ввожу в заблуждение его императорское величество, и вы не в ответе. Рабочий народ что море. Сегодня тишь, гладь и божья благодать, а завтра — бунт. И на нашем пруду большие волны случались. Не так ли, господа?

Послы опустили головы.

Не одних дураков назначали управляющими казенных заводов. Андрей Константинович Турчанино-Турчаковский был из того поколения заводских воротил, которые умели, когда было надо, надевать рубаху с косым воротом, находить нужные слова, оказывать честь тем, кто сам лез в кабалу.

— Подумаю, господа. Ночь спать не буду... Все взвешу, прикину, высчитаю... Я и сам, господа, готов подписать вместе с вами прошение и отдать свои тридцать копеек с каждого рубля... И отдам, лишь бы дымила всякая труба нашего богатыря и красавца...

Говоря так, его превосходительство господин барин Андрей Константинович расчувствовался, любуясь собственными слезами и словами.

— Сам поеду к государю императору... На колени стану... И не подымусь, пока его императорское величество не скажет «быть по сему» и не соизволит приказать не умолкать заводскому свистку, не утихать цеховому шуму...

## V

Ходоков ждали на плотине возле чугунного медведя и на Соборной площади мужчины и женщины чуть ли не от каждого квартала мильвенских улиц. Зашеин и ходоки, бывшие с ним, отвечали обнадеживающе.

— Нужны подписи, — объявил Матвей Романович. — Он хоть и барин, а тоже слуга. Не верит... Побайвается, как бы не зашабутился

народ.

В эту ночь доморощенные писаря писали прошения, составляли подписки, в которых говорилось, что «по нашему собственному и личному желанию просим платить семь гривен за рубль и сохранить нам завод...».

Но не филькиных грамот хотел господин Турчанино-Турчаковский. Ему нужны были по форме составленные, прочитанные в цехах, потом подписанные поименно каждым прошения. И если неграмотный — ставь крест, прикладывай палец или проси подписать за себя товарища.

Не прошло и недели, как были получены тысячи подписей. И ничто не могло теперь остановить мильвенцев давать свои подписи. Маленький, пестрый по составу тайный кружок «Исток» не был в тот первый год века силой, способной хотя бы разъяснить рабочим, что, становясь на путь уступок, они вредят общему делу рабочего движения России, подают злой пример фабрикантам и казне, что старик Зашеин и сам не знает, куда он заводит рабочих. И такие голоса раздавались, такая агитация была, но ее не принимали, не понимали, да и не могли принять мильвенские рабочие.

Организатор и руководитель тайного кружка «Исток» молодой врач Родионов, сосланный в Мильву, сказал своим кружковцам:

— Их ведет не Матвей Зашеин, их ведет госпожа корова и все, что огорожено своим забором.

Стало известно, что управляющий, а за ним и некоторые заводские чины подписались вместе с рабочими, отдавая свои тридцать копеек с каждого получаемого ими рубля. И об этом говорили все.

— Вот это да! Значит, и они, как мы, держатся за свой завод?

— Оно конечно, — говорили другие, — от больших-то рублей легче выделить долю, чем от малых копеек, когда каждый грош на счету.

— А могли бы не отдавать, — резонно замечали третьи.

Не глуп был Турчанино-Турчаковский — знал, что делал.

Прошла неделя, а потом другая. Стали поговаривать, что зря, видно, собирали подписи, зря надеялись на казну. И когда рабочие готовы были махнуть рукой и ждать неизбежного конца, к дому Матвея Романовича подкатила карета управляющего.



— Его превосходительство просит вашу честь, господин Зашеин, не отказать в милости приехать к нему, — сказал прибывший лукавый пищик, служивший при *самом*, при его квартире.

Лошади были посланы и за остальными девятью ходоками. Матвея Романовича везли на полных рысях, и кучер на всю плотину кричал: «Эй, поберегись!», хотя никого и не было на дороге в этот воскресный день.

Послы от цехов снова собрались в большой гостевой комнате господского дома. Тишина. Молчание. Сердца готовы выскочить от ожидания. Что-то скажет он... Зачем-то медлит... И все смотрят на бездвижную высокую двустворчатую белую дверь с золотой резной окантовкой по краям филенок.

Слышно, как считает секунды двухаршинный маятник старинных часов, стоящих на полу. А секунды длинны, как зимние ночи. Яркий день за окном и тот не светел.

Послы стоят. Ждут. Молчат.

И наконец бесшумно открывается дверь. В дверь проходит *сам*. Он в форме, при шпаге, при орденах и медалях.

К чему бы это?

— Здравствуйте, господа.

— Здравствуйте, ваше высокопревосходительство.

— Прошу садиться!

Никто не смеет сесть.

— Прошу, — повторяет Турчанино-Турчаковский.

Матвей Романович садится, за ним садятся и остальные. Два лакея накрывают большой стол. Появляется закуска. Как это понимать? Золотит ли управитель горькую пилюлю, которую он приготовил им, или выдерживает характер и тянет, чтобы больше выжать. Может быть, мало тридцати копеек и он хочет сорок?

Лакей спрашивает:

— Что будет приказано подать из питья?

Турчаковский отвечает:

— Их спроси, — и указывает на пришедших, и главным образом на Зашеина.

— А нам ничего не надобно, ваше высокопревосходительство... Мы и так премного благодарим, господин барин Андрей Константинович, за честь.

Турчаковский не может скрыть улыбки:

— Вам-то не надо, да мне-то надо. В тот раз я вас поил, теперь ваша очередь поднести. Неужели даже полштофа не принесли? Нет? Тогда, — обращается Турчаковский к лакею, — неси четвертную бутылку и собери с каждого положенную долю, кроме меня. Теперь мне не от чего такую ораву водкой потчевать.

Четвертная бутылка принесена. Названы деньги, которые нужно выложить. Платит Матвей Романович:

— Потом разберем, мужики, с кого сколь...

Водка разлита по большим орленным бокалам. Управляющий берет свой. Подымается. Подымаются и остальные.

— За его императорское величество! — провозглашает Турчаковский и опрокидывает бокал.

Это же делают и остальные.

— Закуска моя, — объявляет управляющий. — Прошу. На нее ты мне, Матвей Романович, оставил деньги. Не совсем обанкротил, не в окончательных дураках оставил своего управляющего.

Лакей наливает повторно, а ответа нет. И когда выпивается второй бокал, Турчаковский говорит с упреком Зашеину:

— И как только я мог, Матвей Романович, клюнуть на твоего червя и попасться тебе на крючок. Как я мог согласиться с платой семидесяти копеек вместо рубля! Когда государь император узнал обо всем этом, моя жизнь оказалась на волоске. «Как возможно, — было сказано его величеством, — как возможно отнимать у моих верноподданных тридцать копеек с рубля... На что они будут жить? Положим, — говорит его величество, — у них свои коровы, свой картофель, грибки, капуста и прочие разносолы, но ведь нужно же покупать и чай, и сахар, и белый хлеб... И как этого не понимает Дурчанино-Дурчаковский, которого я всегда считал человеком, любящим мой народ, моих верных мильвенцев». Ну, тут, разумеется, министры стали доказывать свое. Стали говорить об убыточности и неизбежности закрытия завода. Тогда его величество изволил сказать: «Велю платить семьдесят пять копеек с рубля, и ни одного гроша меньше».

У «посла» от сортопрокатного цеха тряслась борода, сводило ноги. Боявшийся вымолвить слово, кашлянуть, громко вздохнуть, он завопил так, что было слышно за открытыми окнами:

— Неужели ж это правда, золотой ты наш Андрей Константинович!..

Турчаковский сказал на это:

— Как же не правда... Хотя мне и не выпала честь слушать, как государь император всемилостивейше и любезнейше назвал меня Дурчанино-Дурчаковским и я обо всем этом знаю из писем от третьих лиц, но вот же бумаги... Завод будет жить. Завод получает большие заказы...

Управляющий полез во внутренний карман вицмундира и положил на стол хрустящие бумаги. Читать их не стали. Не та грамота у «послов». Многие из них завсхлипывали, а старик ходок от сортопрокатного цеха, не помня себя от радости, забыв о том, что разделяет его и его высокопревосходительство, бросился к нему и обнял своего обманщика:

— Благодетель ты наш, батюшка...

И «благодетель» не устранился от объятий и дал пролить на своей увешанной медалями груди горячие слезы радости старому прокатчику.

В приливе самолюбования Турчаковский гладил согбенную спину умиленного старика и твердил:

— Все будет хорошо, господа... Все будет хорошо.

Послам хотелось на улицу, к своим, чтобы скорее обрадовать их, но порядок требовал досидеть за столом, выпить за своего радетеля-благодетеля. Да и Турчаковскому нужно было что-то сказать еще. И он сказал:

— Кто может не подчиниться воле государя императора? Кто может убавить пожалованный им пятак?.. Не из пятаков, господа рабочие представители, за год набегают многие тысячи, которые не позволят заводу избавиться от убытков. И нет у нас никакого другого выхода, господа, чтобы, не послушавшись нашего государя, получая семьдесят пять копеек за рубль, не вводить в убытки завод, кроме одного-единственного способа.

— Какого, ваше высокопревосходительство? Говори, — попросил тот же посол Груздев от сортопрокатного цеха.

Турчаковский не сразу набрался сил ответить. Он глубоко вздохнул. Опустил голову.

— Один у нас теперь выход. Удлинить рабочий день.

— На сколько? — спросил настороженно и односложно Зашеин.

— На полчаса, господа... На тридцать минут...

Послы переглянулись, и Матвей Романович сказал за всех:

— Надо это все обсказать народу...

— Вот вы и обскажите, господа, а я как все. Пятак ли сбавить упросить государя императора?.. А это опять не одна неделя. Или добавить тридцать минут, не считая субботы...

Народу было «обсказано», и народ, получивший обратно неожиданный пятак, согласился работать пять дней в неделю на полчаса больше.

Завод вышел из кризиса и вместо убытка мог давать прибыль.

## VI

Начались цеховые благодарственные молебны. Служился и большой молебен в соборе. Отец протоиерей в сослужении мильвенских иереев восславили бога и царя, а равно и «неусыпно пекущегося о благе рабочего люда раба божьего Андрея». В проповеди отец протоиерей возвестил:

— Господь бог осенил разум мастерового простолюдина Матвея Зашеина и вложил в уста его мудрые спасительные слова, оберегшие от затухания фабричные горны и возрадовавшие сердца всех от млада до стара, коих призвал мудрый старец Матвей пренебречь тремя сребрениками из десяти и тем сохранить семь, которые не дадут угаснуть дедовским очагам, опустеть домам, обреченным на глад и разорение...

Складно говорил отец протоиерей. Слезы сами собой катились по щекам Матвея Романовича, увлажняли его коротко стриженные седые усы и малую, знакомую теперь всем мильвенцам, сивую бороденку.

Жарко молилась бабушка еще не родившегося Маврика Екатерина Семеновна, гордясь своим мужем-спасителем не перед господом, а перед честным рабочим людом.

Теперь редкий встречный не снимал шапки перед Матвеем Романовичем. И купцы, что проглотили аршин, отчего у них не гнулась спина, не сгибалась шея, и те здоровались за руку с мастеровым Зашейным и благодарили его за спасительство, называли

по имени и отчеству да еще добавляли лестные слова «ваша честь», «ваша милость».

В Петербурге стало известно о письме царю Турчаковского, которое не писалось и не посылалось. Стало также известно и о мудром ответе царя, знающего так хорошо уклад мильвенцев, о которых он даже не слышал. За подобный обман управляющего не только не попросили написать объяснения, а, наоборот, считая обман заслугой, вознаградили обманщика. Было решено образовать новый горно-железоделательный Мильвенский округ из шести таких же убыточных заводов, рудников, копей, лесных дач и прочих казенных промышленных заведений, которые найдет способными существовать далее управляющий округом преуспевающий Турчанино-Турчаковский.

— Ты мог бы подняться и выше, Андре, — уверяла мужа счастливая Матильда после прочтения приятнейшей телеграммы из Петербурга.

— Нужно быть довольным и малым, — отвечал ей не веривший еще фортуне Турчанино-Турчаковский, который теперь будет получать из убавленного рабочим четвертака и прибавленного получаса утроенное содержание, не считая прочего. Это почти столько же, а может быть, и больше того, что получает губернатор.

Вскоре по Мильве прошел слух о пожаловании царскими кафтанами рабочих послов, а судового мастера Матвея сына Романова, oprичь того, серебряной медалью.

Сам управитель подкатил к зашеинскому дому, а с ним и другие господа начальники. И многие видели, многие слышали, а уж узнали-то все на всех улицах, как его превосходительство просил:

— Прошу принять меня, прославленный мастер Матвей Романович. Я хочу поздравить вас с высокой честью и поднести вам золотые часы с золотой цепью...

Он мог бы не через окно зашеинского дома сказать все эти медовые, загодя заготовленные, понятные простому народу слова. Но Турчаковскому нужно было, чтобы его слушали толпящиеся и пересказали другим — каков он, его превосходительство, как он прост и обходителен с тем, кто заслуживает того.

Нет, не дурак был Андрей Константинович Турчанино-Турчаковский. Он понимал, что его власть сильна не одними

штрафами да розгами, но и пряником. Читал газеты управляющий, и не только те, на страницах которых была тишь да гладь, но и те, где «спасителя» Зашеина называли «слепым соглашателем из чистых побуждений, наносящим урон общему делу борьбы с самодержавием».

Этих газет, как, впрочем, и других, не читали в Мильве по недостатку грамотности и по избытку равнодушия к тому, что делается за пределами своего завода и своего двора. Свой завод и свой двор были в безопасности. Пришли заказы. Ни у кого не отобрали номера, кроме пришлых и тех из коренных мильвенцев, кто не захотел подписать цеховые прошения получать семьдесят копеек вместо рубля. Им сказали:

— Не смеем неволить и убавлять самовольно сдельщину и поденщину...

А потом, когда, лишившиеся работы, они письменно признали свои заблуждения, им снова выдали заводские номера. И снова Турчанино-Турчаковский показал себя добрым и чутким к рабочему люду.

Матвей Романович Зашеин не надевал жалованный царский кафтан. Медаль он тоже не носил, а только чистил ее мелом, когда она мутнела. Не носил и часов. Глаза не видели стрелок, да и как-то ему, не купцу, не барину, было стыдно ходить при золотых часах, хоть бы и жалованных. Пусть уж достанутся они внуку Маврикию, появившемуся вскоре на свет самой большой наградой за всю его долгую жизнь. А кроме всего прочего, в часах и в медали, как и в кафтане, была какая-то неловкость. Наградили как бы за то, что жить стали хуже. Однако же, сознавая это, Матвей Романович не мог согласиться с лечившим его от бессонницы доктором Родионовым, что мильвенцы принесли не пользу, а вред общепролетарским интересам.

На это Зашеин с отцовской поучительностью ответил доктору:

— Оно, может, и так, Виктор Иванович... Только ты вглубь гляди. Мы ведь не бездомная пролетария, а коренной рабочий класс, который не должен забывать о своих кровных интересах.

Услышав эти слова, Родионов понял, как бесполезно спорить с Матвеем Романовичем, как трудно, да и невозможно сломать формировавшийся десятилетиями самобытный внутренний мир старика. Он много слышал и даже читал, но все это, подчиненное

доморощенному идеалу благополучия рабочего, начиналось с двора, покоса, живности. И как можно доказать Зашеину, что «бездомная пролетария» есть главная и великая сила времени, когда рабочие помоложе его, ходившие на воскресные чтения в кружок «Исток», тоже считали, что революция уравниет всех рабочих и распределит имущество по справедливости, на каждую душу населения?

Темнота была сильнее света. Мелкособственническое начало казалось очень многим незыблемой основой жизни при всяком ее переустройстве.

Однако, при всем этом, Зашеин не по подсказке, а по собственной воле пошел к управляющему просить возвращения четвертака и убавления на полчаса рабочего времени после того, когда завод стал получать выгодные заказы и давать хорошие прибыли.

Матвей Романович надел свой темно-зеленый кафтан с золотым позументом по вороту и рукавам. Пристегнул медаль и появился в доме управляющего.

Разговор был прямой и короткий.

— Ропшут в цехах, Андрей Константинович. Сегодня ропот, а завтра бунт, ваше высокопревосходительство. Когда нужно было, рабочие люди попустились сами своей платой, а теперь заказы и прибыли. Нужно вернуть рабочим, ваше высокопревосходительство, даденное ими временно.

Турчаковскому было известно, как ведет себя доктор Родионов. Начав с воскресных чтений, с политического просвещения, теперь он почти в каждом цехе имеет своих агитаторов. Агитаторов, которым многое уже понятно и которые легко находят общий язык с товарищами по цеху. То и дело в стране вспыхивали забастовки. Не миновали их и уральские заводы. Но ни с того ни с сего увеличить заработок было «неполитично», это могли истолковать как боязнь волнений, как задабривание рабочих. А власть должна быть твердой.

— Не за чашкой чая решаются такие дела. Отдать деньги легче, чем их взять, — сказал управляющий. — Да и как я сам по себе ни с того ни с сего начну хлопоты?

Матвей Романович ушел ни с чем, а затем пришел на завод, где он по старости лет теперь не работал даже и почетным наставником, рассказал о своем посещении управляющего.

Это вызвало шумное негодование. Возмущались и самые кроткие, привыкшие безропотно гнуть свою спину. Ответ управляющего оскорблял их.

Началась забастовка. Началась она стихийно, молниеносно и нарастающе гневно.

Перепуганный Турчаковский готов был тотчас пойти на попятную, но это теперь наверняка означало бы крах его репутации. И он снова солгал, что все зависит от высшего начальства, перед которым он будет хлопотать и сегодня же начнет добиваться справедливости. Схитрив таким образом, он просил рабочих вернуться в свои цеха.

Но ему не верили. Забастовка разгоралась. В Мильве появилась конная сотня. Прибыл батальон солдат. Затем еще рота. Стало известно о приезде вице-губернатора в сопровождении свиты и жандармов.

При наличии в Мильве войск Турчаковский мог, день-другой затянув, сделать вид, что ему великими трудами удалось добиться уступок у большого начальства, и, охладив пыл забастовщиков, найти золотую середину и остаться снова «хорошим барином».

Мильва, при изменении границ губерний и заводских округов, административно переходила в подчинение от одного губернатора к другому. На этот раз Мильвенский завод имел дело с новичком.

Ретивый, ищущий славы, фанфаронствующий вице-губернатор, не умудренный тонкостями одурачивания народа, не дав устать и вымотаться забастовщикам, не посеяв среди них сомнений, не заслав в их среду подогревающих панику провокаторов, грубо подавил забастовку.

Чувствуя себя здесь главным начальником, не посоветовавшись с изощреннейшей лисой Турчанино-Турчаковским, разгусарившийся вице-губернатор, делая глупость за глупостью, под угрозой нагаек загнал рабочих на завод и громогласно приказал арестованных зачинщиков привести к медведю.



«Привести к медведю» — это было крайним и жестоким наказанием, которое было введено давным-давно. Так давно, что поросло преданием и стало легендой.

В те далекие времена, когда казенной Мильвой правил выходец из чужедальних земель по фамилии Бугберг, прозванный Бугаем, появился веселой души мастер из коренных пермяков Северьянко. Этот самый Северьянко, прожив десять лет в вятской земле, перенял там умение живой резьбы и мог заставлять жить липовый чурак щукой; голубем, тетеревом и кем он захочет. Хоть Миколой-угодником, хоть языческим идолом. Потому что в те годы хотя и крестили всех поголовно, а все же старики язычники не забывали своих старых богов и тайно заказывали Северьяну небольших идолов для домашнего обихода и для ношения в охотничьем мешке. Русские лесовики тоже не брезговали коми-пермяцкими божками, особенно идучи на большого зверя. Помогали они или не помогали, а места много не занимали, особенно карманные божки-вершки. Их и на гайтане рядом с крестом носить было не маотно. Делал Северьянко и таких. Но главная работа Северьяна была церковной. Резал он запрестольных Христов, сидящих на троне, и стоячих Николаев-можаев. Попам в этих краях приходилось вышибать клин клином. Ежели уж крещеным идолопоклонникам трудно верить в плоского, рисованного на иконе бога и они не могут обходиться без деревянных богов, то пусть уж молятся не кому-то, а резному из дерева Христу, раскрашенному красками.

Этими-то запрестольными, то есть находящимися в глубине алтаря за престолом, резными и раскрашенными изображениями Христа и прославился Северьянко, получив право вольного, неприкосновенного и повсеместного проживания.

Христов он создавал вдумчиво и терпеливо, не на одно лицо, а похожими на облик людей того рода-племени, которое молилось новому богу тем охотнее, чем больше в нем было родных черт. Случались поэтому скуластые, узкоглазые, черноволосые, темнокожие или, наоборот, бледнолицые, с белыми волосами Христы-однодеревенцы.

Конечно, легенда и есть легенда, и никто не поручится, какую именно резьбу нам оставил в наследство Северьян. Да это и не столь важно. Важно то, что легенды не лгут о пермских деревянных богах,

которые теперь, спустя много лет, составили собрание деревянной церковной скульптуры мирового звучания. И всякий побывавший в Пермской художественной галерее удивится изумительной тонкости резьбы православных идолов, увидит в их лицах и коми-пермяков, и мансийцев, и всех первоначальников этих краев, обращенных в христианство.

Наверно, среди этих фигур есть и Северьянова церковная резьба. Но не о ней сейчас разговор. По старомильвенским преданиям известно, что управитель Бугай, прознав об этом мастере, зазвал его к себе, чтобы заставить вырезать разные и всякие фигуры для украшения господского парка. Северьян, истомившийся на церковной скукоте, лихо взялся за живое дело и нарезал барину и лесных леших с дудками, и девиц-водяниц с рыбьими хвостами, лосей, волков и царя пермских лесов, большущего веселого медведя.

Медведь шел по резной деревянной траве, по знакомым цветам и нес на своем горбу дуплянку, полную медовых сот.

Внимание к медведю некоторые из мильвенских старожилков объясняют и тем, что завод в старые годы назывался Медвеже-Мильвенским заводом. Назывался он так потому, что одна из пяти рек, полнящих заводской пруд, называется Медвежкой.

Залюбовался Бугай медведем. Жалко стало ему редкую диковину ставить в свой парк. Поведет еще на дожде клеенного зверя из многих липовых плах. А в доме где же держать такую махину? И приказал Бугай отформовать медведя и форму залить чугуном. До этого же повелел Северьяну смешливую медвежью морду обработать поцарственной и позлей.

Говорят, что это не по душе пришлось Северьяну. Не хотелось ему портить дурашливого проказника. Но как можно послушаться барина? И он устрасил медвежью морду, сделав ее чем-то похожей на управительскую.

И когда медведь был отлит. Бугаю показалось неудобным, что этот царственный зверь несет на своем горбу какую-то дуплянку с медом. Дуплянка была заменена литой медной позолоченной короной о десяти зубцах. И когда корона была привернута на горб медведю, то захотелось, чтобы медведь шел не по бессмысленной траве и глупым цветам, а попирали бы своими лапами какое-то покоренное им чудище или идолище.

Северьянко понял, куда клонит Бугай, и не захотел резать под ноги медведю чудище, оскорблявшее его народ, а равно братские по языку и крови народы, прозванные в те годы обидным словом — чудь. Резцы в котомку, топор за пояс — и был таков.

Нашелся другой мастер. Из прислужливых. Монастырский чеканщик. Вычеканил он из красной листовой меди шкуру семиголового чудища.

Чеканную шкуру чудища приказано было положить на большой гранитный камень. Камень нашли за Камой и доставили двумястами лошадей, а затем установили на плотине как основание памятника Медвеже-Мильвенскому заводу.

Торжества открытия памятника начались поркой пойманного Северьяна и двух якорных мастеров, не исполняющих уроков.

С тех пор наказания плетью, розгами, кончавшиеся часто смертью, происходили у подножия памятника. «Привести к медведю» — означало выпороть гласно и всенародно. К медведю приводили пойманных беглых, нерадивых, смутьянов, бунтовщиков, недовольных малой платой, и всех, кого находил нужным пороть очередной мильвенский управитель.

На этот раз к медведю привели организаторов забастовки во главе с доктором Родионовым. Среди них был и Санчиков отец Василий Иванович Денисов, Терентий Николаевич Лосев, тогда еще совсем молодые Кулемин и Краснобаев. Был тут уважаемый в Мильве мастер Емельян Кузьмич Матушкин...

## VIII

На плотине расправы с рабочими происходили и потому, что туда легко было закрыть доступ людям. Достаточно было поставить по взводу солдат в ее устьях.

На этот раз она оберегалась особенно тщательно. Густой цепью солдаты стали вдоль ограды завода, до трех десятков лодок с жандармами охраняли плотину со стороны пруда. По улицам маршировали патрули. На плотину были пригнаны зрители — «посписочные» рабочие, отобранные мастерами и начальниками цехов. Предстоящие события были продуманы до скрупулезности.

Вице-губернатор и жандармские чины стояли на дощатом, ночью сколоченном помосте. Заводские чины во главе с Турчанино-Турчаковским находились поодаль, по другую сторону медведя. Этим показывалось, что заводское начальство и управляющий не имеют отношения к расправе, а находятся в разряде «посписочных», вызванных сюда прибывшими губернскими властями.

Перед медведем поставлены десять широких скамей, или кобылин, с ремнями, которыми привязываются подлежащие порке. Под кобылинами аккуратно разложены ивовые прутья. Десятеро привозных здоровенных и уже подпоенных мужиков в бордовых рубашках находились у вице-губернаторских подмостей, рядом с барабанщиками, которые будут заглушать крики наказываемых.

Вызванные из цехов рабочие толпились за шеренгами солдат. И когда все было готово, о чем доложил жандармский офицер вице-губернатору, им был дан знак чиновнику, чтобы тот прочитал приказ о наказании. Кому, и за что, и сколько ударов. Но в это время толпа зашевелилась и послышалось:

— Пропустите меня... Пропустите!

И все увидели невысокого старика с знакомой бородкой, с седой и все еще кудрявой головой, в царском жалованном кафтане. Послышались голоса:

— Это Зашеин...

— Это Матвей Романович... Пропустите его...

— Пропустите его к вице-губернатору.

И Зашеина пропустили. Он подошел к подмостям и громко сказал:

— Ваше высокое вице-губернаторство... Меня не арестовали по недосмотру. А надо бы... Я ведь эту кашу заварил, мне ее и разваривать первому. Начинайте с меня!

Матвей Романович снял жалованный царский кафтан и, при безмолвии всех, подстелил его на крайнюю скамью-кобылину.

— Что это значит? — недоумевал вице-губернатор. — Кто этот старик? — спрашивал он визгливо у свиты.

— Я Зашеин, ваша милость. Матвей Зашеин, тот самый, который позвал рабочих попуститься на время четвертаком и получасовой прибавкой, а теперь они, — указал он на стоящих со скрученными назад руками забастовщиков, — рассчитываются за это. Дайте

рассчитаться и мне. Порите меня! — обратился он к мужикам в бордовых рубахах. — Более порите, чтобы до гроба помнил старый дурак и в могиле вспоминал, как верить господам на слово.

В эти минуты напряженного безмолвия заметно побледнели лица и некоторых солдат. Незнакомый старик напоминал своим обликом кому-то отца, кому-то деда или просто однодеревенца, готового постоять за мир, за добрых людей.

Кто знает, какие слова мог еще сказать Зашеин, если бы его не прервал ставший рядом с ним перед вице-губернаторскими подмостками управляющий Турчанино-Турчаковский.

— Ваше превосходительство, — обратился он к вице-губернатору. — Не находясь физически в рядах забастовщиков, я внутренне был с ними.

И, как бы признавая виновность, он опустил голову и, тотчас вскинув ее, как бы утверждая этим свою правоту, продолжил:

— Ваше превосходительство! А что, собственно говоря, произошло? За что должны лечь на эти унижающие человеческое достоинство скамьи люди, которые требовали вернуть принадлежащее им?.. Жертвенно и добровольно отданное ими во имя спасения своего родного завода до лучших времен. И эти времена пришли. Но деньги не были возвращены.

Турчанино-Турчаковский чувствовал оживление за своей спиной и принялся говорить так, будто не кто-то, а он возглавлял забастовку:

— В задержке возвращения наших денег повинна трудно и медленно проходимая лестница, состоящая из чиновников, не всегда ревностных в своем служении государю-императору и его верноподданным. И я буду требовать расследования этой непростительной задержки...

— Вы оправдываете бунт? — властно спросил вице-губернатор.

— Бунт? — сказал удивленно, разводя руками, управляющий. — Разве были допущены какие-то нарушения? Разве кто-то оскорбил хотя бы словом кого-то из должностных лиц? Разве были предъявлены какие-то недобропорядочные требования? Люди просили то, что им высочайше возвращено. Прошу вас, досточтимые господа, прочитать только что полученную из Петербурга депешу.

Слушающие рабочие оживились.

Турчанино-Турчаковский с некоторой небрежностью победителя подал вице-губернатору телеграмму, и тот, прочитав, сказал примирительно:

— Поздравляю вас, Андрей Константинович! Поздравляю вас всех, — обратился он к присутствующим.

— Кажется, — снова стал говорить управляющий, — теперь уже не может состояться то, во имя чего нам было приказано явиться сюда.

Вице-губернатор ответил односложно:

— Да!

— Тогда кто же развяжет руки безвинно арестованным? — громко, чтобы слышали все, спросил Турчаковский.

— Освободить приведенных! — приказал вице-губернатор.

Мужики в бордовых рубахах кинулись развязывать руки арестованным.

Но на этом не закончилось фиглярство Турчанино-Турчаковского, он доводил до логического конца необходимую ему комедию.

— Ваше превосходительство, мы не требовали войск. Они пришли не по нашему зову. Благоразумная и верноподданная Мильва всегда умела решать свои споры без вмешательства оружия. Я прошу дать приказ ротам немедленно покинуть мирные улицы.

И приказ был дан. Трубачи затрубили сборы. Части наскоро построились и затем оставили Мильву. Другое дело, что все они разместятся в ближайших селах и будут пока проводить учения, но на улицах их нет.

Плотина пустела. Матвей Романович возвращался в кумачовой рубахе с расстегнутым воротом. Кафтан он оставил на кобылине. Его услужливо принесет ему заводской подлипала. А теперь Зашеин идет со своими дружками. Ему кланяются, говорят добрые слова, называют «родным Романычем», его благодарят женщины. Рабочие зовут его пройтись по улицам, показаться народу. Нельзя. Дома убивается по нем Екатерина Семеновна, и ей надо сказать: «Вот я, Катя. Целехонек и без единого рубца».

Турчанино-Турчаковский тоже шел пешком на Баринову набережную.

Искуснейшего комедианта провожали уважаемые рабочие, всем сердцем верившие барину, постоявшему за простой народ.

Одним из последних уходил Терентий Николаевич Лосев. Ему захотелось сплести памятную корзинку из лозы, приготовленной для порки. Отбирая наиболее гибкие прутья, он сказал увозившим скамьи-кобылины, указывая на медведя:

— Гляньте, ребята, а он ухмыляется, горбатый зубастик! К чему бы и над кем?

## IX

Теперь расскажем, как это было и почему так произошло. Для чего понадобилось такое сложное и рискованное представление у медведя.

Дело в том, что подавление мильвенской забастовки угрожало перейти в волнения заводов, входящих в округ. Волнения могли превратиться, как предостерегал Турчаковский вице-губернатора, в мятежи со всеми страшными последствиями. Потоплением в прудах, сжиганием в мартеновских печах, разгромом оружейных складов, казначейства, поджогами барских домов и неизбежной остановкой завода, выполняющего теперь военные заказы.

Поэтому Турчанино-Турчаковский накануне объявленной вице-губернатором порки разговаривал с ним в повышенных тонах. Вице-губернатор был ниже управляющего по чину и не выше по занимаемой должности, что Турчаковскому тоже давало право разговаривать без особой учтивости.

— Милейший, — говорил он за утренним кофе, — вы должны понять, что после необдуманного подавления забастовки и вызывающе неизящного ареста плаварей скопом, а не поодиночке и с интервалами во времени и под различными предложениями, не имеющими отношения к забастовке, мы все же вынуждены удовлетворить их требования.

— И тем показать, будто они представляют силу, которой боятся власти? — пытался фрондировать вице-губернатор, не желая признавать превосходства над собой Турчаковского.

— Представьте — это так. И мы не можем не считаться с этой силой, — вдалбливал не в очень умную вице-губернаторскую голову Турчаковский. — И там, где мы не можем оказаться сильнее, мы

должны стать хитрее. Арестованных не только нельзя наказывать, но и нельзя далее содержать под арестом, — говорил он, — если мы не хотим пожаров, взрывов, убийств... Люди доведены до крайней степени решимости.

А вице-губернатор свое:

— Но как возможно отменить мое решение?

— Вы говорите «мое». Но ведь кроме «мое» да «свое» есть и государево, — наступал Турчаковский. — И не таким, как мы, приходится подчас попускаться «моим», да и «своим», для блага престола и для целостности своей головы.

— Хорошо! Я согласен! — выкрикнул по-чижиному все еще гусарящий на пороховом погребке титулованный олух. — Но как?

— Вот об этом-то «как» я и хочу поговорить, — заявил Турчаковский. — В игре, наполовину проигранной, мы обязаны, спасая положение, найти такой ход, чтобы власти уступили, не уступив, а смилостивившись, не проявив никакой слабости.

И этот ход был найден Турчаковским. Не кто-то, а он сам, оставшийся в Мильве, сыграет роль защитника рабочих и тем самым поднимется в их глазах.

Для этой цели и был приглашен довольно известный своими смелыми суждениями молодой поп, который должен был, появившись на плотине перед поркой, собой и принесенным с собой крестом заслонить приговоренных к наказанию, а затем произнести речь, утверждающую справедливость требований рабочих.

И после этой речи, также не согласный с наказанием безвинных, и выступит второй, более крупный комедиант Турчанино-Турчаковский.

Так, наверно, и было бы... Но нежданно-неожиданно появившийся по собственной воле Матвей Романович Зашеин куда более выигрышно и естественно заменил подставного защитника из Гольянской церкви, который так и остался в толпе, не появившись действующим лицом перед горбатым медведем.

Комедия у памятника была сыграна так чисто, голос Турчаковского был таким взволнованным, что и умнейший доктор Виктор Иванович Родионов, организатор забастовки, думал — а вдруг да Турчанино-Турчаковский и в самом деле одержим идеями справедливости. И даже потом, спустя месяц, когда Родионова и



других из кружка «Исток» арестовали и сослали в Сибирь, он был убежден, что в этом не повинен Турчанино-Турчаковский. Между тем он, а не кто-то потребовал «замедленного, с интервалами во времени ареста опасных для завода лиц».

Но и в этом случае Турчаковский был чист. Разве может управляющий округом повлиять на жандармов, которых якобы побаивается он и сам.

Оказавшись в ореоле благодетеля, Турчанино-Турчаковский хотел выжать из этого хоть какую-то выгоду. После возвращения рабочим их четвертака ждали сокращения надбавленного ранее получаса к рабочему времени.

Управляющий теперь, войдя во вкус «единения» с рабочими, на сходке представителей цехов сказал так:

— Не знаю, как и быть с этими тридцатью минутами. В этом году, когда к семидесяти пяти копейкам прибавлена треть, двадцать пять копеек, едва ли можно ставить завод под угрозу и требовать принадлежащие вам полчаса. Впрочем, решайте сами... Коли решите бастовать, будем бастовать... А если найдете возможным подождать несколько месяцев до нового года, то готов дать любые заверения, что в новом году эти полчаса будут возвращены.

Представители разошлись по цехам, посоветовались и решили ждать.

— А медведь-то опять ухмыляется, — повторил Терентий Николаевич Лосев. — Ему что... в завод не ходить, судовых корпусов не клепать.

— Это верно, Тереша, — согласился с ним Матвей Романович, у которого он в тот вечер сидел за малым графинчиком. — Но четвертак-то мы все-таки вырвали у него из пасти, да и забастовщиков от надругательства оберегли.

Добрая душа, Матвей Романович Зашеин искренне верил, что это он своим появлением изменил ход дела у памятника. И как было бы горько старику узнать правду и увидеть себя маленькой пешечкой, случайно появившейся в чужой игре.

Хорошим человеком был до конца дней Мавриков дед Матвей Романович Зашеин. Добрая память сохранилась о нем в Мильве и во времена Маврикова детства и в наши годы. Похороненный на Мертвой горе, Матвей Романович жив миллионами хороших, чистосердечно

заблуждающихся тружеников, обманывающих себя и других в местах, далеких от Мильвы и нашей страны.

В этом отношении прошлое Мильвы не для всех вчерашний день...

#### ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

### I

«Уметь! Помогать! Добывать! Зарабатывать!» — эти четыре слова вполне бы могли стать самым кратким и самым исчерпывающим девизом мильвенской детворы, за исключением разве только тех мальчиков и девочек, которых насмешливо называли «благородными».

Маврик был «не поймешь кто». До «благородных» он не дотягивал, а «простым» тоже не назовешь. Но теперь его, разутого, почерневшего, с исцарапанными и пораненными руками, можно считать «своим», хотя у него не было никаких обязанностей и он с утра до вечера мог делать все, что ему захочется. Так не могли располагать собой остальные, кроме разве Санчика.

У Санчика нет домашних обязанностей, потому что нет дома. Денисовы живут в избушке-малушке у богатого дяди Миши. Дядя Миша — маляр. Он ходит и красит по богатым домам. Ему везде доступ, везде вера. Не обманет, не украдет, потому что он не просто маляр, но и староста кладбищенской церкви. А его старший брат — Василий, Санчиков отец, — хотя и почище маляр, красивший не крыши да окна, не кресты да ограды на кладбище, что может делать всякий подмастерье, а мастер первой статьи, которому доверяли самые чистые работы по окраске судов, но жить теперь ему не на что. Ревматизм ног и рук заставил покинуть завод и выйти на семирублевую пенсию. И если бы не мать его жены, не бабка Митяиха, то пропасть бы Санчиковой семье с голоду. Сестры еще не подросли. За стирку Санчиковой матери платили мало, да и редко нанимали. Старшую сестру Санчика Евгению не отпускали мыть полы в богатые дома, хотя и звали. Она была очень красива и могла выйти замуж за жениха с домом. А полемойку, которая ходит по

чужим домам, кто же возьмет замуж. Поэтому Женя училась шить, а пока метала петли настоящим швеям. По копейке за две маленькие петли. За большие платили дороже. Но много ли петель вымечешь за день? И вся надежда семьи была на сухую, подслеповатую, с тяжелыми веками бабку Митяху. У нее случались деньги, и она кормила неплохо денисовскую семью, особенно в воскресенье и в понедельник. А иногда собранных ею кусков хватало и до среды. Митяха была соборной нищенкой, и ей полагалось хорошее место на паперти. У самых дверей, где могли стоять только старые нищие, которые христарадничали много лет и выжидали своей очереди в притворе, а остальные — не настоящие нищие, а просто так, побирušки, когда придет нужда, — не имели постоянного места и канючили где придется. На нижних ступеньках паперти, а в большие праздники, когда все ступеньки были заняты, им приходилось стоять на площади.

Бабушка Митяха имела право ходить по всем домам Мильвы. Таких было всего лишь пять нищих. А остальные могли просить милостыню только на своих улицах, которые были разделены очень строго. Улиц в Мильве хотя и много, но нищих еще больше. Поэтому некоторым доставалась не вся улица, а половина. На одной стороне улицы дома были одного нищего, а на другой — другого. И если кто вздумал бы перебежать дорогу, его могли проклясть, а кроме того, и поколотить. А Митяху никто не мог тронуть. Она из перваков. Почти как мастер в цехе. Санчикова бабушка состоит в первом пятке. И ей, как и всякому из этого пятка, все остальные нищие платят каждое воскресенье «долю». Можно деньгами. Можно кусками.

Санчик гордится своей бабушкой. С уважением к Митяхе относится и Маврик. Хоть и нищая, а из главных. Поэтому ее внуку-любимцу, Санчику, живется лучше всех в семье. Бабушка может припросить и ситцевый остаточек у купца для рубашки Санчику, и самые сладенькие кусочки она бережет для него. Но теперь они не так нужны Санчику. Ему отдано много рубашек и штанишек, из которых вырос Маврик. Они Санчику тоже малы, но Женя их умеет расставлять, надшивать, припускать. И у Санчика теперь есть что надевать.

Сеня и Толя Краснобаевы, как, впрочем, и другие жившие в своих домах, выполняли многие обязанности. Мели двор, чистили у коровы

и у лошади, натаскивали из колодца в огородные кадки воду для поливки, кололи и таскали дрова для русской печи... Делали все, что было под силу, а иногда и не под силу для мальчиков в восемь — десять лет. В эти годы они должны были уметь помогать взрослым. Уметь помогать было не одной лишь обязательной обязанностью, но и гордостью мальчишек.

— Мой-то уж совсем мужик, — говаривали матери про своих сыновей. — Девятый только пошел, а он уж рыбой семью кормит.

Это значит — мальчик просыпается ранним утром и бежит на плотину пруда за ершами, окунями, плотвой. «Надергает» такой три десятка рыбешек — вот тебе и рыбный пирог. Глядишь, опять лишняя копейка дома.

Сходить на луга, собрать там кисленки, как называли мильвенцы щавель, принести пяток стаканов «клубеники», наискать в лесу на «жареху» маслеников, «синявок», принести полмешка еловых и сосновых шишек для «разжижки» самовара, наловить зеленой кобылки отцу для ловли хорошей рыбы — тоже считалось обязанностью детворы, — уметь помогать, добывать, зарабатывать.

Если девочка в девять лет не умеет мыть посуду, подметать пол, помогать матери управляться на кухне, она поражала сверстниц. Страшно прослыть «неумехой», «бездельницей», «белоручкой».

Мавриковой «невесте» Сонечке Краснобаевой семь лет, а она уже показывает своему «жениху», что с ней он не пропадет. Кормит кур. Собирает снесенные ими яйца. Пропалывает «легкие» гряды, ходит за водой с маленькими ведерками на крашеном коромысле, моет по субботам рундучок у «паратьнего» крылечка, отворяет калитку вернувшейся с пастбища корове... Мало ли дел, которыми она гордится и прославляет себя на восьмом году жизни. Не шутка же, в самом деле, считаться невестой такого кудрявого, такого хорошенького, звонкоголосого мальчика.

— Санчик, мы тоже должны что-то делать. Нам пора зарабатывать, — убеждает бездельничающий Маврик своего бездельничающего товарища.

— А как? — спрашивает Санчик. — Может, железо рыть и продавать его Лудилке?

— А сумеем?

— А что тут не суметь? Только бы кочережки достать. У Кеги есть. Может выменять на нитки.

Эта идея — выменять кочережки, потом нарыть ими много железа, продать его Лудилке — увлекает обоих мальчиков.

И они вскоре становятся добытчиками железа.

## II

Из проходных завода вывозится множество шлака. Его вывозят и вываливают на незамощенные улицы Мильвы, чтобы по ним было можно ездить в распутицу, когда грязь стоит выше колес.

Вместе со шлаком попадают и куски железа: остывшие капли металла, обрезки, «срубки» и прочая мелочь, идущая в мусор цехов. Попадают в мусор покалеченные шайбы, оторванные головки заклепок, погубленные болты, случаются в нем и хорошие новые костыли, которыми приклепляются к шпалам рельсы железных дорог.

По разработке уличных отвалов перваками считались братья Рамазановы — Яктынко и Сактынко. В Мильве везде были перваки. В цехах. У нищих. Среди удильщиков. Должны же быть они и у мусорщиков.

Яктынке и Сактынке по десяти — одиннадцати лет. Сактынко красивый мальчишка, с веселым лицом, смеющимися карими глазами. Лицо старшего, Яктынки, изъедено оспой. На левом маленьком глазу бельмо. Он не умеет говорить ни по-русски, ни по-татарски. У него всего только одно слово — «кеге». Если ему нужно сказать «пойдем купаться», он произносит «кеге» и размахивает руками, как при плавании. Если просит есть, снова произносит «кеге» и показывает на рот. С ним ничуть не трудно разговаривать. Крикни ему «кеге» и потом покажи руками, ногами, выражением лица, что ты хочешь сказать, что тебе Нужно, и он обязательно поймет.

Это очень добрый, веселый и хороший мальчишка. Он сразу догадался, что за одну катушку ниток Санчик и Маврик хотят выменять две кочережки. Обмен состоялся. Нашлись и сумки, куда складывать найденное железо. Санчику дали старый мочальный «зимбель», с которым нельзя уже стало ходить на базар, а Маврику тетя Катя дала дедушкин кожаный «пестерек», в котором он носил еду,

когда ходил на завод. Екатерина Матвеевна не знала о предприятии, замышляемом Мавриком. Она не могла и предположить, что в эту памятную вещицу будет складываться ржавое железо.

Теперь оставалось научиться выбирать из шлаковых куч железные куски. И этому искусству стал учить тот же Яктынко, которого все ребята называли Кегой.

Нелегко различать железо от шлака. Цвет один. Разный вес. Железо тяжелее. Рукам пришлось немало перебрать, чтобы научиться определять железо по тяжести.

Первый день не принес большой удачи. Добытки не набрали и по фунту на брата. А если и набрали, то, наверно, половина из найденного — это шлак, слившийся с железом.

На другой день они отправились вдвоем, чтобы Кега и Сактынко не вытаскивали из-под носа хорошие, тяжелые железинки. Попадались очень счастливые куски. Наверно, по полфунта. А нужно было набрать не меньше полпуда. Двадцать фунтов. А лучше пуд. Лудилко меньше не принимал. Полпуда — это гривенник. Два фунта с пуда он выкидывал на «ржу», на прилипший шлак.

Добыча шла успешнее день ото дня, и, наверно, скоро можно будет отправиться к Лудилину и продать нарытое железо. Хорошо бы найти сразу тяжелую железяку.

Мечтая вслух, мальчики не заметили подслушивающего их возчика.

— Ты не зашеинский ли внучонок? — услышал Маврик.

— Да.

— Аль обеднели?..

— Не обеднели, а «деньги нынче кусаются», — повторил Маврик много раз слышанные слова.

— Дома послали?

— Нет, мы сами.

— Это хорошо. Хоть и плевые, а все ж таки свои копейки будут. А ты чей? — спросил возчик Санчика.

— Денисов! — крикнул он, довольный, что и его спрашивают.

— Маляров сын?

— Ага!

— Ну и много ли нарыли?

— Мало. Одна только большая попалась.

— Тогда вот что. Приходите завтра. Сюда же. Об эту же пору, а то пораньше. Будет что рыть.

Сказал так незнакомый возчик, вывалил шлак и уехал.

Рано прибежали Санчик с Мавриком. Долго ждали возчика, но дождались. Он свалил не шлак, а цеховой мусор. В мусоре блестели золотенькие чешуйки.

— Это медь!

— То-то оно и есть, — подтвердил возчик, — не по грошу за фунт, а вдесятеро Лудилин заплатит. Еще воз привезу из механического...

Медных чешуек-стружек оказалось много. Мальчики торопились выбрать их из мусора. Выбирать их было легко. Они блестели.

Сумки потяжелели, а чешуек было еще очень много. Возчик приехал снова и снова опрокинул деревянный коробок.

— Маврик, нам не донести. Давай закопаем.

— Давай.

Так и сделали. Закопали набранную медь и принялись за новый мусор. Пришлось еще раз закапывать и еще раз набирать, а потом перетаскивать по частям.

Лудилко хотел было обвесить, но слышалось предупреждающее слово «кеге!» — и гири были подсчитаны правильно. Кега, не умея говорить, хорошо знал счет. Лудило отдал все до копеечки.

Маврик получил рубль шестьдесят три копейки. Таких денег он никогда не держал в своих руках. Кега помог разделить деньги пополам. Неделимую копейку отдали Кеге, и он принял ее как заработанную.

— Откуда такие деньги? — спросила мать Санчика, когда он принес их ей и сказал:

— Мама, это тебе на новое платье.

Маврик объяснил, как у них оказалось по восемьдесят одной копейке, и тоже пошел домой отдавать свою часть тете Кате.

Он важным, серьезным вошел в комнату, где тетя Катя шила дорогое заказное платье на своей старинной швейной машине фирмы Попова. Пришел и сказал, стараясь подражать Терентию Николаевичу, с хрипотой в голосе:

— Это тебе на сливочное масло, тетя Катя... Нынче оно тоже вздорожало...

Не сразу поняла Екатерина Матвеевна, что все это значило. Ей долго пришлось рассказывать все с самого начала.

Сначала она плакала от стыда перед собой и говорила:

— Маврушечка, неужели же я тебе не покупаю сливочного масла? Его же целых два фунта в погребе на льду.

Потом она плакала от стыда перед другими:

— Что скажут, что подумают о нас... Лудилин теперь разблаговестит по всем улицам, что ты, мой единственный племянник, внук Матвея Романовича, роешься в шлаке, в мусоре с уличными мальчишками.

И наконец тетя Катя вместе с бабушкой плакала потому, что Маврик растет настоящим, хорошим, заботливым мальчиком, будущим поильцем-кормильцем, как дедушка.

Когда все слезы были выплаканы, тетя Катя потребовала у Маврика дать ей честное слово больше не рыться в шлаке, но Маврик сказал:

— Я хочу, как все мальчики, помогать семье.

Это было сказано очень серьезно. В его глазах стояла настойчивость. В голосе исчезло заикание. И тетя Катя уступила:

— Хорошо. Только не каждый день...

### III

С тех пор, когда милый, добрый Артемий Гаврилович Кулемин побывал с Мавриком на Гольянихе, где жили Киршбаумы, прошло не так много времени, но Ильюше казалось, что это было давно, и очень давно. Да и Маврик терял счет дням и надежду на скорую встречу с Илем. Едва ли Кулемину опять понадобится идти к Самовольниковым. В тот раз он относил им на новоселье обещанного пушистого сибирского котенка. Правда, пока Маврик рассказывал Илю о том, что произошло, а Иль жаловался, как скучно ему, Григорий Савельевич разговорился с Кулеминым, и оказалось, что Артемий Гаврилович может много сделать в свободное время для оборудования штемпельной мастерской. Григорий Савельевич очень просил Кулемина побывать у него. И он обещал. Обещал, но не шел. Может



быть, не шел потому, что Григорий Савельевич обещал заплатить не так много.

Мальчишкам, как, впрочем, и хозяевам квартиры Самовольниковым, даже и в голову не приходило, что за встреча происходила на Гольянихе. Осторожный Киршбаум наводил потом справки о Кулемине, кто он такой и можно ли ему доверить точную работу.

О Кулемине все отзывались очень хорошо, и даже сам пристав Вишневецкий сказал, что это честнейший человек и отличный мастер.

После такой рекомендации Киршбауму можно встречаться с Кулеминым и поручать работу по металлу для штемпельной мастерской. А время шло. Отец успокаивал Иля, что теперь остается всего лишь две недели и будет закончено переоборудование низа флигеля под штемпельную мастерскую и закончится ремонт верхнего этажа, где будет их квартира. Легко сказать — две недели. Это четырнадцать дней. Четырнадцать утр. Четырнадцать вечеров. Разве так много в лете дней, чтобы расшвыриваться таким счастливым временем, которое он может провести с Мавриком и Санчиком! И есть еще какие-то краснобаевские мальчишки.

Хватит терпеть. Хватит страдать. Иль задумал побег. Наслушавшись о побегах из Сибири каторжан, он знал, что для этого нужно заготовить сухарей, взять с собой самое необходимое и выбрать такое время, когда никто не заметит исчезновения убежавшего.

Таким временем было утро, когда мать и отец уходили на далекую Песчаную улицу, где происходит ремонт, а Фаня убегала с хозяйской дочерью к другим девчонкам. Утром и свершился счастливый побег. Иль еще с вечера отнес в огород наволочку с маленькой подушки, наполненную сухарями, и большой бумажный кулек с бельем. А утром, проводив отца и мать, он сказал сестре:

— Если ты можешь бегать с девчонками, так почему я должен сидеть дома?

Фаня ничего не ответила и ушла с хозяйской Манечкой, как всегда. Ильюша пополз в огород, хотя он мог пойти туда, как ходил всегда, но тогда это не было бы побегом.

Прихватив в огороде наволочку с сухарями и кулек с бельем. Иль перелез через плетень. Теперь нужно было оглянуться, прислушаться — нет ли погони, не слышен ли топот копыт конной полиции.

Нет. Все тихо. Только жужжат шмели. Можно двигаться дальше до кустов, а кустами пробраться в лес, а там... свобода.

Хотя Ильюша и знал, что в центр Мильвы ближе всего идти по Старо-Мощеной улице, единственной улице завода, которая была вымощена булыжником, потому что это была трактовая улица, но он также знал, что убегающий должен «петлять», чтобы «замести следы». И он стал «петлять» по лесу, все же не заходя слишком далеко, чтобы не заблудиться и не потерять из вида Мильву. Пройдя кромкой леса версту или более, Ильюша стал думать о сухарях. Не много ли он насушил их? Это первое. Пригодятся ли они ему вообще? Это второе. Не повесить ли сухари на сук дерева для какого-нибудь белого или заблудившегося в лесу человека? Это третье. Оно вполне оправдывало первое и второе и освобождало его от груза, хотя и не тяжелого, но надоедливого. Однако, чтобы не дать себе посмеяться над собой, он заставил себя почувствовать голодным и тотчас же достал из наволочки несколько ржаных сухарей, размочил их в жестяной кружке, которая, как и ложка, предусмотрительно была положена в наволочку. Преотлично позавтракав на берегу ручейка тюрей, он повесил свой сухарный запас на сук и, довольный разлукой с ним, повторил отцовские слова:

— Животное заботится о себе, а человек обо всех, и тот, кто заботится только о себе, напрасно считает себя человеком.

Эти слова нелегко было понять, но когда он их понял, то увидел, что не все люди — люди. Папа тоже иногда напрасно считает себя человеком. Разве не он довел своего сына до того, что теперь он вполне может петь не про кого-то, а про себя: «Бродяга, судьбу проклиная, тащится с сумой на плечах...» И дальше: «А в сумке его за спиною сухарики с ложкой лежат».

— Так нет же, папа, нет! Меня не остановят никакие Байкалы...

Сказав так, Иль разувается и переходит вброд ручей, стараясь «петлять» по нему, выискивая наиболее глубокие места, потом с разбегу выпрыгивает на берег как можно дальше, чтобы окончательно скрыть следы и оставить в дураках сыщиков, жандармов, приставов и папу. Пусть он попробует его найти в этих «далеких горах Забайкалья, где пташки порхают, поют». Пусть!

И когда все это было проделано, Ильюша снова пошел кромкой леса, не теряя из вида окраинные дома и, наконец решив, что хватит

«петлять», направился в центр Мильвы. Он знал, что центр там, где самая большая белая церковь, которую видно отовсюду. Он также знал, что собор находится на Соборной площади, а от площади идет множество улиц и одна из них Большой Кривуль. И если по этому Кривулю пройти два длинных квартала, его пересечет Ходовая улица. И на одном из ее четырех углов стоит дом, низ у которого кирпичный, а верх деревянный, а крыша железная, а ворота зеленые с медными кольцами, а у ворот большое бревно, на котором когда-то любил сидеть дедушка Маврика Матвей Романович. Все это было незаметно выведено Ильюшей у отца, и теперь совсем было нетрудно найти дом. И он его нашел, ни у кого не спрашивая, чтобы не навлечь подозрения, потому что каждый мог оказаться сыщиком и задержать беглеца.

И вот Илюша перед домом Зашеиных. Ему стоит повернуть кольцо калитки, открыть ее и — «здравствуй, Маврик»... Но это было бы слишком глупо. Наверняка бы залаял Мальчик, которому он хотя и приготовил баранью косточку, но все равно бы на лай Мальчика выплянула в окно тетя Катя, и ей бы пришлось сознаться во всем. Она хотя и очень добрая, но не до того, чтобы скрыть побег от его отца, а когда отец узнает обо всем, то, может быть, произойдет то, что не случалось никогда, но могло случиться. И хотя Илюша не боится боли, но зачем ему нужно после того, как он будет выпорот, хуже относиться к своему такому хорошему, такому любимому отцу? Илюша стал искать лазейку в заборе. Лазейки не оказалось, зато было круглое отверстие, оставшееся после выпавшего из доски сучка. Прильнув к отверстию, он увидел бледного, белоголового, сухощавого мальчика с белыми бровями. Конечно, это Санчик. Кто же еще мог так резвиться с Мальчиком? А то, что собака была Мальчиком, Илюша слышал, когда ее так окликнул белобрысый мальчишка. Теперь крикнуть не очень громко, а лучше прошипеть в дырочку забора:

— Санчик, подойди ко мне.

И Санчик подбежал. И он не стал спрашивать «ты кто?». Он сразу почему-то через ту же дырочку сказал:

— Это ты?

— Это я!

— Удрал?

— Еще спрашиваешь...

— Я сейчас...

Санчик перемахнул через забор и шепнул Ильюше:

— Иди за мной... Мы пройдем через краснобаевский огород, а там есть тайный лаз и подкоп.

Они шли крадучись, затем, нагнувшись, прошмыгнули под окнами, нырнули в «тайный лаз» и очутились на краснобаевском огороде и снова поползли на четвереньках к подкопу, скрытому крапивой, через который хотя и с трудом, но можно пролезть под забором и очутиться незамеченными на зашеинском заднем дворе, где одиноко стоял на якоре заброшенный пароход.

Сердчишки мальчиков счастливо бились. Открытая Санчиком тайна лазеек скрепляла их дружбу, которая началась задолго до этой встречи. Маврик назвал их друзьями заочно. А теперь они настоящие друзья. Преодолев столько трудностей, они вползли в пароход. Там-то уж они в полной безопасности. Санчик очень доволен, что показал Ильюше тайную дорогу и спас его.

Так ли будет радоваться Санчик Денисов через восемь лет, счастливо встретившись с Ильюшей на мельнице близ Омутихи? Как поражен будет он, узнав, что арестованный Ильюша бежал из-под конвоя тех, с кем он учился в одном классе, кто «плавал» вместе с ними на Мавриковом пароходе. И совсем неожиданным будет для Санчика, что Илья Киришбаум, проходя под конвоем, вспомнил о «тайном лазе» в краснобаевском заборе и молниеносно нырнул в него, а затем воспользовался тем же путем до подкопа, заросшего крапивой, и, петляя по огородам, скрылся не от воображаемой, а действительной вооруженной погони...

Видимо, не все, что происходит в детстве, и даже игры, оказывается только забавами детей, которые так умиляют, а иногда и смешат взрослых, всегда почему-то забывающих, что и они были детьми, что многое из того хорошего и, конечно, плохого, проявившегося в зрелые годы, закладывалось в самом раннем возрасте.

Это к слову и впрок.

Узнав о побеге сына, Григорий Савельевич, не раздумывая долго, отправился к Екатерине Матвеевне. Она, не зная, что Ильюша прячется в пароходу за сараем, убежденно сказала:

— А где же ему быть? Конечно, он где-нибудь у нас. — Затем, вспомнив, как Санчик таинственно увел Маврика, когда она ему читала письмо из Перми от матери, еще раз подтвердила: — Несомненно, Иль прибежал к нам.

И тут же, вместо того чтобы согласиться с Киршбаумом, возмущенным поступком сына, она обвинила не беглеца, а отца, который довел до этого своего сына. И повторила слова тех, кто убеждал ее не держать взаперти Маврика. Когда же Екатерина Матвеевна поняла, что Киршбаум хочет увезти да еще наказать сына, она взволнованно и горячо принялась защищать Ильюшу.

— Вы не можете, вы не должны, Григорий Савельевич, разрушать веру мальчика в свои силы, в свою самостоятельность. Каким вы хотите вырастить его? Нет, я не позволю в моем доме...

— Но хотя бы убедиться, что он тут, я могу? — спросил Киршбаум. — Или я должен находиться в неведении, чтобы не разрушать его веры в свою самостоятельность между первым и вторым классом начальной школы?

В это время вошел Маврик. Ему понадобились нитки. Но по его глазам, которые ничего не могли скрыть, было ясно, что никакие нитки ему не нужны, что ему нужно было проверить, зачем пришел отец Ильюши. Поздоровавшись с ним, Маврик, как бы между прочим, сказал:

— Когда же придет к нам Иль?

Киршбаум, опустив голову, сказал:

— Может быть, никогда. Он сбежал.

— Куда? — как мог удивился Маврик.

— Не думаю, что в Америку, но и не ручаюсь, что не в Африку. Он так любил рассказы об Африке. Но, может быть, его еще задержит полиция. Его ищут сто полицейских и триста казаков. Всюду разосланы телеграммы. Я только что с почты и по пути зашел сюда.

Щеки Маврика горели счастливым румянцем. Вот здорово! Сто полицейских и триста казаков. А он тут, рядом, под сараем. И его не найдут даже тысяча полицейских и три тысячи казаков.

— А вы тоже ищите?

— Я? Нет, — ответил Григорий Савельевич. — Где я его могу искать? Разве что в твоём пароходе? Так он же не дурак, чтобы сидеть там.

— Конечно, конечно... Зачем ему там сидеть... Но если вам надо, вы можете проверить...

Теперь уже было окончательно ясно, что Ильюша здесь. Довольный тем, что предположения оправдались, что сын благополучно добрался до Зашеиных, Киршбаум, скрывая свою радость, сокрушенно спросил:

— А как ты, такой серьёзный человек, не теряющий голову в такие трудные минуты потери своего темнокожего друга, думаешь — найдут его полицейские и казаки?

— Нет! Никогда! — почти выкрикнул Маврик.

— Ой! — простонал Киршбаум. — Ты убиваешь во мне последние надежды. — Тут Киршбаум вынул платок и приложил его к своим глазам. — Жив ли он? Жив ли мой единственный сын?

Чужие слезы и чужое горе могли заставить Маврика сделать все. И он, не удержавшись, сказал:

— Ильюша жив!

Тогда Григорий Савельевич задал вопрос, который сам по себе напрашивался:

— А ты откуда знаешь?

— Я?... Я? — стал заикаться Маврик. — Я так думаю.

— И я думаю точно так же, — поддержала племянника Екатерина Матвеевна, не желавшая, чтобы он выболтал тайну. — Я также уверена, что Ильюшу не найдет никакая полиция и он будет скрываться до тех пор, пока вы, Григорий Савельевич, не переедете на Песчаную улицу.

— Да! — крикнул Маврик и убежал, забыв о нитках, за которыми он приходил.

Вскоре ушел Киршбаум, довольный, что его сын проживет у Екатерины Матвеевны до понедельника следующей недели, когда Киршбаумы переберутся на Песчаную улицу.

Вечером Маврик попросил разрешения у тети Кати переночевать в пароходе. И это разрешение было получено. А утром Екатерина Матвеевна спросила Маврика:

— Мавруша, ты, кажется, что-то скрываешь от меня? Неужели ты не доверяешь мне своих тайн?

— Свои доверяю. А чужие я не должен... Я не могу доверить их никому...

Тетя Катя не стала спорить. А Маврику очень хотелось раскрыть тайну, и он сказал:

— Но если ты поклянешься на мече, я тебе расскажу все.

— Конечно, поклянусь. Неси меч.

И меч был принесен. И на его рукоять была положена рука дававшей клятву, затем повторены слова, сказанные Мавриком:

«Меч, меч, тебе голову сечь тому, кто клятву нарушит, на море, на суше, на земле и под землей, на воде и под водой и всюду, везде, и даже во сне».

— Теперь целуй меч, — потребовал Маврик.

Екатерина Матвеевна сделала вид, что она прикоснулась губами к мечу, после чего Маврик объявил:

— Илья сидит у нас в пароходе.

— Какое счастье! Какая приятная новость! Зови его сейчас же пить чай...

Маврик помчался за Ильюшей и Санчиком.

После чая Екатерина Матвеевна посоветовала Ильюше переселиться из парохода в дом и очень серьезно предложила ему свою маскарадную, с кружевами, закрывающими все лицо вместе с подбородком, маску, он должен носить ее при себе и тотчас же надеть, если появится кто-то из тех, от кого нужно скрывать свое лицо.

Это было так неожиданно, так хорошо, что лучшего невозможно придумать. Теперь Маврик и Санчик могут сказать всем ребятам, что у них скрывается черная маска без имени и без фамилии.

Ильюша, поняв, как это таинственно, сразу же после чая надел маску, и все ребята на улице спрашивали: кто это, кто?

А вечером, когда снова появился Григорий Савельевич, Ильюша прошел мимо него, и ему, родному отцу, даже в голову не пришло, что это его родной сын, которого он так ищет и которому он все простил.

Как недогадливы бывают иногда такие взрослые и такие умные люди...

Вскоре был закончен долгожданный ремонт. Во флигеле пробит вход с улицы. Над входом большая вывеска. А на вывеске золотыми буквами написано: «ШТЕМПЕЛЯ И ПЕЧАТИ». А ниже мелкими буквами «Киршбаум и К°». То есть — и компания. Потому что это было предприятие не одного лишь Киршбаума, но и тех, кто точил ручки для штемпелей и печатей, тех, кто выполнял граверные работы, тех, кто поставлял штемпельную мастику, и тех, кто под маркой компаньонов будет на законном основании, не прячась от полиции, работать в подпольной типографии.

Заказы пока не выполнялись, а лишь принимались Анной Семеновной. Сам Киршбаум и кое-кто из К° уехали в Пермь за шрифтами, сырой резиной и оборудованием.

Ильюша явился на Песчаную улицу в маске, чтобы заказать штемпель с таинственными буквами МИС. Этими тремя буквами, соединенными в одно слово, начинались имена трех товарищей, трех верных друзей. И когда заказ на штемпель был принят, Ильюша сбросил плащ, который до этого был накидкой ротонды тети Кати, и снял маску.

Санчик и Маврик, стоявшие за дверью, знали, что с Анной Семеновной будет плохо, захватили с собой нашатырный спирт и, появившись в мастерской, привели её в чувство.

Дочери тети Лары визжали от радости, а Фаня, изображая из себя красавицу Несмеяну, даже не улыбнулась. Не много ли ты берешь на себя, Фаина, не хочешь ли ты, чтобы тебе положили под подушку незаклеенный конверт с муравьями и с буквами МИС или напустили в твои чулки живых лягушек? Интересно посмотреть, какое красивое будет у тебя лицо, когда ты утром будешь надевать на свои танцевальные ноги розовые чулки. Благодарю бога, что сегодня Маврику и Санчику не до лягушек и не до тебя, слишком старшая и слишком умная Фаня. Есть поважнее дела...

Наступал сенокос. Бабушка Маврика настояла, чтобы внук пожил на кумынинском покосе два-три денька. Поучился грести сено. Екатерина Семеновна, любя и холя внука, не хотела, чтобы он вырос квелым цветком. Кумынины согласились взять Маврика и Санчика грести сено, поэтому нужно было спешить. Их ждали.



У Кумыниных нашлись маленькие грабельки. Маленькие грабельки вместе с большими и острыми косами положили на телегу. На телеге поехали младшие девочки с матерью, а остальные пошли пешком.

Покос не близко. Версты четыре. Но идти туда было очень весело. А на покосе оказалось еще веселее. Они будут спать в балагане, как все. Яков Евсеевич сразу же занялся балаганом, и все принялись помогать ему.

Сначала поставили «домиком» ивовые прутья, а потом стали покрывать их скошенной травой. Тепло, и дождь не промочит.

Если б так можно было жить всегда...

Что за прелесть ночь на покосе! Светлая, теплая ночь, пахнет сеном, пахнет дымом костра. И чай на покосе, заваренный в закопченном чайнике, совсем не такой, как в самоваре. И хлеб не тот. И все не то.

Хорошо бы научиться косить, но не продаются маленькие косы. Грести тоже интересно, хотя и мешают ягоды. Приходится собирать. Не пропадать же им. Клубники здесь — море. Разве можно сравнить ее с лесной земляникой, которая кислотит и щиплет язык.

Время покоса — это веселый праздник в Мильве. Приходится останавливать на неделю, а иногда и на десять дней завод, кроме горячих цехов. Сено нужно всем. Коровы же... лошади. Чем их кормить? Траву нужно скосить вовремя. В хорошую погоду. Траве нужно не дать перерасти и полечь. Сено нужно убрать, как только оно подсохнет в рядках. А вдруг дождь... Намокнет, почернеет сено и может сгнить.

Косят почти всю ночь. Те, кто не справляются сами, нанимают пришлых. Их много приезжает в Мильву. Со своими косами. Со своими песнями.

Белая ночь не зажигает звезд. Хорошо косить в белую ночь, а еще лучше спать и слышать сквозь сон ширканье кос и ржание лошадей. Спать и видеть сны о том, как Толя Краснобаев помог сделать из кровельного железа маленькие косы. И как этими косами накосили хорошее сено для пони Арлекина...

Не думай, Маврик, о нем даже во сне. Пусть тебе лучше снится козел из замильвенской пожарной. Его тоже можно запрячь в маленькую тележку и возить на ней сено или ездить вдвоем с

Санчиком в гости. К рогам козла нетрудно прицепить вожжи. Куда потянешь вожжу, туда и он повернет. Но козел провоняет весь двор да еще вздумает бодаться. Нет, не нужно, не нужно видеть, чего не может быть. Спи, Маврик, спи. Завтра ты попробуешь прокатиться на Буланихе верхом. Это твердо. А пони, козлы, северные собаки — это почти мышь, которая не оказалась волшебницей.

Спи! У лета впереди еще сорок пять дней. Сколько купаний будет за эти дни. Сколько теплых вечеров. Сколько новых знакомых. Новых игр. А потом грибы. Потом привезут арбузы, яблоки, виноград. А потом ты можешь помогать солить капусту. Ее купят не менее чем сто кочанов, а огурцов тысячу штук. Потом поспеет калега, которую в Перми почему-то называют брюквой. Старая Кумыниха напарит тебе и Санчику целую корчагу вкусных паренок из калеги. Это не Пермь. Здесь своя русская печь, и она может, что ты захочешь, напечь, нажарить, напарить, Сварить...

Спи. Тебя любит тетя Катя, любит бабушка, любит и мама. Теперь у тебя все будет хорошо. Пятнадцатого августа ты пойдешь в школу. Во второй класс, вместе с Толей Краснобаевым. Санчик пойдет в первый класс. В школе тебя не заставят быть товарным вагоном. От тебя там никто не отвернется. Зимой тебе никогда не будет холодно. Дрова уже куплены, да еще и прошлогодних осталось четыре сажени. А потом придет рождество. Терентий Николаевич опять принесет пушистую елку. А за месяц до елки ты с тетей Катей будешь золотить орехи, клеить цепи, приводить в порядок елочную коллекцию, надвязывать оборвавшиеся ниточки.

А бабушка Екатерина Семеновна в долгие зимние вечера будет рассказывать про старину такое, какое не услышишь ни от кого. Про первые бунты. Про то, как Мильва горела. Как Мавриков прадед Роман пудовую щуку в пруду поймал. Мало ли у бабушки нерассказанных былей-небылей. Зимние вечера тоже хороши.

А до этого придет Екатеринин день. Тети Катины и бабушкины именины. И все соберутся, и будет очень весело.

Спи! Впереди еще сорок пять летних дней. Завтра всего только второе июля.

Спи!

И Маврик спит, убаюканный тети Катиными словами, которые мысленно повторял сам себе.

Сорок пять дней — это немало, но мелькнули и они. Позади остался милый покос, ставший еще милее. Побывал Маврик и в лесу с Терентием Николаевичем и научился отличать поганки от хороших грибов. Хотя и не все, но многие. Уж главные-то мильвенские грибы — грузди и рыжики — он никогда не спутает ни с какими другими.

Лето в Мильвенском заводе кончается раньше, чем думал Маврик. Лето кончается в сердитый Ильин день. Двадцать первого июля. Этот недобрый пророк с красивым и таким близким именем Илья еще накануне, как пьяный возчик, начал кататься по небу на своей громовой колеснице, а люди крестились на гром, на молнию. Маврик тоже два раза перекрестился. Как все, так и он. Но полюбить этого пророка он не мог. И за что его можно полюбить, когда в его именины горбатый медведь опускает в пруд свою чугунную лапу. И вода от этого становится холодной. И больше уже нельзя купаться. А если нельзя купаться, значит, настоящее лето кончилось.

Какое же лето без купания? Это начало осени. Ветер с деревьев рвет листья. Они еще не желтые, но все равно ветер срывает их. Правда, и ветер нужен. Нужен для змейков. Маврик с Санчиком запускают змейки, которые научились делать сами. Змейки взлетают очень высоко. Очень интересно пускать к ним по нитке телеграммы. Они в одну минуту долетают до змейков. Но разве пускание змейков можно сравнить с купанием? С беганием босиком. С жарой. На пруду злые волны. Ни одной лодки. Только буксир «Ермак» таскает туда и сюда дровяные баржи. Рыба, наверно, и та попряталась на дно.

Правда, и осенью тоже бывает кое-что интересное. На Соборной площади строят тесовые лавки арбузники. Сколько угодно бобов и репы. Подешевели яблоки. На огурцы уже никто не смотрит. Их солят, и все. Но без пальтишка не выйдешь. А у Санчика не было пальто. Только шуба. В шубе еще ходить рано. Пришлось отдать ему старый дедушкин пиджак, чтобы сшили пальтишко. Шили долго, но получилось настоящее пермское пальто с хлястиком и на клетчатой подкладке. Бабушка Митяиха выпросила ее в какой-то лавке.

Плохое время года осень. Ее никогда не полюбит Маврик. Но в эту осень был очень хороший день. Маврик встретил такую девочку, каких нельзя встретить и на картинках в самых дорогих детских книжках. Он не знал этой девочки, а она знала его. Она первая подошла к нему и назвала по имени.

Вот это как было...

## VI

Маврик любовался красной рябиной, которая росла напротив краснобаевского дома в господском палисаднике, Эту рябину можно было уже есть. Дать ей только немножко подвднуть на погребке, и она «посластеет». Так уж делали Сеня и Толя в прошлом году. Они же говорили, что рябина слаще меда после первого заморозка, но тогда ее не остается. Съедают птицы.

Пока размышлял Маврик о рябине, пока он придумывал, на что можно выменять у кучерского сына Левки рябину, слышался тоненький, тоньше птичьего, голос:

— Здравствуй, Маврик!

Маврик оглянулся. Перед ним стояла очень приятная и очень маленькая седая женщина, а с ней девочка. Обе они были в осенних пальто из одинаковой серой, мышинового цвета, материи. И обе они улыбались. И обе походили на волшебниц.

— Маврик, разве ты не узнал меня?

— Нет, — ответил Маврик.

— Маврик, разве ты не помнишь елку в общественном собрании?

— Помню. Я хорошо помню, как я там был.

— Тогда ты должен помнить девочку, которой ты привязал к косе блестящую ниточку из золотого дождя с елки.

Маврик старался вспомнить и не мог.

— Нет, я не помню...

— А я помню, — сказала девочка. — И буду помнить всегда.

— И я буду помнить, — сказала нестарая старушка. — Это было очень мило с твоей стороны.

— Пожалуйста, приходи к нам, — пригласила девочка. — Меня зовут Лера. А это моя бабушка.

Маврик шаркнул ногой и раскланялся, как учили его в школе Александры Ивановны Ломовой. Он не протянул первым руку. Этому тоже обучили его.

— Ну право же, ты настоящий кавалер, — сказала бабушка девочки, назвавшейся Лерой.

Далее у Маврика не хватило небольшого запаса вежливости, полученного у Александры Ивановны Ломовой и порастерянного в Мильве, и он спросил:

— А где вы живете?

— Твоя тетя скажет тебе, когда ты назовешь ей нашу фамилию — Тихомировы.

— Генералы?

— Положим, не все, а только Лерочкин дедушка.

— Спасибо, — поблагодарил совсем тихо Маврик и еще тише сказал: — Я, может быть, приду... Я, наверно, приду, — добавил он, глядя на такое красивое, на такое нарисованное, на такое сказочное лицо Леры.

— У тебя с тех пор немножечко потемнели волосы. — Лера потрогала его кудри, улыбнулась и сказала: — Приходи. У меня два брата. У них есть ослик...

Это решило все. Ослик — это почти пони.

— Обязательно приду... Обязательно, Л-л-лера, — слегка заикаясь, назвал он впервые это имя, которое стало теперь самым красивым из всех имен.

Бабушка и внучка простились с Мавриком и пошли дальше. Маврик остался под рябиной в господском палисаднике. А из окна краснобаевского дома смотрели два печальных глаза Сонечки Краснобаевой, которой вчера исполнилось ровно восемь лет, и Маврик был у нее на именинах и подарил ей фарфорового кукленка-ребенка в маленькой ванночке, куда можно наливать воду и мыть младенца.

Это было вчера. Он сидел рядом с ней за столом, и Сониная мама говорила про них:

— Ах, какая парочка, барашек да ярочка...

А сегодня?... Сегодня совсем другое. Его гладит по голове генеральская внучка. Он шаркает ножкой. Кланяется. Он говорит ей: «Обязательно приду...» Что же это?..

— Сонька, о чем ты? — спрашивает ее мать.

— Ни о чем... Просто так.

Сониная мама сажает на колени свою дочурку. Обещает завтра же ей купить школьную сумку, букварь, тетради, карандаши... И что-то еще...

Но что ей школьная сумка? Разве можно утешить девочку цветными карандашами? Сонечка плачет. Мать решает про себя: «Наверно, не выпалась прошлой ночью» — и убаюкивает свою маленькую любимицу, зная, что сон высушит ее слезы. А Сонечка долго не уснет, она всего лишь притворится спящей и будет думать, думать...

## VII

— Ты обязательно, ты обязательно, Мавруша, должен нанести визит Тихомировым, если тебя приглашала сама генеральша, — говорила Екатерина Матвеевна, радуясь, что племянник будет принят в таком благородном и таком закрытом почти для всех доме.

Был доволен и Маврик, хотя и не знал, что такое визит и почему его надо нанести, а не просто принести или поднести, как подарок, как букет.

Вскоре выяснилось, что визит — это значит сходить на недолочко в гости, а почему визит «наносят», как наносят оскорбление, синяки, удары, тетя Катя тоже не знала.

Но раз наносят, значит, наносят, и Маврик его с радостью нанесет.

Затем стало известно, что таким господам, как Тихомировы, визит нельзя наносить пешком, потому что они дворяне.

В слове «дворяне» Маврику слышалось нечто унижительное. Когда ученик получал двойку, то ему говорили, что из него вырастет «дворянин с метлой». Когда хотели унижить собаку, ее называли «чистокровной дворянкой». Почему же тетя Катя слово «дворяне» произносит с таким уважением? Наверно, так надо.

Маврику было сказано, что в воскресенье утром его повезет наносить визит Яков Евсеевич Кумынин. Потому что возьмет он недорого и у него появилась новая тележка с крыльями от грязи и с кожаным сиденьем.

Подготовка к визиту началась в субботу. Тетей Катей был сшит новый костюм, накрахмалены обшлага и воротник, куплен пышный голубой бант с крупным белым горохом, подровнены у парикмахера кудри, а затем вымыты в двух водах и надушены одеколоном «Саддо-Якко».

Утром было не до Санчика, и он не явился к чаю. Тетя Катя несколько раз перевязывала бант и переспрашивала племянника, как и кого зовут из Тихомировых. Маврик твердо заучил тихомировские имена и пообещал, что им не будет сказано ни одного лишнего слова, что в гостях он будет не более получаса.

Ровно в десять Яков Евсеевич подал лошадь. И как следовало ожидать, сбежались ребята. Их всех занимало, что это значит? Кто и куда едет? И все узнали, что Маврик едет в генеральский дом. Узнала об этом и Сонечка Краснобаева. Ах, бедняжечка!

Маврик вылетел из ворот и хотел было впрыгнуть в тележку, но что-то помешало ему. Что-то остановило его. И он понял, что молчащим ребятам нужно объяснить, почему он сегодня так одет и почему он должен ехать на лошади.

Когда было сказано все, Маврик заметил, что это не произвело никакого впечатления на ребят. Они молча выслушали его и молча проводили. Маврик не мог понять, что произошло и почему им, кажется, не очень приятно, что у него такой счастливый день.

Яков Евсеевич тоже молча сидел на козлах, поторапливая вожжами Буланиху, будто ему тоже было не очень приятно. Но разве Маврик виноват, что у него такие знакомые и к ним нельзя появляться просто так?

Дверь открыла горничная, и Маврик выпалил ей:

— Маврикий Толлин. Прошу доложить. — Все, как было велено.

— Да зачем же докладывать, мы тебя и без доклада вторую неделю ждем.

Послышались голоса. Среди них он различил тонюсенький голосок Леры. Маврика провели в гостиную, генеральша поправила смявшийся бант. Появились все. Маврик представлялся, назывался с реверансом. Все ему очень понравилось, и так было жаль, что генерал не носил эполеты, а был просто в тужурочке и даже без галстука, как Иван Макарович Бархатов. Валерий Всеволодович тоже оказался какой-то не такой. Он даже не походил и на серьезного человека. Шутил и смеялся. Показывал фокусы. Р-раз — и полная коробка спичек. Р-раз — и она пустая. Он очень удивился, что Маврик такой чинный, такой важный. И еще более удивился, чуть даже не свалился со стула, когда узнал, что Маврик приехал с визитом на лошади. Маврик сам виноват в этом. Вернее, не он, а его длинный язык.

Маврику показалось, что никто не заметил и не заметит, если он не скажет сам, что под окнами ждет лошадь. А ему хотелось, чтобы все знали об этом. И, конечно, Лера. Поэтому Маврик подошел к окну и, приподнявшись на носки своих новеньких желтых башмаков, заглянул на улицу.

— Ты что, мой дружок? — спросила его Лерина бабушка, Варвара Николаевна.

Маврик ради этого вопроса и заглядывал в окно. И он небрежно, как бы между прочим, ответил:

— Хотел проверить, не ушла ли лошадь, на которой я приехал.

Вот тут-то Валерий Всеволодович и покатился со смеху, чуть не упав со стула. Почему-то улыбнулась и Лера. Не смеялась только бабушка, Варвара Николаевна. Она очень серьезно спросила:

— А если и ушла твоя лошадь, что тогда?

— Ничего тогда, но все-таки, — ответил Маврик, не зная, что нужно было сказать.

— Вот что, — сказала тогда Варвара Николаевна, — спустись и скажи уважаемому Якову Евсеевичу Кумынину, что ты просишь его не затруднять себя и не мокнуть под дождем, потому что ты остаешься у нас на весь день. И попроси извинения за то, что ты заставил его ждать...

— Хорошо. Я сейчас.

— Нет, нет... Мамочка, разве можно посылать гостя? Я сбегаю сам. — Тут Валерий Всеволодович быстро выбежал, и было слышно, как он мчался по лестнице.

Маврик чувствовал, что что-то не так. Что-то было неправильное не только в его приезде на лошади, но и в ожидании Якова Евсеевича под дождем. И это подтвердилось, когда Валерий Всеволодович вернулся с Кумыниным и, проводя его в комнаты, сказал:

— А я не знал, что ты мокнешь на улице. Давай по одной. У меня к тебе охотничье дело....

— Давай. Я всегда рад стараться, — ответил по-свойски Яков Евсеевич.

— Прошу извинить меня, Маврик, — раскланялся, хитро-прехитро улыбаясь, Валерий Всеволодович и увел, обняв, Кумынина к себе.



Варвара Николаевна внимательно следила за Мавриком. По его лицу пробегала то обида, то стыд, то признание чего-то, и наконец он, обратившись к Варваре Николаевне, сказал:

— Тетя Катя сделала это из уважения к вам. Ведь вы же дворяне...

Варвара Николаевна обмерла. Она открыла рот, потом бросилась к Маврику. Ей стало так неприятно, что не тщеславие заставило его приехать на лошади Кумынина, а уважение к Тихомировым вынудило Екатерину Матвеевну прибегнуть к этому параду.

— Нет, не я и не Валерий, — начала говорить она, — преподали тебе урок хорошего тона, а твоя прямота, правдивый мальчик, заставляет нас об очень многом подумать. — И затем, обращаясь ко всем, она продолжала: — Извозчик—это извозчик. И если Якова Кумынина унижает его приватное извозничье занятие, то кто мешает ему не жадничать и заниматься только его прямым делом? Ведь он же кузнец. А если ему нужны легкие рубли, то нечего обижаться, что ему приходится сидеть на облучке. Ведь если бы Маврик приехал просто на извозчике, то никому бы не пришло в голову упрекать мальчика за то, что тот его ждет.

С этого часа у Маврика появился новый друг — Варвара Николаевна Тихомирова. Как знать, может быть, когда-нибудь он будет называть ее бабушкой. Милой бабушкой.

## VIII

Потом Лера играла на рояле. И, наверно, хорошо играла. Но Маврик не очень любил музыку, кроме разве гармошки. Та пела, плакала, смеялась. А рояль что-то хотел произнести, но не мог выговорить, потому что у него не было голоса, а только струны...

На ослике прокатиться тоже было нельзя. Шел дождь. Да и у осла была слишком большая голова, слишком длинные уши и очень неприятный рев. Пришлось вернуться в дом.

Решили поиграть в короли. Как раз было четверо: Маврик, Лера и ее два брата, Викторин и Владислав. У Тихомировых все имена начинались на букву «В». И только Лерина мама была на другую букву. Ее звали Матридия. Она бывает именинницей в один день с

тетей Катей. В этом есть тоже что-то предсказательное. И вообще, от судьбы не уйдешь. Не беда, что Лера немножечко выше Маврика. Но когда они сидят рядом, это незаметно.

Теперь Маврик знал их всех. И они были очень хорошие люди. Хорошие, но другие. У них можно бывать. И он будет бывать у них. Но у них он никогда, наверное, не станет своим человеком. У них даже за столом нужно вести себя не как у всех. Неинтересно быть дворянином, но и жить, как живет вся Ходовая улица, тоже не подходит для Маврика.

Неужели все-таки он принадлежит к тем, про которых говорят «не поймешь кто» и «ни то ни се»? Это плохо. А все же Тихомировым нужно дать понять, что он тоже не из простых. Поэтому Маврик решил сказать Варваре Николаевне, чтобы слышали все:

— А ведь я мещанин города Перми.

— И очень хорошо, — сказала Варвара Николаевна и, кажется, обрадовалась услышанному. А Валерий Всеволодович снова хохотал. Ему, кажется, достаточно показать палец, и он будет смеяться. Но, просмеявшись, он сказал:

— А я думал, что ты из рода князей Барклай-де-Толли и не знаешь этого, — и снова улыбнулся.

Тут Маврик вспомнил, как бабушка Толлиниха сказала ему однажды, что придет время и Маврик узнает, какую знаменитую фамилию носит он. И кажется, бабушка назвала слово «Барклай».

— Может быть, — ответил Маврик Валерию Всеволодовичу. — Бабушка тоже говорила что-то такое... Но мне все равно.

Шутка Валерия Всеволодовича приняла неожиданный поворот. Провожая Маврика до дома, он повторил ему совершенно серьезно, что его фамилия имеет прямое отношение к фамилии Барклай-де-Толли. Только он не досказал, какое именно отношение. Не договаривала об этом и пермская бабушка. Тихомиров предположил, что фамилия Маврика пошла от прозвища крепостных, принадлежавших Барклаю-де-Толли, — Толлины. Толлины мужики. Толлины крестьяне. И эту неожиданно пришедшую в голову версию Валерий Всеволодович, не пройдя и ста шагов по Большому Кривулю, провожая Маврика, стал считать абсолютной и неоспоримой. По принадлежности тем или иным господам возникали многие крестьянские фамилии. Например, в Прикамье уйма крестьянских

фамилий Строгановы. Эту версию он считал безусловной и потому, что фамилия Маврика с двумя буквами «эл» не могла быть фамилией русского происхождения, тогда бы она звучала просто Толин, а не Толлин.

Вернувшись домой, Маврик стал спрашивать про князя Барклая-де-Толли. Екатерина Матвеевна долго вспоминала, где она слышала это имя. И вспомнила только вечером. А вспомнив, нашла потрепанную книжку, которая называлась «1812 год». В книжке был портрет Барклая-де-Толли.

Может быть, Маврику стоит подумать еще, кем ему быть, когда он подрастет. Стать фельдмаршалом и скакать на коне вовсе не так плохо. Конечно, это опасно. Могут убить, и тетю Катю некому будет поить и кормить, но ведь Лере-то будет очень приятно, когда она узнает, что Маврик решил стать полководцем.

Но это пока нетвердо. А сейчас нужно спать.

Во сне прилетала милая, желтогрудая, с белыми щечками птичка. Это большая синица. Здесь ее ласково называют кузей... кузькой... кузнецом.

Кузя сел на спинку кровати, отряхнулся и спросил голосом Ильюши Киршбаума:

— И когда только ты перестанешь забивать себе голову всякой чепухой? И вообще, лучше бы ты не ходил к Тихомировым.

Но это теперь уже невозможно. И не потому, что первая детская привязанность к Лере будет манить его к Тихомировым. Каждый из них по-своему интересен и приятен.

## IX

Не так много знал о Тихомировых Маврик. Несколько больше знали о них взрослые люди, но знали скорее по догадкам. Тихомировы не выносили на люди того, что касалось только их. Даже внутри семьи не было принято посвящать в дела одного, не имеющие отношения к другому. Это бабушкина школа.

Бабушка, Варвара Николаевна, отдав дань исканиям путей к счастью народа, перечитала все доступное ей от утопистов до революционных демократов, решила для себя, что высокие

общественные основы начинаются с высоких нравственных начал человека. Насаждать благородное, воспитывать в человеке хорошее и есть главнейшая из сил переустройства общества.

Наивная убежденность бабушки переделать мир только проповедями и личным примером служения добру не вызвала возражения окружающих, но и не стяжала поклонников. Варвару Николаевну безоговорочно любили такой, какая она есть. Любили внуки, любили дети, обожал муж.

Всеволод Владимирович Тихомиров в свое время сочувствовал ранним народникам. Жизнь на Омутихинской мельнице, приносящей только убытки, можно назвать своеобразными народническими попытками общения с народом.

Однако Всеволоду Владимировичу очень скоро стала ясна несостоятельность народнических иллюзий. И он, став на путь либерала-одиночки, либерала-просветителя, решил для себя, что знания, образованность изнутри взорвут общественные противоречия и, естественно, изменят жизнь. А как именно, он тоже не представлял, как и Терентий Николаевич Лосев.

Эти два несоизмеримых по знаниям человека, находясь на несравнимых уровнях, все же были похожи друг на друга, как похожи два подобных треугольника, если даже один из них грандиозен, а второй очень мал.

Старик Тихомиров принадлежал к тем военным, для которых профессия была случайной, много знал и очень много читал. Например, главные труды Маркса и Энгельса, как, впрочем, Канта и Гегеля, им были прочитаны в оригинале. Для него немецкий был вторым языком. Он восхищался Марксом, преклонялся перед Энгельсом, и тем не менее написанное ими было для него лишь одной из тех точек зрения, которая может и восторжествовать, но, конечно, не в России, а там, где уже не едят из общей чашки, не моются в курных банях и не кичатся лаптями, предпочитая их кожаной обуви. Всеволод Владимирович любил Россию и русский народ, но не верил, не мог поверить, как бы он этого ни хотел, что его страна выйдет в первый ряд. В это не мог верить не один он, но и многие, очень многие хорошие и по-своему передовые люди, верные сыны своей бесконечно дорогой отчизны.

Дети Тихомировых, воспитанные в духе неприязни к самодержавию, нашли свои способы борьбы с ним. Старший, Владимир, отец Леры и ее братьев, оказавшись народовольцем, был приговорен к каторге. Убежав с каторги, пропал без вести.

Неизвестно, каким путем пошел бы второй сын, Валерий, если бы не счастливая встреча с механиком по дизелям. Студента Тихомирова поразила простота и ясность суждений нового знакомого о вещах сложных и явлениях, казавшихся неразрешимыми. Знакомство с механиком продолжилось дружбой. Они сблизились настолько, что Валерий Тихомиров получил возможность познакомиться с Владимиром Ильичем Лениным.

Совсем не таким представлял Тихомиров Владимира Ильича. Это было удивительное излучение простоты и ясности. Это был человек, заставляющий мыслить, видеть, понимать.

Прошло не так много дней, и Валерий Тихомиров решил для себя, что на свете есть и могут быть только две партии. Это партия поработанных и партия поработителей. А остальные, как бы они ни назывались и какими бы они ни притворялись, не имеют самостоятельного значения. Они либо сопутствуют, либо прислуживают.

Для Тихомирова стало так бесспорно, так ясно, что партия поработанных, партия большевиков, партия Ленина не просто союз единомышленников, а рожденный самой жизнью авангард нового общества. Нового общества, также не придуманного кем-то, а такого же неизбежного, каким был феодализм, капитализм...

Теперь марксизм для Тихомирова предстал наукой о законах развития общества. Быть марксистом, состоять в одной партии с Владимиром Ильичем — это значит помогать рождению нового общественного строя, готовить людей к встрече большой весны, ускорять ее приход.

Стоит ли ради этого жить, а если понадобится, то и отдать жизнь? Для Тихомирова на этот вопрос один ответ. И он отвечает, став не только большевиком, но и профессиональным революционером, таким же, как и его друг, механик по дизелям, которого мы уже знаем как сапожника Ивана Макаровича Бархатова.

Если бы знал об этом пристав Вишневецкий. Какой бы чин, какую бы медаль-размедаль получил он! Подумать только, сапожник

и генеральский сын, столбовой дворянин. Такие разные, такие далекие друг от друга люди, как благостный, бородатый, пузатый старик Матушкин, заядлый рыболов Артемий Кулемин, предприимчивый штемпельщик Киришбаум, такая тихая и такая жалостливая Варвара Емельяновна, стремящаяся вылечить и безнадежный зуб, работают вместе с Тихомировым и Бархатовым в глубоком подполье, представляя собою пусть малое зерно пока еще немногочисленной партии, которая вскоре поведет за собой миллионы тружеников.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ПЕРВАЯ ГЛАВА

#### *I*

Пятнадцатого августа кончилось школьное лето. В земском складе — бойкая торговля учебниками, сумками, ручками, карандашами, школьной бумагой, из которой ученики сами сшивают тетради — это дешевле.

Маврик тоже готовится к учебному году. У него хороший ранец, а в ранце — книги, пенал, коробка для завтрака, бутылочка для молока. Там же и электрический фонарик, подаренный папой в Перми. А вдруг пригодится фонарик. Его можно показать мальчикам во втором классе. Интересно же им, как горит маленькая электрическая лампочка.

В первый школьный день Маврик встал рано. Поминутно смотрел на часы, чтобы не опоздать. Ждал Санчика — он идет в первый класс и уже знает все буквы и немножко читает по складам. В ненастные дни Маврик был его учителем.

На улицах Мильвы ватаги школьников. Им тоже еще рано в школу, и у них еще есть время поколотить ребят из соседней школы на Купеческой улице или быть побитыми «купчатами».

Чинно проходят по улице ученики в фуражках городского училища со значками «ГУ», их дразнят «гуся украл». Их

недолюбливают сверстники, у которых после трех классов начальной школы кончилось образование. А эти «гуси» будут учиться еще четыре года и выучатся на табельщиков, чертежников, конторщиков, разметчиков. Хоть и не выйдут в господа, а все-таки не свой брат, не мастеровая молодежь.

Съехались техники — ученики Мильвенского механико-технического училища. Это взрослые люди. Самому младшему из них шестнадцать лет. Они в настоящей форме. Тужурки с золотистыми пуговицами. Фуражки с кантами и со значком, на котором скрестились молоток и французский раздвижной ключ.

Техники проходят всегда по Купеческой улице, даже если им не по пути. Там женская гимназия, и у них много знакомых гимназисток.

Маврику тоже хочется пройти мимо женской гимназии. Ему может встретиться Лера. Она гимназистка первого класса, и неплохо с ней поздороваться и показать, какой у него ранец.

— Давай, Санчик, пойдем в школу через Купеческую улицу, — предлагает Маврик.

— Давай, — как всегда, отвечает согласный на все Санчик.

И они идут.

На Санчике старая Маврикова курточка. Он в сапогах. И большинству мильвенских школьников покупают сапоги. Не по ноге. С запасом. Чтобы хватило «на всю школу», то есть на все три года обучения.

Толе Краснобаеву тоже купили новые сапоги. Он их начистил ваксой. Здорово блестят.

Санчик и Маврик шли медленно. Лера не встретила. Решили вернуться. Потом снова вернуться. И наконец Санчик сказал:

— Вон она. Я отбегу...

Лера шла в синем форменном платье, в белом фартуке, с белым бантом в косе и несла большой букет цветов.

— Здравствуй, Маврик. Какой ты нарядный!

Лера одобрительно отозвалась о его синем бархатном костюме, расправила под ремнями ранца белый воротник и преподнесла из букета, а потом продела в петлицу куртки большую садовую ромашку и сказала:

— А эту вторую твоему товарищу, который почему-то стесняется.

— Спасибо, Лера... А я нарочно пошел по этой улице, чтобы увидеть... Чтоб посмотреть, — слегка заикнулся Маврик, — как идут гимназистки в гимназию. Добро пожаловать! — сказал он ей, не зная, что говорят в таких случаях, и убежал.

Санчик и Маврик появились у ворот своей школы. Ворота еще не открылись, а возле них уже гудел рой ребят. Знакомых оказалось мало.

— Здравствуйте! — поклонился всем Маврик. — Я тоже буду учиться в этой школе.

В ответ раздался хохот. Затем для первого знакомства была выдернута из петлицы ромашка, подаренная Лерой, а затем получен первый синяк. За что? Что сделал он?

— Отдайте! — крикнул Маврик.

— Отдайте, — повторил подоспевший Толя Краснобаев.

Этого было вполне достаточно, чтобы начать потасовку.

— Задаешься? — спросили Толю. — Значит, тоже хочешь? Получай.

И Толя получил хороший тумак, затем второй, третий, а когда он дал сдачи, его свалили с ног и стали бить сумками. Маврик лежал ничком в крапиве, его белый воротник был вымазан чернилами. Чернила школьники приносили с собой в пузырьках, привязанных на веревочках к поясу.

Тут подоспел на помощь брату Сеня. При виде сильного, коренастого третьеклассника драчуны бросились врассыпную.

— Погодите, — сказал Толя, вытирая кровь, сочащуюся из разбитого носа. — Узнаете, как ни за что бить.

Открылась калитка. Гурьба школьников, сбивая один другого, кинулась на школьный двор. Маленький тесный дворик едва уместил сто с лишним школьников трех классов кладбищенской церковноприходской школы.

Потом открылись двери школы. Снова давка. Школьники разбрелись по своим классам. Первоклассники еще не знали, кому и с кем сидеть.

Ученик второго класса Маврикий Толлин вошел последним. Он тоже не знал, куда ему сесть. Измазанный, с синяками на лице, в обрызганном чернилами кружевном воротнике, держа в руках ранец, ремни которого были оторваны, он стал возле печи.



Вошла учительница Манефа Мокеевна. Полная. Приземистая. Седеющая, с сердитым лицом.

Все встали. И она, не сказав школьникам «здравствуйте, дети» или просто «здравствуйте», как это делали все учителя в школе Ломовой, обратилась к Маврику:

— Ну что ты стоишь как казанская сирота?

Класс громко и пронзительно захохотал. Класс хотел прозвища Маврику, и оно нашлось. «Казанская сирота». Ха-ха! В самый раз.

— Я не знаю, куда мне можно сесть, — поклонился Маврик и добавил, еще раз поклонившись: — Здравствуйте, Манефа Мокеевна. — Ее имя он знал еще летом. И знал, что она злая, потому что ее никто не взял замуж.

Это обескуражило Манефу Мокеевну. Мальчик, стоящий покорно у печи, не желая, преподал ей урок вежливости.

Манефа Мокеевна никогда не любила школы, детей и самой профессии учителя. Но нужно было что-то делать в жизни, кем-то быть. И она, сестра урядника, где-то и чему-то подучившись, стала учительницей, вымещая на детях свою злобу за неудавшуюся жизнь.

— Хорош, хваленый груздь, — сказала Манефа Мокеевна, осматривая Маврика. — Еще за парту не сел, а уж в синяках и царапинах. Где ты так измазаться успел? Кто тебя?

С задних парт Маврик увидел поднятые кулаки. В его ушах еще слышались слова: «Наябедничай только, ябеда-беда, не так причешем».

Манефа Мокеевна ждала, что Маврик назовет своих обидчиков и те добавят ему после школы, и она повторила:

— Кто же? Говори! Они посидят у меня без обеда.

— Никто, — ответил Маврик. — Я сам.

— Значит, трусишь говорить правду своей учительнице, Мартын Зашеин?

В классе снова раздался угодливый хохот.

— Я... я... я не Мартын и не Зашеин, — волнуясь, возразил Маврик. — Я ученик второго класса Маврикий Толлин.

Теперь хохотала и сама учительница. Ее живот подпрыгивал. Она закашлялась от смеха. Бледный Маврик не знал, как вести себя далее. Но тут Манефа Мокеевна поняла, что ее поведение находится за

чертой допустимого. Она, сияясь улыбнуться, положила на плечо Маврику свою широкую короткопалую руку и сказала:

— Иди, я посажу тебя, кружевной ангелок, на первую парту.

И посадила.

## II

Для первого дня, проведенного в школе, Маврику достаточно было и трех прозвищ, подсказанных учительницей: «казанская сирота», «хваленый груздь» и «кружевной ангелок». Кроме них, у него появились и другие: «Зашей, продай вшей», «Маврикий-заикий». Но уроки еще не кончились. Пришел кладбищенский батюшка, отец Михаил. Законоучитель.

Все встали. Молча поклонились. Потом повернулись к иконе Кирилла и Мефодия — первоучителей славянских. Толя Краснобаев прочел молитву «Царю небесный». Отец Михаил благословил рукой класс и сказал:

— Да благословен будет год нынешний, как год минувший, — затем спросил, не забывали ли повторять преподанные им молитвы, молились ли по утрам, перед обедом, после обеда и перед сном?

— Да-а-а, — гудел класс, отвечая на каждый вопрос. — Не забывали... Повторяли... Молились...

— Это хорошо, дети мои. Верю, а потом проверю. А теперь расскажу вам о боге.

Отец Михаил расчесал пятерней свою сивую с желтизной бороду, провел руками по голове, высморкался в красный клетчатый платок и начал:

— Бог есть дух — всемогущий, вездесущий, всезнающий...

Маврик, позабыв о своих обидах, смотрел в беззубый рот своего законоучителя и думал: зачем ему нужно понятное рассказывать непонятно? Это же самое он слышал еще в первом классе от нарядного, красивого священника в блестящей темно-лиловой рясе, с бородой, как на иконе у Иисуса Христа, и с такими же большими синими глазами. Его звали отец Иннокентий, и он служил хотя только раннюю обедню, но в кафедральном соборе. От него пахло не как от этого, не вчерашними щами из старой капусты, а церковью и

причастием. Маврику очень хотелось подсказать отцу Михаилу, как нужно говорить о боге, и он сказал вслух:

— Бог все знает, все видит, и от него ничего нельзя скрыть.

— Именно, отрок мой, — подтвердил законоучитель и погладил Маврика по голове.

Поощренному Маврику захотелось сказать о боге еще больше, и его голос зазвенел:

— Люди только думают, что можно обмануть бога, спрятать от него свои грехи, а как их спрячешь, когда с неба все видно и бог все помнит, все терпит, а потом, как придет конец его терпению, его милостям, он как возьмет камень да как трахнет им по голове грешника...

— Это, положим, все так, — остановил Маврика законоучитель, — но зачем трещать-то тебе, трещотка? Трещоток тоже не милует господь...

Маврик осекся, побледнел. Отец Михаил смягчил свои слова и сказал:

— На первый раз бог прощает трещоток и выскочек, если они, конечно, впредь не будут трещать, перебивать и выскакивать.

В классе прошел шумок. Послышался шепоток: «трещотка», «выскочка».

Маврик получил еще два новых прозвища, на этот раз данные ему священником. А он не Манефа-урядничиха, а отец Михаил, который не боится и самого протоиерея, потому что у него двоюродный брат архиерей. И если бы отец Михаил не гулял на свадьбах, на похоронах и на крестинах, если бы его не уводила пьяного под ручку кладбищенская просвирня, тогда бы его сделали протоиереем. Об этом знают школьники. Им известно, что он «плюет на всех с большой колокольни» и не боится опаздывать к обедне и служить ее «на скорую руку», так что и псаломщик за ним не успевает.

Маврик страшился возненавидеть отца Михаила, но не мог заставить себя считать его порядочным человеком. Об этом, как и обо всем, что произошло сегодня в школе, он рассказал тете Кате и бабушке.

Обе они плакали. Прикладывали серебряные полтинники к синякам на лице Маврика, чтобы они скорее прошли. А потом стали советоваться, как быть дальше.

Снова выручил Терентий Николаевич. Он сказал так:

— Катенька, Катерина Матвеевна, одно из двух. Ежели вы хотите пускать парня по барчуковой стезе, тогда нанимайте ему домовую учительницу, как у господ. А ежели он будет жить, как все, тогда стригите его под первый номер, обуйте его в сапоги, наденьте на него «обнакновенную одевку», и он не будет белым голубем в стае сизарей.

Примерно так же сказал тихий и разумный сосед Артемий Кулемин. Он хотя как бунтовщик и был «приведен к медведю» после пятого года, хотя и побывал в Сибири, но вернулся оттуда неузнаваемым.

Никто не знает, что ему тоже, как и Тихомирову, посчастливилось встретить того же доброго друга. Страна огромна, да дороги не столь часты. Вот и встречаются люди. До последних дней держат связь старые друзья. Хитра почтовая цензура, но на всякую хитрость находятся уловки.

Артемий Гаврилович Кулемин диктует письма жене, а она посылает их в Пермь прачке ночлежного дома Сухаревой. А Сухаревой диктует письма Иван Макарович, которые до того скучны и безрадостны, что всякий чиновник, читающий их, не доходит и до пятой строки. А Кулемин, Киршбаум и Матушкин по три, по четыре раза перечитывают их, не оставляя непонятым ни одного иносказания Бархатова о работе мильвенского подполья.

Кулемин давно признан умным и хорошим советчиком не только на своей улице, но и на заводе.

— Екатерина Матвеевна, — сказал он, — если по душам, то скажу так Манефа-урядничиха стоит хорошей пеньковой петли. Зря она родилась, простите на слове, бабой. Ей бы в самый раз быть палачом. Порола бы с оттяжкой и с удовольствием. Конец она свой найдет. А пока что надо ладить.

— Уж не на поклон ли идти к этой... — не договорила Екатерина Матвеевна, не найдя нужного слова.

— На поклон не на поклон, — сказал Кулемин, добродушно улыбаясь, опуская свои умные серые глаза, — а кость бросить надо. Сшейте ей что-нибудь в знак благодарности...

— За что?

— За материнскую заботу о вашем племяннике... Затравит ведь, — сказал Кулемин и перевел разговор на другое.

Очень обидно было Екатерине Матвеевне идти к Манефе, но в словах и в глазах Кулемина была правда. «Надо бросить кость».

Сапоги Маврику были куплены в сапожном ряду. Скроить, сшить «обнакновенную одежду» из чертовой кожи и для медлительной Екатерины Матвеевны было делом дня. Что же касается Манефы, ей было сказано так:

— Манефа Мокеевна, вы были разборчивой невестой, и я была разборчивой невестой. Вы не захотели выходить замуж, и я не захотела. Вам трудно живется, и мне нелегко.

И неожиданно для Екатерины Матвеевны Манефа прослезилась.

— Не хотела я обижать вашего мальчика, — вдруг перешла она сразу к делу, поняв, зачем пришла к ней эта степенная, всеми уважаемая Екатерина Зашеина, — да сатана во мне верх берет.

— Это и со мной случается, — покривила душой Екатерина Матвеевна. Не надо поддаваться ему, Манефа Мокеевна. Не надо, ну да не мне вас учить...

Екатерина Матвеевна без обиняков стала говорить о плохом осеннем пальто Манефы, о малом жаловании в церковноприходских школах и о том, что Маврик неусидчив и плохо пишет, что ему нужно терпеливо внушить, как важно научиться выводить буквы. А так как научить этому Маврика нелегко, поэтому Екатерина Матвеевна решила сшить терпеливейшей из терпеливых учительниц, Манефе Мокеевне, модное и солидное пальто, сукно которого давно уже куплено.

— Я стеснялась предложить это вам, Манефа Мокеевна, летом... Я не знала, какая вы простая и сердечная женщина... А теперь я вижу...

— И я ведь не знала, какая вы, Катенька, — сказала Манефа, проверяя по лицу Зашеиной, не оскорбляет ли ее употребление слова «Катенька» вместо полного имени с отчеством.

Но Екатерина Матвеевна постаралась не обратить внимание на это. Для Маврика она готова поступиться и не этим.

Был рассмотрен фасон, затем снята мерка и...

И положение Маврика в школе круто переменялось. Манефа не обладала и малой долей такта. Она велела классу встать, а затем объявила, указывая на Маврика:

— Кто это? Это внук Матвея Романовича Зашеина, которого знают и помнят ваши отцы и ваши деды за его добрые дела. И если кто-то из вас тронет хоть пальцем или, случаем, и не нарочно толкнет или обзовет его разными словами, потом пусть пеняет на себя. Сядьте. А ты, Байкалов, выйди к доске и повтори.

Манефа Мокеевна, взяв за плечо Байкалова, помогла ему выйти из-за парты. Помогла так, что драчливый ученик готов был взвыть от боли. Короткие сильные пальцы Манефы Мокеевны могли бы, сжавшись, покалечить плечо Байкалова. Но нажим был в половину силы. Хотя и этого было достаточно, чтобы Байкалов понял, что его может ожидать, если он снова посмеет ударить Толлина.

— Повтори, что я сказала, Байкалов!

И Байкалов стал повторять:

— Кто это? Это внук Матвея Романовича Зашеина, которого... которого...

— Которого знают и помнят, — властно подсказала Манефа Мокеевна, ваши отцы и ваши деды...

Байкалов повторял подсказываемое. И только после того, как он заучил слово в слово предупреждение учительницы, ему было позволено сесть за парту.

— А сейчас выньте тетрадки и пишите то, что я вам велю.

Началась диктовка. Байкалов не мог поднять руки.

— Сохнет, что ли, рука, Байкалов? Или, может быть, боится писать?

— Не знаю, — ответил Байкалов.

— Ну, коли не знаешь, возьми книжки, пойдешь домой и спроси у отца, что случилось с твоей рукой. Завтра тоже не приходи. Марш! А вы пишите... «Осень!..» Знак восклицания... «Осыпается... весь... наш... бедный...» Слово «бедный» пишется через букву «ять»... «весь... наш... бедный... сад». Точка.

Байкалов покинул притихший класс. Было слышно, как скрипели перья. Маврик, стриженный наголо, в шагреновых сапогах, в топорщащейся новой «одежке» из чертовой кожи, писал с трудом,

пропуская буквы. Перо не слушалось. Руки дрожали. Ему стыдно было поднять глаза.

Что теперь будет с ним? Что будет теперь?

А было плохо. Совсем плохо.

Маврика никто больше не трогал. Но никто и не разговаривал с ним. Ему уступали дорогу. Подчеркнуто сторонились, чтобы «случаем» не задеть, не толкнуть его.

«Уж лучше бы били, — думал он. — Уж лучше бы и она давала новые прозвища, чем так защищать».

Маврик страшился, что так будет всегда, но этого не случилось. И самые драчливые, самые злопамятные ребята разглядели Маврика, и прозвища «трещотка», «болтушка», а потом и «Маврикий-врикий», оставаясь справедливыми, перестали звучать оскорбительно, а вскоре забылись, хотя Маврик по-прежнему болтал, трещал и врал. Но как «врал»!.. Даже Митька Байкалов как-то сказал:

— Соври еще раз, пожалуйста, про что-нибудь. — И в слове «соври» не чувствовалось обидного. «Соврать» для Митьки Байкалова в данном случае означало — «придумать», «сочинить».

Для Маврика ничего не стоило рассказать, как одна плохая телеграмма шла по проволоке и заблудилась, потому что было темно, а проволок на столбах было очень много, поэтому плохая телеграмма не дошла, куда она была послана, и сыщики не сумели поймать разбойника, который был не разбойник, а молодой капитан парохода, нарядившийся разбойником, чтобы спасти свою невесту Валерию, украденную кровожадным купцом Кашеевым.

Серьезный мальчик Коля Сперанский, живший напротив школы, и тот стал приглашать к себе Маврика, чтобы послушать его неистощимое «вранье». И сила этого «вранья» оказывалась такой, что на тесном школьном дворе под морозящим дождиком оставалась чуть ли не половина класса, чтобы послушать, почему чижик не улетел в теплые края, или о волшебном карандаше, который оказался в руках у одного мальчика и мальчик не знал, что это волшебный карандаш и что все написанное и нарисованное этим карандашом «случается взаправду».

Тетка, две бабушки и особенно пермская бабушка Толлиниха, да и дед Матвей Романович порассказали достаточно сказок, былей-небылей, страшных и счастливых историй, чтобы развить

воображение Маврика. И теперь он иногда пересказывал, видоизменяя слышанное, однако же способность выдумывать была столь очевидна, что и злая Манефа находила в Толлине «сочинительный дар». Да и как этот «дар» было не обнаружить, когда появившийся на заборе чижик заставил Маврика рассказать очень интересную неправду.

— Я видел сам вчера у казенки, — рассказывал он, — как этот глупый чижик пил водку.

— Какую, где, ты что? — спросил Митька.

— У казенки, на Купеческой улице. Пьяный разбил бутылку, и все разлилось. А чижик очень хотел пить. И он думал, что это вода. Откуда же чижика знать? Правда, ребята? Водка же тоже белая, и он напился...

И когда все согласились с этим, можно было придумывать дальше. А дальше чижик валялся под забором, и его чуть не схватила кошка, но на нее накинулась собака Мальчик. Чижик протрезвился, хотя и не совсем. Ночевал он на березе и, проснувшись, стал звать своих. Но свои улетели...

— Все большие чижики улетели в теплые края, — рыдающим голосом тети Кати рассказывал Маврик. — И остался маленький чижик один. Один-одинешенек. Ни папы, ни мамы, ни дедушки с бабушкой — никого... Они все улетели... Все до одного, а дорогу в теплые края он не знал... А кошка караулила его... Она скалила зубы и кричала: «Я тебя мяу-мяу до последнего перышка...» И вот она стала точить когти, потом зубы...

Маврику и самому до слез было жаль чижика, которому он придумал сначала легкомысленное опьянение, а затем «неминуемую смерть», но ему очень хотелось спасти чижика. И всем хотелось спасти эту маленькую птичку, которая жила теперь не выдуманно, а правдиво и для самого Маврика.

— И когда чижик насквозь прозяб до последней косточки, — рассказывал Маврик, еще не зная, что его спасет, и тянул время, — и когда кошка пробиралась к нему по веткам, вдруг...

За «вдруг» что-то должно следовать. А что? Не фея же? Не чижиная же тетя Катя прилетит за ним... А почему бы и не прилететь чжиной тетке? Почему?

— И вдруг, — продолжает Маврик, — он слышит знакомый чжиный голос, и этот чжиный голос на чжином языке говорит



ему: «Чижик, мой милый чижик». Чижик сразу же узнал свою тетку, бросился к ней под крыло и тут же согрелся...

— А кошка? — спрашивают ребята.

— А кошка струсила, — отвечает Маврик.

— Чижихи? — сомневается Коля Сперанский.

Митька Байкалов показывает Сперанскому кулак и подтверждает:

— Да знаешь ли ты, какие бывают старые чижихи... Львам глаза выклеивают, а не то что кошкам. Рассказывай, Маврикий, дальше.

А дальше совсем нетрудно рассказывать. Когда чижик отогрелся под крылом своей тетки, сразу захотел в теплые края. И они полетели над лесами, над лугами, над реками и всю дорогу разговаривали на чижинском языке, как тепло в теплых краях и как им будет там хорошо.

Рассказ о чижонке заканчивался. Ребятам хотелось знать, что будет потом. И Маврику хотелось тоже знать. Но что будет потом — можно придумать дома.

Моросит дождь. Ребята расходятся по домам. Кто-то досказывает, как хорошо будет маленькому чижикю в теплом краю, и кто-то сожалеет, что нельзя сделаться хотя бы на денек или на два чижом...

На улице — глубокая осень. Вспоминается недавняя диктовка. В ушах немазаной телегой скрипит голос Манефы: «Осень!.. Знак восклицания. Осыпается весь наш бедный сад...»

Маврик идет мимо школы, где учится Иль. Дождавшись его, он идет вместе с ним, обнявшись.

Выросший в иной среде Ильюша Киришбаум — воспитанный в реальной и нередко суровой обстановке — никак не был склонен искать в тех же мышах заколдованных фей или умиляться рассказом о чижике. Наоборот, ему чуждо было всякое волшебство, и он не признавал ни духов, ни привидений. Не очень охотно Ильюша слушал сказки. А недавно с ним что-то произошло. Он тоже стал придумывать невероятное.

— Ты знаешь, Мавр, — с таинственной убежденностью начал Иль, — если поймать большую шипучую змею и посадить в стеклянную банку, а потом глядеть ей в глаза всем классом и заклинать ее часа три, то можно змее внушить что захочешь...

— А что? — спросил удивленный Маврик.

— Например, змее можно внушить, чтобы она вместе со своими шипучими змеенышами поселилась у Манефы под кроватью. И она

поселится. А Манефа выселится.

Воображение живо рисует Маврику, как змея и ее змееныши шипят ночью под кроватью. И как это страшно. И как вскакивает и бегают по кровати обезумевшая Манефа. Как она потом прыгает на стол, потом вскарабкивается на шкаф и сидит там до утра. Это очень смешно. И Маврик громко хохочет. Хохоchet, но не верит в такую возможность. Не верит потому, что это уже не прежний Маврик. В нем поселился критический Ильюша, требующий проверки, доказательств и не позволяющий одурачить себя.

Мальчики, не замечая, обогащали друг друга лучшими своими чертами. Разные — они становились чем-то похожими. Таков закон взаимовлияния закон дружбы. Хороший это закон.

#### IV

Из Перми пришла телеграмма, и Екатерина Матвеевна сказала:  
— Завтра, Мавруша, они приедут.

Маврик радовался предстоящей встрече с матерью. Радовался и опасался:

— А где я теперь, тетя Катя, буду жить?

Этот вопрос давно беспокоил Маврика, и было видно, что мальчик спросил не просто так и не между прочим. Он знал, что для папы и мамы прибран нижний этаж. Там теперь очень чисто. Стены оклеены «веселенькими обоями из не очень дешевых», поставлена мебель. Столы, стулья, шкафы, большая кровать. Кровать Маврика оставалась наверху. Екатерина Матвеевна и сама не знала, где будет жить Маврик, и уклончиво ответила:

— И тут и там...

«Лучше бы тут, а не там», — сказал про себя Маврик и не стал больше спрашивать, понимая, что сын должен жить с матерью, но все же на всякий случай заметил:

— Лучше бы не стеснять маму... Она же будет болеть после маленького.

Екатерина Матвеевна покраснела, но сделала вид, что не расслышала этих слов. Улица, семьи, в которых бывал Маврик, простота нравов во многое посвятили Маврика. Его уже поздно было

переубеждать. Да и незачем. Поняла это и мать Маврика при встрече с ним. Он робко подошел к ней, не спуская глаз с ее большого живота, и тихо, почти шепотом, сказал, целуя ее:

— Здравствуй, мамочка... Ты сядь, тебе трудно стоять, — и заплакал.

Слезы потекли сами собой, а почему они потекли — Маврик не знал. Может быть, ему было обидно видеть такой мать. Может быть, его страшила боль, которую мать должна перенести. Об этом он тоже знал, не стремясь узнавать. Слышал. А может быть, у него, единственного сына своей матери, родилась ревность к неродившемуся. Не зря же, утешенный подарками, привезенными из Перми, он сказал час спустя:

— Лучше, если ты купишь девочку...

Он, употребляя слово «купишь» вместо слова «родишь», которое было у него на языке, как бы показывал матери, что он умеет «выбирать хорошие слова и не булькает не подумавши первое, что приходит в голову, как это делает Митяиха». Умению выбирать слова учила его тетя Катя, и старания не пропали даром.

Свидание с матерью было недолгим. Умудренная житейским опытом бабушка мягко, но приказательно сказала дочери:

— Внуку надо переехать к старшей тетке на Песчаную. И ему там будет лучше, и тебе, Любовь, легче выздороветь.

Смышленому мальчишке вполне достаточно было этих слов. Оказаться у тети Лары, проводить время с Ильюшей в штемпельной мастерской, помогать солить капусту, есть хрустящие кочерыжки, спать на новом месте... Да мало ли радостей сулит длительное гощение у тети Лары!

Через несколько дней Маврик узнал, что у него появилась сестричка, которую назовут Ириной в честь деревенской бабушки из Омутихи Ирины Дмитриевны, которую еще не знал Маврик.

Все обошлось хорошо. Мама очень скоро поправилась. Маврику показали сестру. Она, кричащая, какая-то слишком розовая не произвела на Маврика приятного впечатления. Но ее нужно было любить, и Маврик пообещал любить ее, как только она начнет ходить.

Маврик снова жил с тетей Катей на втором этаже. Тетя Катя рассудила очень разумно:

— Ириночка будет будить ночью Маврика... Да и тебе, Любочка, удобнее без него. Не где-то же он, а в одном доме.

Лучшего Маврик и не хотел, но иначе рассуждал его отчим:

— Дорогая Екатерина Матвеевна, я очень ценю вашу заботу о нас, но пользоваться бесплатно вашей квартирой не позволяет мне совесть. Квартира дает вам обеспечение. А платить за нее столько, сколько она стоит, я не в состоянии.

— Герасим Петрович, да что вы, да бог с вами, — принялась уговаривать Екатерина Матвеевна.

Но это было напрасно. Самолюбивый Непрелов, привыкший жить только на заработанное им, знающий цену деньгам, не захотел прожить в наследственном доме Екатерины Матвеевны и одной зимы. Ему предлагалась вместе с должностью конторщика мильвенского пивного склада компании Болдыревых и квартира. Не воспользоваться этим Герасим Петрович не мог. Доверенный склада, обожавший честного, исполнительного и энергичного Непрелова, был очень плох. Открывались виды занять его место. Жена доверенного фирмы прямо сказала матери Маврика:

— Мой Иван Иванович едва ли доживет и до рождества. Смерть не перехитришь, Любочка. И ему очень хочется, чтобы твой Герасим Петрович зарекомендовал себя и чтобы Иван Иванович при жизни мог передать ему ключи и должность.

Даровая квартира от фирмы Болдырева представляла собою огромную мрачную комнату со сводчатым потолком. Здесь когда-то было питейное заведение. Сохранились еще высокие и глубокие полки, отделявшие питейный зал от кухни.

— Это та же пермская Сенная площадь, — ужасалась квартирой Екатерина Матвеевна. — Только этот склеп и саженью дров не натопишь. Неужели, Люба, ты и Маврика потянешь за собой в такую трущобу?

Любовь Матвеевна не сказала сестре, что, кроме Маврика, у нее есть грудной ребенок, которому тоже нужно тепло и свет. Она знала, что к этому ребенку Екатерина безразлична. У нее только Маврик один свет в глазу, ее не рожденный ею сын.

— Что скажут другие, если я оставлю Маврикия у тебя, Катя? Каких собак понавешают на меня мильвенские бабы, да и не одни бабы с Ходовой улицы!

«Что скажут другие» — самые страшные и самые ненавистные слова для Маврика — опять оказываются сильнее всех слов. «Что скажут другие» было сказано, когда его увозили в Пермь. И теперь эти слова увозят его из дедушкиного дома. А кто эти «другие»? Какое им дело до него с тетей Катей и бабушкой?

Плохо начиналась зима. Был только один радостный день — день рождения Маврика, когда ему исполнилось девять лет, да и этот день был последним. И он переехал в большой «склеп». Но и это еще не так страшно. Тетя Катя сказала:

— Пусть все думают, что ты живешь там, а жить будешь тут. Ночуешь ночку-другую у матери — и ко мне. А потом видно будет.

И он жил и там и тут. Но неприятности, как оказалось, «что твои грузди, не живут в одиночку». На десятом году жизни Маврик попал в историю, о которой заговорила вся Мильва.

Все началось с волшебного фонаря...

## V

В школе стало известно, что у Толлина есть волшебный фонарь. И этим фонарем он ребятам со своей улицы показывает картины, а его дружок — Илька Киришбаум — читает по книжке или рассказывает о том, что показывается. А Санчик Денисов подает Маврику стекла с картинками, и получается «ух как здорово» и «до чего хорошо».

Всех ребят своего класса Маврик не мог позвать домой и показать им туманные картины. А видеть их хотелось всем. Всем трем классам. И ребята упросили Манефу Мокеевну показать картины в школе. Она согласилась. И был назначен «вечер туманных картин».

Маврик и Санчик торжественно принесли волшебный фонарь, натянули экран — простыню с красными каемками. Появился и Ильюша. Несмотря на то что это был «земский» школьник, которого полагалось отлупцевать, его встретили приветливо и даже почтительно.

— Сказка о сестрице Аленушке и о братце Иванушке, — объявил чистый голос Ильюши.

На белой простыне появилась первая картина. Аленушка ведет своего братца по лугу, на котором цветут цветы, зеленеют травы и

голубеет небо.

Ребята замерли. Они, кажется, перестали дышать. Потом вырвался восторженный вздох. Затем кому-то захотелось ощупать простыню, на которой такая красочная, такая яркая картина. Теплая ли она, эта картинка... Не зальет ли красками белое полотно... Не прожжет ли, наконец, простыню яркий свет, бьющий из белой трубки с увеличительными стеклами волшебного фонаря.

Когда простыню пощупал один, потрогал и второй, и третий... И наконец, все... Потому что мальчики впервые видели экран и волшебный фонарь. И он был для них волшебным без преувеличений. В те годы он и не мог быть другим. Первый кинематограф «Прогресс» еще только строился в Мильве. А слово «телевизор» пока еще не произносил никто ни в Мильве, ни в России — нигде на земном шаре. Не было этого слова.

Когда простыню-экран все пощупали, Ильюша принялся читать дальше, а Маврик показывать картину за картиной, а Санчик исправно подавать ему один диапозитив за другим. У них было все срететировано очень хорошо.

Школьники боялись, что скоро кончится сказка и кончится все.

Нет, потом была другая, третья... А потом Ильюша громко объявил, став перед простыней-экраном, освещенным лучом волшебного фонаря:

— А теперь мы вам покажем «Бог правду видит, да не скоро скажет», рассказ графа Льва Николаевича Толстого.

Сказав так, он сел за столик, около экрана, чтобы свет падал на книжку, принялся с выражением читать рассказ, а Маврик показывать картины, подаренные ему Иваном Макаровичем.

Рассказ и картины произвели огромное впечатление даже на Манефу. Пришлось показывать дважды. Второй раз Ильюша не читал рассказ. Его знали. Смотрели только картины.

Чуть ли не весь класс проводил Маврика до дома. Проводили до дома благодарные зрители и «земского» Ильюшку Киршбаума. Гость же! И потом, так хорошо читал.

Ничего не предвещало беды. Наоборот, в земской школе стали просить Ильюшу, чтобы он привел своего товарища Толлина и показал им картины. К Маврику пришли ходоки из земской школы. И тетя Катя сказала:

— Конечно, конечно... Чем же хуже ребята из земской школы? Дружнее будете жить.

«Вечер туманных картин» в земской школе прошел с большим успехом. Туда школьники привели своих младших братишек и сестер. В земской школе большой и широкий коридор. Сидели на полу. Учительницам принесли стулья. Здесь Ильюша показал себя еще лучше. Он был в своей школе. У него была слушательницей его учительница Елена Емельяновна Матушкина.

Все школьники благодарили Маврика, и Санчика, и Ильюшу. Учительница Елена Емельяновна сказала:

— Вон какой ты, Толлин, оказывается, просветитель... Хорошо бы показать эти картины и в девичьей школе...

Маврик был очень рад. Там учатся девочки Краснобаевы. Но все повернулось неожиданно плохо...

Стало известно, что скончался Лев Николаевич Толстой. И все заговорили об этом. И заговорили по-разному. Одни говорили, что умер великий человек и великий писатель русской земли, а другие... Другие, например отец Михаил, говорили очень дурно.

Он собрал всех учеников церковноприходской школы в одном самом большом первом классе. Никогда такого не бывало. Никогда не видали таким и отца Михаила. От него пахло не одной лишь селедкой, но и винцом. Всклокоченная борода, потемневший сизый нос, злые глаза не предвещали ничего хорошего. Он впервые появился в классе без нагрудного креста. В первый класс пришли и стали у стен все три учительницы школы.

Отец Михаил расчесал пятерней, как он это делал всегда, свою бороду и объявил классу:

— Смертью грешника на захолустной станции кончил свои дни отлученный от церкви, втоптавший в грязь свою сословную честь граф Толстой. Забвение имени его! Смерть творениям его, писомым по наущению сатаны и приспешников ада.

Не жалея хулящих слов, перемежая свою речь выражениями, вгоняющими в краску учительниц, робеющих у стены, отец Михаил обрисовал жизнь отлученного от церкви и проклятого самим богом, черту подобного графа, не постеснялся заявить, что греховодница Каренина Анна была писана им с одной из блудниц, которых было великое множество в его имении, под городом Тулой, где на сто верст

вокруг посохли деревья, померла каждая седьмая тварь и перестали гнездиться птицы, множиться звери и метать икру рыбы.

Выпитый с утра шкалик водки во многом способствовал измышлениям отца Михаила, очернявшего память великого писателя России. Истоича свою злобу, законоучитель перешел к теме, имеющей отношение к данной школе:

— Находятся и в нашей приходской школе отроки, а равно и потрафляющие им наставники, которые, пребывая в тумане ослепления своего, может быть и не ведая того, туманят себе и другим головы туманными картинами... Толлин! — выкрикнул отец Михаил. — Выдь к доске и покайся!

Испуганный Маврик исполнил приказание.

— Ну что же ты молчишь, господин Толлин? Показывал мерзопакостные картины?

— Йя... йя, — начал заикаться Маврик, — я показывал хо-хо-хорошие картины. Про Аленушку, про...

— А про невинного... который якобы заточен был в темницу по лживому доносу? Мог ли ошибаться суд праведный, суд помазанника божиего царя-батюшки? Ну, что же ты молчишь?

— Не знаю, — ответил Маврик. — Наверно, мог ошибиться. Мой дедушка тоже невинно сидел шесть дней.

Отец Михаил задышал чаще. Жилы на его висках надулись. Он закашлялся.

— Вот как? Невинно? Откуда тебе это знать?

— Бабушка говорит, и тетя Катя, и все. Хоть кого в Мильве спросите.

— Значит, ты не признаешь вины своей перед богом и перед сверстниками? — спросил, указывая на притихших учеников, отец Михаил. — И не каешься в том, что ты показывал богоотступническое?..

— Отец Михаил, — стал защищаться Маврик, — если бы вы посмотрели и прослушали «Бог правду видит...», вы бы сами сказали, какой это хороший рассказ. Всем, всем ребятам понравились эти картины. Они почти что священные...

— На колени! — не крикнул, а заорал отец Михаил.

У Маврика начали было сгибаться колени, но в эту минуту он вспомнил, как тетя Катя внушала ему и другим: «Если ты не



уважаешь себя, за что же тебя будут уважать другие?» И его ноги сами собой распрямились.

— За что же, батюшка? — взмолился Маврик. — За что же, отец Михаил?

— На колени! — взревел священник и больно схватил за ухо, чтобы пригнуть к полу неслуха.

Маврик и не собирался укусить руку отца Михаила. Он это сделал помимо своей воли, так же как Мальчик укусил, хотя и не больно, руку Маврика, когда он потянул свою добрую собачонку за ухо.

Отец Михаил отдернул укушенную руку и тотчас же, размахнувшись, ударил Маврика по скуле и сбил его с ног. Упавший затрясся, заскулил по-щенячьи. Он плакал не столько от боли, сколько от обиды, от несправедливости, от незащитности.

Кто-то всхлипнул в классе. Это был Санчик. Плач повторился в другом конце. С учительницей первого класса стало плохо. Ее вывели. Отец Михаил опешил. Он хотел было поднять Толлина. Но водка и самолюбие не позволили этого сделать. И он схватил Толлина за шиворот.

— Еретический выродок! Змееныш! — крикнул он и пнул под зад Маврика так, что тот своим лбом открыл дверь и очутился за нею.

Более ста мальчиков опустили головы.

Отец Михаил понял, что произошло непоправимое. Он попытался смягчить, объяснить, что его гнев — гнев небес, но, видя, что никто не верит этому и все против него, он снова перешел на крик и проклятия, но и страх оказался бессилён. Школьники не подымали глаз на своего законоучителя.

— Встать!

Они встали.

— Поднять морды!

Они подняли головы, но глаза их были опущены.

— Воды! — приказал отец Михаил.

Манефа принесла воду в жестяной кружке.

— Худо мне, дети мои, — схитрил отец Михаил и вышел из класса.

Занятий в этот день в церковноприходской школе не было.

Ошеломленный Маврик, выплакавшись на груди школьной сторожихи, не вернулся домой на Купеческую улицу. Не пришел он и к тетке. Начались розыски. Его нашли в доме Кулеминых. Маврик боялся, что за укус руки священника его не простят ни мать, ни тетя Катя, ни бабушка. А все оказалось совсем не так.

Екатерина Матвеевна, осыпая поцелуями найденного племянника, орошая его слезами, называла кладбищенского попа неслыханными до этого Мавриком словами:

— Я доберусь до этого упыря с Мертвой горы. Я выведу на чистую воду этого дударинского демона. Будет он у меня старым расстригой Мишкой. Не примет земля его подлые кости. Станет он ползать после своей окаянной смерти безглазым могильным змеем, изъеденным вечной паршой и бородавками!

Такой тети Кати никогда не видел племянник. Не узнавали ее и Кулемины. Всегда строгая, расчетливая в словах, она готова была осуществить свои угрозы: выдрать до волоска сивую гриву кладбищенского попа, вытащить его из алтаря за грязные полы богохульственной рясы и всенародно назвать его тем, кто он есть.

— И его не защитит никакой суд, — говорила она. — Ни мирской, ни духовный. Тишка Дударин — живое доказательство незамолимого греха попа, вогнавшего свою жену в могилу.

Разволновавшись, Екатерина Матвеевна с трудом сдерживала себя. Ей хотелось, чтобы племянника осмотрел доктор Комаров, что было важно во всех отношениях.

— Прошу вас, Артемий Гаврилович, — сказала Екатерина Матвеевна. Пусть ваш Никиша пригласит доктора Комарова и расскажет ему, что произошло.

Доктор Комаров приехал в тот же вечер. Потрясенный случившимся, он, почитатель Толстого, поставивший силами мильвенского общества любителей драматического искусства пьесу Льва Николаевича «Плоды просвещения» и замышляющий поставить «Власть тьмы», готов был, еще едучи к Зашеиным, преувеличить увечье мальчика вплоть до того, чтобы положить его в заводской госпиталь.

Осмотрев Маврика, Комаров нашел повреждение хрящей правого уха и, ощупывая скулу, хотел найти, но не нашел раздробленные кости.

— Я не могу определить всего в домашних условиях, — сказал он. — Это я сделаю завтра в приемном покое.

Маврику была прописана обезболивающая мазь и покой. Уходя, доктор сказал, что сегодня же фельдшерица забинтует ему голову, а завтра он пришлет за пострадавшим свою лошадь. От платы за визит Комаров категорически отказался:

— Что вы, что вы, уважаемая... За этот удар расплатятся другие, и уверяю вас, дорогая моя, это им будет дорого стоить. Очень дорого, повторил он, уходя.

Маврик, счастливый вниманием к нему, с удовольствием выслушивал соболезнования соседей, родных и школьников, навестивших его в этот вечер. А утром была подана лошадь, и он, забинтованный, ехал медленно с тетей Катей через всю Мильву в приемный покой заводской больницы. И все останавливались, разводили руками, а некоторые даже крестились.

Еще вчера, не зная того, Маврик стал героем Мильвы.

Более ста мальчиков рассказали о том, что было в школе, более чем в ста семьях. Этого было вполне достаточно, чтобы все двести — триста семей, а затем все семьи знали о необыкновенном событии.

В Мильве не выходила газета, и молва заменяла ее. Заменяла, приукрашая, добавляя, расцвечивая. Кладбищенского попа не любили и без того. И если до этого говорили приглушенно об его пьянстве, разгуле и всего лишь намекали на его связь с просвирней Дудариной, то теперь об этом рассказывали у каждого уличного колодца.

Осложнял дело и дурачок Тишенька Дударин. Этот «божий человек» бегал по улицам Мильвы босым и в морозы. Бегал и бормотал или выкрикивал «пророческие слова». Теперь его «пророчества» откровенно лгали. Он поносил безвинного зашеинского внука, называя его «учеником дьявола», что явно противоречило здравому смыслу даже самых темных верующих старух.

«Блаженный» впервые получил оплеуху от неизвестного. А в окно отца Михаила был брошен горшок с нечистотами. Горшок выбил стекла двойных рам и разбился, ударившись об изразцовую печь,

обрызгав дорогие обои и «озловонив чертог иерея», как писал в жалобе приставу Вишневецкому отец Михаил.

Но пристав не только не учинил розыска, но и посоветовал отцу Михаилу «не дразнить гусей» и отсидеться дома. Вишневецкий понимал, как может обернуться «школьное происшествие», и для предосторожности поставил переодетого полицейского к поповскому дому. Сегодня горшок с нечистотами, а завтра «красный петух». Спалют отца Михаила, и концы в воду. Бывало и такое в тихой Мильве.

На всякий случай, в целях возможных запросов из губернии, было заведено дело, названное «Неблаговидное происшествие в школе кладбищенского прихода Усть-Мильвенского завода». Дело начиналось с показания Манефы Мокеевны, не обелявшей законоучителя, продолжалось донесениями полицейских и агентов по тайному надзору. Сюда же было подшито заявление отца Михаила о горшке с нечистотами.

Маленькое дело, заведенное «на всякий случай» и «для предосторожности», росло с каждым днем. К нему были присоединены письма известных и неизвестных лиц, посланные в газеты и перехваченные почтой. Известные и неизвестные лица требовали мирского и духовного правосудия над попом, порочащим великую православную церковь. О Толстом не говорилось ни слова, хотя так недвусмысленно во имя защиты его памяти писались эти письма известными и неизвестными лицами, якобы защищающими и оберегающими религию от «растленных пастырей».

Пристав понимал, что всех писем не перехватить почте. Какие-то из них могут быть посланы и не из Мильвы. Особенно опасался он юридически образованного Валерия Тихомирова. Поэтому дело «о неблаговидном происшествии...» велось с особой тщательностью. Пристав должен знать все. И если что — «Не извольте беспокоиться. Все до последней бумажечки подшито и пронумеровано».

Матушкин собрал своих, чтобы обсудить, как воспользоваться для пропаганды случаем в церковноприходской школе. Валерий Всеволодович должен был информировать об этом партийную печать и подготовить заметки для легальных либеральных газет, на страницах которых прозвучит сенсацией избиение законоучителем ребенка.

Тихомирову также было поручено встретиться с протоиереем Калужниковым и попросить его о невозможном. Об извинении кладбищенского попа перед оскорбленными школьниками и, конечно, перед Мавриком.

— Подобное извинение не подобает священнослужителю, — заявил протоиерей Тихомирову. — Это унижительно.

Ожидавший примерно такого ответа, Валерий Всеволодович сказал:

— Сожалею и опасаясь — не пришлось бы вместо отца Михаила отцу протоиерею приносить более широкое раскаяние с соборного амвона. Госпожа Зашеина сильнее, чем вы думаете. За нею общественное мнение. Тысячи людей. А за вами? — спросил Тихомиров, вставая и раскланиваясь. — Имею честь. Я выполнил свой долг. Предупредил.

Встревоженный Калужников остался сам не свой. Он знал, что в Мильве теперь будет известно всем о посещении Тихомирова и об отказе протоиерея признать виновность кладбищенского попа и заставить его повиниться. Протоиерей не ошибся. Его презирали не только в рабочих семьях, но и в близких ему домах, где он бывал запросто.

Разговоры разговорами, пересуды пересудами — произошло нечто худшее для священнослужителя. Воскресную позднюю обедню в соборе обычно служил сам протоиерей. Торжественность службы, отличный звонкоголосый хор, показ невест, парад холостяков, возможность блеснуть обновкой, обменяться взглядами, наконец замолить грехи, накопленные за неделю, и просто желание поглазеть собирали немало народу. А на этот раз диакон произнес вступительные слова литургии в полупустом храме.

Отец протоиерей, облаченный в нарядную ризу, сразу понял, в чем дело. Все же он надеялся, что к середине службы подойдут обычно запаздывающие господа. Этого не случилось. Наоборот, стали уходить некоторые из тех, кто пришел, хотя никто их не уговаривал покинуть храм и вообще этот своеобразный бойкот воскресной обедни не был организован. Люди стихийно, не сговариваясь, пришли к одному и тому же выводу: «Коли протопоп таков, так не пойду, и все».

В этих словах или в других выражался протест, но церковь была пуста. Отец протоиерей, бледный, с трясущейся бородой, наскоро

дослуживал обедню. Хор необыкновенно громко и как-то жутковато громко звучал в безлюдном храме.

Тихомиров и сам не предполагал, как скажется его посещение протоиерея. Этого никто не ожидал.

Артемий Кулемин, рассказывая об этом Екатерине Матвеевне, вселял в нее силы и уверенность:

— Вы не одна, Екатерина Матвеевна.

И этому верила Екатерина Матвеевна. Она знала, что сказанное Кулеминым — это чистая правда. Все сочувствовали ей, встречая ее. Все желали расплаты с кладбищенским иродом.

— Не позволяйте смягчаться обиде в своем сердце, Екатерина Матвеевна, — сказал Емельян Матушкин, встретив ее на базаре. — Он достоин отмщения. И каким бы это отмщение ни было, его признают правильным.

Отчим Маврика, хотя и находил поведение отца Михаила непристойным, все же искал смягчающие вину обстоятельства, считая, что заживут синяки и обиды. Герасим Петрович боялся, что скандал, который может поднять Екатерина Матвеевна, падет тенью и на него, поскольку Маврик им усыновлен, станет известен хозяину фирмы, и тогда прощай место доверенного пивного склада. Кто знает, как посмотрит господин Болдырев? А Екатерине Матвеевне нет ни до кого дела, когда речь идет о защите справедливости. И что бы ни грозило ей, она скажет правду во всеуслышанье.

## VII

Отец Михаил не выходил из дома дня три. Сказался больным. Екатерина Матвеевна ежедневно появлялась в кладбищенской церкви, чтобы объяснить с попом. Но служил другой священник, из собора. Откладывать встречу не хотелось. Екатерина Матвеевна боялась, что пройдет неделя-другая и все забудется, да и она порастеряет припасенные и продуманные слова.

— Пойду к нему домой, — сказала она и пригласила с собой соседку Краснобаеву и мать Санчика.

Отец Михаил, ничего не зная, сидел дома без подрясника, в полосатых штанах, в сатиновой рубахе, в меховых котках на босу ногу

и покуривал трубку, ожидая возвращения просвирни Дудариной, посланной за псаломщиком и церковным старостой, опасавшимися появляться в поповском доме. Теперь, после «горшка», после оплеухи, полученной «блаженным» Тишенькой, можно было ожидать и не такое.

И когда отец Михаил услышал на кухне голос просвирни «проходите, проходите», он решил, что это пришли избегавшие его псаломщик и староста, которых следовало проучить за вероломство и трусость.

Несдержанный на слова, начал он еще у себя в комнате громкое и сложное ругательство, которому позавидовал бы и камский грузчик, закончил брань, появляясь на кухне в чем был. То есть в полосатых штанах, в котях на босу ногу и с трубкой в зубах.

— Аг-га... Пришли, гадины! — крикнул он в ярости пришедшим к нему Екатерине Матвеевне, Краснобаевой и Санчиковой матери.

Женщины попятились. Екатерина Матвеевна взвизгнула и закрыла лицо руками. Ни одной из них никогда в жизни не приходилось видеть попа в штанах, да еще с трубкой в зубах. Появление священнослужителя перед прихожанами и особенно перед прихожанками в таком виде было делом неслыханным. Это не менее других понял отец Михаил, остолбеневший и потерявший дар речи. Зато Екатерина Матвеевна обрела его.

Отняв руки от своего лица, но не открывая глаз, она исступленно перекрестилась, затем простерла руки к небу и проникновенно начала проклятие:

— Именем бога! Именем пресвятой троицы отца, сына и святого духа я, непорочная дева Екатерина, расстригаю тебя, распутный поп! Трижды анафема тебе отныне и во веки веков... Анафема!

— Анафема!.. Анафема! — повторили громко Краснобаева и Денисова, наэкзальтированные певучим голосом Екатерины Матвеевны и словами проклятия.

Не открывая глаз, Екатерина Матвеевна повернулась к двери. Поспешно ушли вслед за ней Краснобаева и Денисова. Около ворот их ожидали человек до двадцати сочувствующих и любопытных.

— Ну как? Ну что там он?

На Зашеиной не было, что называется, лица. И все заметили это. Бледная, взволнованная, не видя никого, она прошла мимо

толпившихся, не слышала их вопросов. Зато Денисова и Краснобаева рассказали все. Не забылись полосатые штаны, трубка, брань и, конечно, злополучное обращение: «Ага... Пришли, гадины».

Одни всплескивали руками. Другие крестились и повторяли: «Анафема ему, расстриге». Для них он уже был расстрижен и лишен сана. Проклятие благочестивейшей девственницы Екатерины Зашеиной от имени бога, отца, сына и святого духа, которое теперь неизбежно повторится сотнями уст, предрешит все. Неграмотные и забитые женщины знали силу слов и силу молвы.

Отец Михаил не сразу пришел в себя. Очухавшись, он бросил в просвирню Дударину подвернувшейся под руку крынкой, схватил ее за волосы и обрушил весь остальной Запас брани, приготовленный для псаломщика и старосты.

— Как же ты, мокрохвостая дьяволица, не дала знать, кто пришел ко мне?..

Просвирня отбивалась как могла, она тоже не затрудняла себя выбором слов и не боялась давать волю рукам.

Их разняли подоспевшие староста и псаломщик, знавшие о происшедшем. Они подобрали с пола черепки, подмели клочья сивых и черных волос.

— Отец Михаил, да уймите же, ради Христа, свой гнев... Все перемелется, — неуверенно гундосил псаломщик.

Староста тоже искал слова, смягчающие сердца, но сказанное Зашеиной звенело в ушах попа, сидящего с трясущейся бородой на лавке кухни, и просвирни, плачущей под образами в разорванной кофте.

Положим, и отец Михаил и Ангелина Дударина знали цену «анафеме», и проклятия не были страшны для них, но худая молва... Две свидетельницы, из которых одна была, как-то обижена отцом Михаилом в церкви, теперь выросли в серьезную угрозу.

Наутро добрая половина Мильвы услышала о новой выходке кладбищенского попа. А еще через день появилась листовка, отпечатанная на гектографе, с заголовком, каллиграфически выведенным пером «рондо», каким обычно писали ученики технического училища: «Видит ли бог правду?» В листовке говорилось о бесправии детей, о плумлении над прихожанками, об изуверском разгуле черных сил, о попустительстве властей и полиции,



об осквернении памяти великого сына России — бессмертного Льва Николаевича Толстого. Листовка заканчивалась призывом:

«Проснитесь, честные люди! Скажите свое слово! Да здравствует правда! Да здравствует разум!»

Листовка, отпечатанная в малом количестве, рассчитанная на таких, как доктор Комаров, не получила большой огласки. Зато через два дня вышла другая листовка, отпечатанная типографским способом. Она была разбросана до первого свистка в устьях улиц, примыкавших к проходным завода. Листовка начиналась, как церковная проповедь:

«Ей, Господи царю, услышь правду свою!»

И далее она, перекликаясь с первой, гектографической листовкой, спрашивала бога:

«Ужли ж Ты, царь царей, владыка владык, не видишь надругания служителей Твоих и допускаешь избиение чад Твоих и горение в храмах, воздвигнутых Тебе, иудиних свечей, насылаемых сребролюбивыми блудодеями, наживающимися на имени Твоем».

В холодном поту пристав Вишневецкий вчитывался в строки перехваченных листовок.

«Кто автор? Где отпечатаны они?» И снова «кто?» и снова «где?» стучит в голове пристава, в головах поднятой на ноги тайной и явной полиции. Он должен знать, «кто» и «где», до того как придет запрос из губернии. А белая листовка в затейливой рамочке издевательски молитвенно, строка за строкой, спрашивает:

«Ежли всякая власть от Тебя, Господи, то неужли ж и эта власть жиреющих на вере в Тебя, стяжающих в темноте неведения Твоего, страшщих возмездием Твоим, тоже дана Тобой, Всеблагий молчащий Господь? За что же, Господи? За непосильное труждение от зари до зари, за безропотное примирение с тяготами, штрафами и поборами? За что, Господи? За темноту душ и умов, молящихся Тебе? За редьку и квас, вкушаемые не только в посты Твои? За гнев и порабощение законом Твоим?..»

И управляющий заводом Андрей Константинович Турчаковский не мог сдержать волнения и отмахнуться от воскресшего призрака тысяча девятьсот пятого года. Уж он-то, образованный человек, знающий силу словесной стилистики, понимал, какое воздействие на

простой народ произведет этот крик души, так понятный дремлющим, колеблющимся душам мильвенцев.

И он не ошибался. Листовка не столько читалась, сколько пересказывалась. И каждый пересказывал ее по-своему, соответственно своим взглядам и убеждениям. Листовка пересказывалась и в церквях. Правда, там замалчивали ее последние строки, ради которых писалась и печаталась листовка. А последние строки выглядели ультиматумом:

«Ей, Господи царю, не будь глух к взывающим Тебе, отверзи уста Свои, возри на землю Твою. Смилоствивись, не понуждай глас народа громоподобно призвать к низвержению царствующего от имени Твоего, не дай поднять гневную руку на прислужников и палачей его, казнящих и тиранящих, обирающих и гнетущих, унижающих и темнящих во славу Твою».

И наконец, последняя строка жирным, крупным шрифтом:

«Твою ли, Господи? И — славу ли?»

— Протоиерея... Немедленно протоиерея... Лошадь за ним! — приказал лакею Андрей Константинович и отправился в соседнюю комнату, где на стене висел массивный, сделанный из орехового дерева, с двумя белыми блестящими колокольчиками и с черной изящной ручкой телефон фирмы «Эриксон». Теперь в Мильве установлено почти сорок телефонных аппаратов, и один из них — у отца протоиерея. Хотя он и является лицом, к заводу не имеющим прямого отношения, но завод имел отношение ко всем. И управляющий округом управлял не одними заводскими цехами. Это была главная власть, которой так или иначе подчинялись все.

## VIII

К телефону подошла матушка и ответила Турчаковскому, что отец протоиерей находится у Зашеиных по делу отца Михаила.

— Поймите, дочь моя Екатерина Матвеевна, — разъяснял протоиерей Зашеиной, — духовные лица, как и светские лица, дома пребывают в мирском одеянии.

— Я понимаю это, отец протоиерей, и не виню его за то, что он появился в таком виде и с курительной трубкой во рту. Пусть курит.

Это его грех. Но брань, оскверняющая родившую его и всякую рождавшую в том числе... — не договорила Екатерина Матвеевна, переведя глаза на икону богородицы, висевшую среди других в переднем углу большой комнаты дома Зашеиных, где был принят протоиерей, — эта брань незамолима для священника, каким он перестал быть.

— Екатерина Матвеевна, не вас же он бранил, — увещевал проникновенным голосом протоиерей Калужников. — Он бранил избежавших его псаломщика и старосту.

— Я допускаю... Я верю вашим словам, отец протоиерей... Но разве псаломщик и староста не служители церкви? И если бы они были даже арестантами или каторжниками, то и в этом случае мог ли он тогда, еще нося сан священника, произнести эти слова? Нет прощения расстриге. Нет... нет... И не уговаривайте меня. Меня нельзя уговорить.

— Екатерина Матвеевна, отца Михаила никто не расстригал, и никто не лишал его сана иерея, и притом благочинного.

— Бог расстриг его! — Екатерина Матвеевна перекрестилась. — Бог отнял его сан.

Тут протоиерей попробовал перейти в наступление.

— Мирянка Зашеина! Ты слуга божия, а не служительница его! — заговорил протоиерей приподнято. — Бог не облакал тебя, женщину, властью расторжения рукоположения во иереи отца Михаила! Это грех, женщина, и за него может быть наложено церковное наказание...

— Господин Калужников, — Екатерина Матвеевна поднялась, — вы гость в моем доме и сказались другом этого дома, войдя в него. Бог не женщину облакал своей властью, а девственницу. Это — первое. А второе — не я, а всевышний моими устами предал анафеме распутного попа-двоеженца, прижившего при живой благочестивой матушке Евгении Константиновне умопомраченного сына. И третье, и самое последнее... — Тут Екатерина Матвеевна повернулась лицом к иконам и снова перекрестилась. — Разрази меня господь, если лгу, что ты вложил в уста мои анафему предавшему тебя попу Мишке с Мертвой горы. Покарай меня смертью без святого причастия, если я не твоим именем, бог-отец, бог-сын, бог — двух святой, расстригла распутника, торгаша, пьяницу, избивающего младенцев.

Протоиерей Калужников видел на своем веку фанатический экстаз моления, он знал разрывающих на себе одежды кающихся женщин, ему ведомы были леденящие кровь моления «общающихся с богом праведниц». Сейчас он увидел большее. Он чувствовал себя маленьким седеньким старичком, чем-то похожим на домового, рядом с этой святой своим человеческим величием.

Отца протоиерея зазнобило.

— Четвертого не назову, — сказала, повернувшись, Екатерина Матвеевна, — но если кладбищенский расстрига хотя бы одной ногой ступит на церковный амвон или того хуже — посмеет войти в алтарь, бог вложит в мою руку перо и перу даст слова, которые будут прочитаны в Санкт-Петербурге. Будут!

Калужников понимал, что это говорилось не для красного словца. Он знал, что юридически образованнейший Валерий Всеволодович, волшебник слова, предлагая защиту Маврика, изъявлял желание написать прошение в Петербург. И Екатерина Матвеевна могла прибегнуть к этому. Не зная, как вести себя далее, протоиерей услышал спасительные слова:

— От его превосходительства за отцом протопопом.

Это говорил в кухне за тесовой перегородкой кучер Турчаковского.

— Я здесь, Аким, я сейчас, — отозвался Калужников и хотел было, прощаясь, благословить, как всегда, Зашеину и дать ей поцеловать ручку, но Екатерина Матвеевна постаралась не заметить этого.

— Бог вас простит, отец протоиерей. Молитесь. И не защищайте впредь низложенных богохульников. Поклон матушке Любви Захарьевне... Маврик, где ты? — направилась в другую комнату Зашеина, не желая проводить до дверей протоиерея.

Его трясло в управительской карете.

## IX

Управляющий принимал протоиерея в домашнем кабинете, оклеенном золотыми тисненными обоями. Терпеливо выслушав

рассказ возмущенного Калужникова о посещении Зашеиной, Турчаковский спросил:

— И к каким же выводам пришли вы, отче?

— Вывод один — привести к покорности возгордившуюся и непомерно возомнившую о себе Зашеину.

— А каким способом, премудрейший отче? — с игривой иронией спросил Турчаковский.

— У церкви много способов, Андрей Константинович. Проповедь. Принуждение к покаянию. Увещевание и, наконец, угроза наложения епитимьи, а то и отлучения...

— Уг-гуу! — пробасил, откашлявшись, управляющий. — А не угодно ли отцу-отлучителю, милостивейшему увещевателю прочесть сию социал-демоническую экциклику некоего проповедника, «глаголом жгущего сердца», а потом уже избрать способ принуждения к покаянию непорочной дочери «спасителя» Мильвенского завода Матвея Романовича Зашеина, пожалованного медалью и кафтаном его величества. Читайте, отче!

Турчаковский положил перед протоиереем листовку и принялся расхаживать по ковру кабинета, позванивая маленькими шпорами, привинченными к каблукам его тупоносых башмаков.

— Читайте, читайте! — повторил управляющий. — Вникайте в слог, в искусство словосочетания незаурядного ритора, наторевшего открывать сердца куда более успешно, нежели приставленные к этому бесчинствующие благочинные.

Дзинь, дзинь, дзинь — малиново позвякивали серебряные шпоры. Ходит из угла в угол в расстегнутом мундире, с заложенными за спину руками начавший сесть и грузнеть, но все еще энергичный управляющий Мильвенскими заводами. Их теперь шесть. Они процветают под началом заботливого управляющего округом его высокопревосходительства и кавалера орденов Турчанино-Турчаковского, лично принятого и обласканного всемилостивейшим государем императором Николаем Александровичем.

По ковру ходил, позвякивая стальными колесиками шпор, сановник отечественной промышленности, получивший право непосредственного обращения на высочайшее имя. И в этом заводском округе не было лица выше его.

Руки протоиерея Калужникова, дочитывавшего второй раз листовку, тряслись. Очки то и дело сползали по скользкому, вспотевшему розовому носу.

— Так что же это, почтеннейший Андрей Константинович? — спросил упавшим голосом протоиерей.

— Я вам хочу задать, всепочтеннейший Алексей Владимирович, этот вопрос, а затем спросить вас — кем благословлено это похабное, невежественное возмущение умов, связанное со смертью графа Толстого?

— Указание из епархии, Андрей Константинович... С благословения преосвященного. Письменного, почтеннейший Андрей Константинович...

— Преосвященный благословил священнослужителей приходить в школы «подтурахом» после водочного излияния? Епархиальный архиерей указал появляться без нагрудного креста и в затрапезном подряснике? — говорил все громче и громче управляющий. — Епископ повелел бить внуков уважаемых и благочестивых мирян, а затем пинком под зад вышвыривать из класса?.. Доводить до потери чувств учительниц? Сеять смуту в цехах доверенных мне заводов? Это приказал преосвященный?

Калужников опустил голову.

— Отвечайте же, отец протоиерей, — потребовал Андрей Константинович.

— Отец Михаил поставлен мною на поклоны. На сорок сороков покаянных поклонов...

— И только-то? Хорошо наказание осквернившему церковь! Вы бы еще, Алексей Владимирович, посоветовали церковному старосте после каждых сорока поклонов этого тупого болвана подносить ему кварту церковнославянского вина да подстлать подушечку, чтобы расстрига не разбил свой чугунный лоб от усердного моления.

— Он не расстрига, — мягко заметил Калужников. — Он двоюродный брат преосвященного.

— Ах вот как? — сказал и зло усмехнулся Турчаковский. — Прошу принять мои сожаления обоим братьям, а равно и вам, отец мильвенских приходов. Не хотите ли хереса? Херес весьма способствует просветлению мышления. Нет? Как угодно.

Турчаковский залпом выпил стакан хереса.

— Теперь поговорим келейно и государственно, отец протоиерей, как за карточным столом. Ход мой! — объявил Турчаковский, садясь в кресло перед своим столом напротив Калужникова. — Не задумывались ли вы над тем, что наш обожаемый монарх, имея неограниченную власть над верноподданными, почел за благо обеспечить неприкосновенность личности графа Толстого? Почему? Не из боязни ли? А? Ни в коей мере. Мудрость руководила императором, благоразумное нежелание будить в народе смятение.

— Но граф отлучен от церкви, — вставил свое замечание протоиерей.

— От церкви, — поправил Турчаковский, — а не от империи.

«Не все ли равно», — хотел сказать Калужников, но управляющий предупредил его:

— В этом есть свои тонкости. И эти тонкости нужно понять священникам. Отец Никандр из Никольской церкви и отец Александр Троицкий да и остальные мильвенские попы провели в школах и училищах моего округа мягкое собеседование. Мягкое! А этот расстриженный просвирнин боров... как он повел себя?

— Да не расстрижен же он, Андрей Константинович! Странно же, право, слышать от вас такие слова, — упорствовал Калужников.

— Расстрижен. Низложен. Растоптан. И не Зашеиной, а тысячами верующих и безверных жителей Мильвы. Послушайте, что говорят в цехах, в благородном собрании, в церквях... Не защищать, а добить безмозглого кабана. На сало... На мыло. На благо веры, царя и отечества. Милейший и первосвященнейший... Не одну сталь приставлен я плавить здесь да клепать мосты и шаланды. К сожалению, мне приходится укреплять нравственность и религию, чем должны были заниматься вы и присные с вами... Неужели вы, образованный человек, не понимаете, — снова поднялся Турчаковский и принялся расхаживать по кабинету, — что эта до фанатизма религиозная Зашеина, до глубины души потрясенная богохульством этого ослейшего из ослов, может стать своего рода мильвенской Жанной Д'Арк и, вооружившись крестом, как мечом, над голо... вот так, — показал Турчаковский, подняв руку над головой, — повести за собой христоробивую толпу, чтобы тем же именем бога, отца, сына и святого духа разметать логово еретика Мишки с Мертвой горы. А он — еретик... Этого не опровергнет и святейший Синод... И

неизвестно, отче протопопе, кто примкнет к этой христоролюбивой толпе и чем окончится столь бурное возмущение умов, начатое маленьким инцидентом в церковноприходской школе. Вы забыли о бунтах. Я не уверен, сколько и каких горшков может влететь в окна вашего дома, если вы возьмете на себя роль адвоката хулигера нравственности и осквернителя веры. Читайте и перечитывайте листовку... Вот эту строку... Вот эти слова: «Не дай, Господи, поднять гневную руку на прислужников и палачей...» Не самообольщайтесь силой своей проповеди и угрозой отлучения... Не забывайте, что треть рабочих Мильвенского завода умеют довольно неплохо читать. И в эти дни чудовищно возрос интерес к чтению книг Толстого. Либеральная интеллигенция Мильвы раздала все толстовские произведения вашей пастве. Не удивляйтесь, Алексей Владимирович, если сегодня, с наступлением темноты, объединяемые «Союзом Михаила-архангела» предупредят возможные волнения рабочих и степенно выбьют стекла в доме кощунственно носящего имя вышеназванного архангела, а затем — при блистательном бездействии полиции — заставят вашего соученика по семинарии признать низложение его девствующей Зашеиной и поклясться не переступить порога кладбищенского храма. Бить не будут, но рясу прикажут снять и разойдутся с пением «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояния твоя...».

— Откуда вам известно это, Андрей Константинович? — взмолился Калужников.

— Мне все известно, — сказал Турчаковский. — Я управляю, а не при сем присутствую. Мудрость управления состоит и в том, чтобы опережать возможные события, убавлять давление в котле и выпускать из него излишние пары. Лучше пожертвовать одним растленным дураком и оградить этим от возможных эксцессов мужей благоразумных и верных своему служению отечеству. Выпьете хересу, Алексей Владимирович?

— Пожалуй, — ответил совсем тихо и примирительно Калужников.



Пока Турчаковский разливал оставшееся в бутылке, у протоиерея возник новый вопрос:

— А что скажет на это губернатор?

Турчаковский небрежно заметил:

— Мой друг еще в первых классах корпуса был сметливым малым и подавал хорошие надежды, в которых я пока не разуверился. За ваше благоразумие, отец протоиерей, — сказал он, чокаясь с ним, и перевел разговор: Давненько мы с вами не сражались в преферанс, — а потом будто бы так, между прочим, спросил о достраиваемой часовне у плотинной проходной.

— Если бы рабочие завода, — сказал Калужников, — были бы усердны в завершении строения, как они усердны в ночных самоуправствах, то бы Михайловская часовня была освящена в Михайлов день, восьмого ноября...

— Михайловская... в Михайлов день? — переспросил Турчаковский, будто не понимая, что значат эти слова. — А почему она Михайловская и почему ее нужно открыть в Михайлов день? Кто ее так назвал?

Протоиерей разъяснил:

— Главного жертвователя купца Чуракова зовут Михаилом. Михаилом Максимовичем.

— И что же из этого?

— Как что, Андрей Константинович? За пожертвованные Михаилом Максимовичем деньги он хочет увековечить свое имя — Михаил.

— Уг-гу... Увековечить... За деньги... Не кажется ли вам, отче, что Михайловская часовня и самое имя Михаил не будут популярны в этом году? Не станет ли Михайловская часовня перекликаться вольно или невольно с кладбищенским Михаилом?..

— Что вы, Андрей Константинович. Он-то при чем тут?

— При чем, не при чем, однако же на каждый роток не накинешь... подрясник. Часовня, как и вера, нужна не одному богу, но и заводу. Не поискать ли другое, более известное и уважаемое в Мильве имя? Мало ли их в святцах и на языке у рабочих?

Протоиерей решил, что речь идет о покойном Зашеине.

— Оно конечно... Богу служи, а о людях думай. Часовня могла быть названа и Матвеевской... Именем евангелиста Матвея. Памятное

и уважаемое в заводе имя...

— Вот видите, — сказал Турчаковский, испытующе глядя своими пронизывающими темными глазками в большие, начинающие светлеть от старости глаза Калужникова. — Херес — отличное отрезвляющее вино. Велю прислать вам полдюжины бутылок. Допивайте, отец протоиерей, не оставляйте в стакане зла. И я допью, чтобы начать новую.

— Куда же, зачем же, Андрей Константинович, — учтиво противясь, сказал Калужников.

— Превосходное имя — Матвей... Матвеевская часовня. Часовня, связанная с почтеннейшим корпусным мастером, рабочим Зашеиным. Какой козырной удар по листовкам... И какая могла бы получиться глубокая проповедь, в которой слегка, без педалирования, проповедник вспомнит человека, носившего имя евангелиста. Однако же, отче, не много ли мужских имен даем мы храмам и часовням?.. На Гольянихе церковь... Никольская... замилевенская — Петра и Павла, на кладбище — Ильинская... Опять святой мужского пола...

— Зато на Рыдае — Благовещенский храм...

— Это верно, отец протоиерей, но, насколько я понимаю, главным героем в благовещении был благовестник Гавриил. Не так ли?.. Часовню, мне кажется, неплохо бы назвать именем святой женщины... девственницы...

— Екатерининской? — спросил протоиерей, поняв, куда клонит речь Турчаковский.

А тот будто сделал открытие:

— Екатерининской... именем преподобной Екатерины...

— Не преподобной, а великомученицы. Не темните, Андрей Константинович...

— Позвольте, отец протоиерей, это вы, а не я назвал первым это звучнейшее из имен... Екатерининская часовня! Огромная икона великомученицы во весь рост, написанная умным и тонким иконописцем.

— Великомученицу писать в очках или без? И если в очках — то в золотой оправе или в простой металлической?

Глаза Турчаковского сверкнули зло и угрожающе.

— Не кощунствуйте, отче.

— Да до кощунства ли мне! Пас. Откроемся. Ход ваш.

— Так-то лучше, — все так же повелительно продолжал Турчаковский. Насколько мне позволяют мои знания, святые, как и носящие их имена, не были лишены ушей, лбов, носов, ртов, — отчеканивал управляющий, — равно и всего прочего, присущего людям, например, величавого сложения, покатоности плеч, цвета волос и глаз... И почему одной из достойнейших, носящих имя великомученицы, не повторить по божьему промыслу ее черты?

— Это требование?

— Праздные размышления между первой и второй бутылкой. Где слыхано, чтобы какой-то заводской чиновник диктовал главе многих приходов, как называть часовни, и наставлял в тайнах иконописи?

Турчаковский посмотрел на каминные часы с амурами, потом на карманные золотые, зевнул и сказал:

— Как я задержал вас, отец протоиерей.

А тот, понимая, что его выпроваживают, вынужден был ответить согласием Турчаковскому ранее, чем этого требовали приличие и сан.

— Екатерининская так Екатерининская... А что сказать Чуракову?..

— Сказать, что его преосвященству епархиальному архиерею, а равно его высокопревосходительству управляющему Мильвенским заводским округом лучше знать, как следует называть заводские часовни. А если ему этого покажется недостаточно, то верните ему пожертвованное и попросите от моего имени убираться к... мадам Чураковой из при заводских лавок, которые будут сданы безвозмездно заводской потребительской кооперации. Прошу вас еще по единой свежеоткупоренного, отец протоиерей.

— Господи владыко... Я ли это? — спросил себя Калужников и опустил на впалую грудь отяжелевшую голову.

## ВТОРАЯ ГЛАВА

### *I*

В церковноприходскую школу Маврик не вернулся, хотя и мог бы. Новый молодой законоучитель из Никольской церкви, заменивший

кладбищенского попа, не советовал Екатерине Матвеевне переводить мальчика среди года в другую школу, но Зашеина на это сказала:

— Там у вас и стены будут плохим напоминанием для него.

— Ни за что, — подтвердила Любовь Матвеевна. — Мой сын может учиться и дома, как другие дети из порядочных семей.

Маврик, разумеется, не мог учиться дома. Конторщик пивного склада Герасим Петрович Непрелов получал небольшое жалованье. О найме домашней учительницы можно было только говорить «для дурацкого близиру и для фанфаронского гонора», как выражалась Екатерина Матвеевна, считавшая теперь, что ее племянник должен учиться и жить среди ребят, какими бы они ни были. Она теперь верила, что к хорошему не прильнет плохое, а хорошее, как, например, честность, правдивость и, конечно, религия, всегда восторжествуют над плохим. Этому живой пример ее победа над кладбищенским извергом. А победа была. Не случайно же, не просто же так приезжал к ней сам Турчаковский, чтобы выразить свое восхищение и заверить, что на ее стороне правда, которая неизбежно восторжествует. Он также спросил, не нужно ли ей провести за счет завода электрическое освещение и установить телефон. Екатерина Матвеевна сказала, что по телефону разговаривать ей не с кем, а электричество притягивает молнию, что весьма опасно для деревянного строения, к тому же в керосиновой лампе живой горячий огонь, с чем управляющий безоговорочно согласился и попросил разрешения послать ей хотя бы несколько кубических сажен дров, обшить тонким тесом дом, что необходимо для светлой памяти личного друга управляющего Матвея Романовича. Екатерина Матвеевна обещала подумать относительно обшивки, а дрова согласилась взять, но не бесплатно, а за недорогую плату, чтобы в Мильве не говорили, будто она извлекает выгоду из доброй славы ее бескорыстного отца.

В конце концов было решено перевести Маврика в земскую школу на Купеческую улицу. Там его встретили приветливо и шумно. Всем во втором классе хотелось сидеть с Толлиным на одной парте. Юрий Вишневецкий, сын пристава, объявил:

— Он должен сидеть со мной. Мои уланы не дадут его никому в обиду.

Но учительница Елена Емельяновна Матушкина, сестра зубного врача Матушкиной, сказала, что новичка Толлина лучше посадить с его товарищем Ильей Киршбаумом.

— Как вы думаете, ребята? — спросила она класс.

И класс ответил:

— Да! Да!

Обиженные ученики церковноприходской школы, считавшие теперь Толлина «своим в дым и в доску», поклялись избивать «земских» на каждом углу. Юрка Вишневецкий в ответ на это обещал пятерку своих верных уланов вооружить настоящими пиками с железными наконечниками. Однако же знающая душу детей Елена Емельяновна предложила иное:

— Давайте играть в мир! Это куда интереснее.

И действительно, эта игра неплохо началась и хорошо продолжилась. А началась она так.

К указке был привязан белый носовой платок. Это флаг перемирия. И с этим флагом ученики второго класса подошли к Нагорной церковноприходской школе. Флаг нес Юрий Вишневецкий. Если сыну пристава хочется быть впереди, то пусть он будет впереди хороших дел, решила для себя умная учительница.

Парламентером был назначен Илья Киршбаум. Он, как друг Толлина, был тоже «своим в дым и в доску», и его нельзя было тронуть пальцем. Илья, наученный учительницей, замыкавшей шествие второго класса, начал переговоры.

— Храбрая и славная армия нагорных стрелков! — обратился он. — Мы признаем и уважаем вашу силу!

Это понравилось выбежавшим из двора школьникам, и они торжествовали.

— Заслабило, значит... Пришли! — крикнул Митька Байкалов.

— Нет, — сказал Илья, храбро выставляя ногу вперед. — Мы не слабые, мы дружные и предлагаем мир.

Елена Емельяновна сидела на другой стороне Нагорной улицы, на скамеечке дома Сперанских, и не вмешивалась, надеясь, что ребята помирятся без ее помощи. Но мальчишечья воинственность мешала миру. Задиристый Митька Байкалов подзуживал «наддать земским», но, увидев Елену Емельяновну, а затем услышав за своей спиной голос Манефы Мокеевны, примирительно спросил:

— А кто будет платить дань?

Стороны стихли. В самом деле — кто будет платить дань? Какой же мир без дани, следовательно, без победы? А дань платить никому не хотелось. Она оскорбляла честь класса, честь школы.

На выручку пришла Матушкина. Перейдя улицу, она сказала:

— Это правильный и очень серьезный военный вопрос.

И снова всем это очень понравилось. Понравилось и Митьке Байкалову. Значит, он не дурак, не оболтус, не тупица, как называет его Манефа-урядничиха, которая тоже готова была подыгрывать в мирных переговорах. И она сказала:

— Пусть от каждого класса выйдет по одному богатырю и поборются. Кто кого положит на обе лопатки, тот и победитель. Тому и получать дань.

— Правильно, правильно, Манефа Мокеевна! — заорали ребята из Нагорной школы.

Ученики же земской школы посмотрели на свою учительницу. Что скажет она? А она, к удивлению всех, сказала:

— Очень разумные условия. Лучше обойтись без большого кровопролития, без убитых и без раненых солдат и решить спор богатырской силой. Кто выступит богатырем от храброй армии нагорных стрелков? Кто?

Вытолкнули Байкалова, и он, счастливый, предвкушая неминуемую победу, сбросил ватную куртку, затянул потуже ремень и крикнул:

— Выходи, боец-богатырь! Пятерых уложу!

Желающего в земской школе сразиться с верзилой-второгодником Байкаловым не находилось. И тогда Елена Емельяновна посмотрела на Маврика Толлина. И все заметили этот взгляд. Заметил его и Маврик. А потом она тихо, почти шепотом, спросила его:

— Уж не боишься ли ты, Барклай?

Это решило все. Маврик сделал шаг вперед. Классы обеих школ замерли. Детские сердчишки застучали. «Вы что, Елена Емельяновна?!» — чуть было не крикнула Манефа, но сдержалась, решив вмешаться в последнюю минуту.

Толлин сделал второй шаг, затем третий, четвертый. И вот маленький розовощекий Маврик и загорелый рослый Митька сошлись. Кулачки земских школьников сжались. Они ни в коем случае

не допустят, чтобы Митька поборол их Толлина, хотя бы осторожно, хотя бы «совсем не больно» подмял его под себя.

— Здравствуй, Митя, — протянул свою руку Маврик.

— Здравствуй, — ответил Митька Байкалов и обхватил Маврика своими не по годам сильными руками. Он обнял его так крепко и закружил в своих объятиях так быстро, и его лицо было таким добрым и смеющимся, что всем стал ясен исход поединка.

— Ур-ра! — закричали земские школьники.

— У-ра! — повторили церковноприходские и побежали навстречу друг другу «брататься на заединщину».

Манефа Мокеевна тоже пошла навстречу Елене Емельяновне:

— Хорошо-то как... Теперь никто никому не будет платить дань.

Елена Емельяновна сказала:

— Вы нынче к нам на елку... А мы к вам на елку. И у нас будет не по одной, а по две веселых елки. Хорошо жить в мире. Не правда ли?

И школьники закричали в ответ:

— Правда!.. Правда!..

В разных школах одной и той же Мильвы был разный дух. И этот дух всегда зависел от учителя и всегда будет зависеть от него.

Разошлись с песней:

Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет...

У каждого времени свой цвет и свои песни.

## II

За стенами школы текла далекая от нее и неразрывно связанная с нею жизнь, размеренная заводскими свистками, получками два раза в месяц и праздничными гулянками.

События, вызванные смертью Толстого, улеглись. Листовки забывались, домашние хлопоты, заботы о корове, квашне, обеде, тяготы будничной жизни рабочих семей главенствовали над остальным. Ранние глубокие снега, затем и морозы, сковавшие реки, приглушили и без того тихую жизнь Мильвы, отрезанную зимой

заснеженными полями, густыми хвойными лесами, тянущимися на многие версты. Только узенькая кривая дорога с еловыми ветками-вехами оставалась единственным путем сообщения, по которой раз в день, а то и через день пробегала кошевка «дележанца» к дальней железнодорожной станции.

Началась зима. Длинная, белая, с короткими днями, с неизменной стужей — мильвенская зима. Уж коли надел в октябре валенки, можешь не снимать их до конца марта. Оттепель — редкая гостья в Мильве. Да и та чуть растопит верхний слой снега на солнечной стороне улиц, погостит час-два и снова «клящая стынь-стужа» здесь, в верховьях Камы.

Полиция так и не доискала, кем была выпущена досадная листовка. Киршбаум остался вне подозрения. В его мастерской было так мало шрифтов, что их не всегда хватало для штемпелей с большим текстом, заказываемых заводом. И ни один из имеющихся у Киршбаума шрифтов при сличении с листовкой не был схож и отдаленно.

Киршбаум не мог нарушить партийного указания. И если в Мильвенском заводе и будут появляться листовки, то с обращением к населению других заводов и городов. Например: «К рабочим Н. Тагила» или «Товарищи горняки, гороблагодатцы!» и тому подобное. Такая листовка и в Мильве сделает свое дело, но обезопасит Киршбаума и в том случае, если даже он выпустил данную листовку.

Розыски полиции привели в типографию Халдеева, где оказались шрифты, схожие с шрифтом листовки. И более того, при тщательном сличении обнаружилось совпадение дефектов букв листовки, совпадающие с дефектами этих же букв в бланках и объявлениях, набранных и отпечатанных в халдеевской типографии. Но типография работала только днем. В тесноте, где один рабочий мешал другому, невозможно было набрать и тем более отпечатать довольно просторную листовку. Это абсолютно исключалось опрошенным Халдеевым, как и приставом, у которого были «проверенные глаза» в типографии. Вечером типография закрывалась самим Халдеевым. На ночь в ней оставался только слепой старик Мартыныч, прозванный «Дизелем» за то, что он был главным «двигателем», приводившим в движение большую афишную машину, вращая рукоять ее приводного колеса. Не мог же слепец, исполнявший обязанности и сторожа типографии,



набрать и напечатать листовку ночью. Это подозрение подняло бы на смех и усердного пристава в глазах его помощников.

Шрифты не были и украдены из типографии. При третьем скрупулезном сличении самим Халдеевым многие из дефектных литер набора листовки оказались на месте в ячейках наборных касс. Этого, правда, не сказал приставу владелец типографии Халдеев, потому что ему выгоднее было придерживаться версии похищения шрифта и выглядеть пострадавшим.

Киршбаум, Тихомиров, Кулемин, Матушкины и другие из глубокого подполья тоже терялись в догадках. Им было безынтересно и безразлично знать, кто еще работает рядом с ними.

И наконец все перестали, что называется, ломать голову. Не унимался Валерий Всеволодович Тихомиров, не желавший оставить тайну возникновения листовки неразгаданной. Она интересовала его и профессионально. Но главным образом хотелось знать: кто рядом? Не провокатор ли новейшей формации? Ожидать было можно всего. И он прибег к таким рассуждениям...

Листовку набирал профессиональный наборщик. Это видно по множеству деталей набора. Отступы, применение дефисов и длинных тире. Автором же листовки был человек, имеющий отношение к текстам духовного содержания. Им, конечно, не мог быть кто-то из духовенства и даже необычный для своей среды отец Петр, преподававший в школе, где учился Маврикий Толлин. Но автором не мог быть и светский человек, которому не должны быть известны особенности словесного изыска, свойственного только лицам, учившимся в духовных учебных заведениях, изучавшим риторику и упражнявшимся в ней.

Однако же автор, владея всем этим, был человеком малообразованным, потому что им допущены погрешности, изобличающие незнание синтаксиса, при всей стилистической изощренности. Кроме этого, автором был старый, во всяком случае, пожилой человек. Это видно из всего строя листовки, некоторой эпической ее повествовательности и некоторой напевности, не свойственной молодым людям.

Рассуждая так, Валерий Всеволодович приходит к убеждению, что написавший листовку не марксист и вообще не читавший

серьезных политических книг, но чувствующий классовым нутром направление удара. Следовательно, во всех случаях это рабочий или имевший отношение к заводам, потому что за каждой строкой стоит не нечто умозрительное, а пережитое, прочувствованное.

И далее — автор листовки мог быть и ее наборщиком, потому что некоторое выделение фраз нельзя было предусмотреть рукописным оригиналом и могло, и неминуемо могло, возникнуть, когда наборщик набирает «из головы» и сам создает текст своего набора. Об этом говорилось в университете на лекциях по криминалистике.

Так, распутывая узелок за узелком, исключая одно, опираясь на другое, сидя над листовкой в комнате мезонина тихомировского дома, Валерий Всеволодович приходит к заключению, что набор был сделан либо в темноте на ощупь, либо...

Либо слепым. Несколько букв, перевернутых вниз головой, несколько букв из других гарнитур того же кепля. Этого никак не мог не заметить и не устранить зрячий, просматривающий, пусть даже при малой освещенности, первый оттиск. Хотя бы при свете спички, где-то в темном уголке, в чулане всякий зрячий, ведший набор в темноте, обязательно должен был проверить набранное, чтобы не выпускать листовки с изъянами.

Значит, ее набирал человек, не имевший возможности прочитать оттиска.

Валерий Всеволодович спускается к отцу и спрашивает, не знает ли он, когда ослеп халдеевский Дизель Мартыныч и кем он работал прежде.

Всеволод Владимирович отрывается от чтения и, вспоминая, говорит:

— Кажется, он работал в синодальной типографии... И ослеп после какого-то отравления... А почему тебя это заинтересовало, Валерий?

Этот ответ обрадовал Валерия Всеволодовича, и он вдруг стал походить на мальчишку, на Маврика, решившего трудную задачу. Он едва не захлебывался от восторга.

— Папа! Эту листовку составил, набрал и отпечатал слепой Мартыныч... Папа, у революции больше друзей, чем мы думаем. Их много. Их очень много, папа. И не все из них знают, что они друзья! Зашеина, не сознавая того, борясь за правду, оказалась не по ту

сторону баррикад, а по эту. Правда всегда объективна, папа. И правда маленького Маврика, пострадавшего за рассказ Толстого. И пусть эта правда не осознана этими людьми, но подсказана им объективной оценкой жизни. Большевики видят меньше, чем слепой Мартыныч. Революция близка, папа. Ее ключи пробиваются всюду, и даже в Мильве, пораженной страшной из общественных болезней — мещанством и обывательщиной. Революция близка, верь мне, папа!

Всеволод Владимирович молчит, задумавшись в своем кресле. На какую революцию можно надеяться, если вот уже три года не может он уговорить образованных, более или менее просвещенных людей создать в Мильве свою мужскую политехническую прогимназию... Когда ему не удастся уговорить омутихинских мужиков взять на артельных, кооперативных началах, без уплаты за аренду его мельницу. Когда он еле-еле сумел добиться создания в деревянной, часто горящей Мильве дружины добровольного пожарного общества.

Не находя отклика у отца, Валерий Всеволодович прибег к перу и обратился к тому многоликому и неизвестному, которого мы в обиходе называем читатель.

Тихомиров и не предполагал, что мильвенская листовка подскажет ему большой разговор в партийной печати о том, какие резервы революционного подполья таятся в народе. Такими людьми бывают малодушные, не рискующие открыться другим и вынужденные скрывать свои убеждения, боясь быть отверженными в своем кругу. Например, отец Петр—законоучитель из земской школы — левый из левых. Но он, священник, не может сказать и невиннейшим либералом. А учитель рисования из женской гимназии Аркадий Викентьевич Грачев? Явный большевик по своим взглядам, но сторонящийся своих единомышленников. Разве он не резерв революции? Мало ли таких среди рабочих, замыкающихся в себе, боящихся сделать несчастной семью, обездолить детей, лишив их себя — поильца и кормильца престарелых родителей.

Статья «Скрытые резервы», рождавшаяся так неожиданно и для самого автора, касалась множества лиц, которых, организационно не вовлекая в подполье, можно было заставить действовать, как действовал Мартыныч. Тихомирову очень хотелось привести в своей статье пример с листовкой. Но это было невозможно. Это сразу навело бы на след, и был бы обнаружен не только Мартыныч, но и автор

статьи «Скрытые резервы». Валерий Всеволодович нашел аналогичные, придуманные, но реально возможные случаи, и статья вскоре была опубликована. Она, как и большинство из публикуемого Тихомировым под различными псевдонимами, вызвала живой отклик. Откликнулся на этот раз человек, в котором никак нельзя было заподозрить читателя большевистских газет. Это был владелец двух аптек и мыловаренного заведения — провизор Мерцаев.

### III

Аверкий Мерцаев в бытность аптекарским учеником мечтал стать факиром. Эта мечта не сбылась, но с нею он не расстался, и в зрелые годы он, отрастив длинную черную бороду, принимал все меры, чтобы походить на восточного мудреца, каких он встречал на страницах иллюстрированных бульварных романов. Факирство свое он применил всего лишь в фальсификации корня жизни, в приготовлении бурды из трав, продавая это тайно, помимо своей аптеки, стяжая не только деньги, но и славу тибетского целителя.

Второе увлечение, точнее говоря, мания Аверкия Трофимовича Мерцаева состояла в том, что бедняга мнил себя прирожденным сыщиком, прозорливцем и открывателем чужих тайн, чем он занимался с разным успехом. По этому поводу доктор Комаров острил, утверждая, что жгучий брюнет факир, женатый на черноволосейшей из всех черноволосых женщин, так и не знает до сих пор, почему его единственный сын Игорь оказался рыжим.

Прочитав статью «Скрытые резервы», доморощенный сыщик-любитель почувствовал в статье знакомые тихомировские интонации и словесные обороты. Где-то здесь нужно сказать, что чтение запрещенной литературы доставляло Мерцаеву особое удовольствие. Не принадлежа даже отдаленно к прогрессивно настроенным, он интересовался чуждым, непонятным революционным миром. В нем было что-то таинственно-факирское. Скрытые организации. Спрятанные типографии. Люди, живущие двойной жизнью. Убегающие с каторги. Неуличенные цареотступники. И вдруг он находит, открывает, разоблачает, и все спрашивают:

— Аверкий Трофимович, как же это вы могли? Это же непостижимо?..

А он:

— Это все пустяки, господа, пустяки... Я открыл истину просто так, между делами, изобретая новое лекарство.

Это была мечта. Сон. Честолюбивые фантазии. А теперь — явь! Он готов положить на плаху свою голову, ручаться всем движимым и недвижимым. Он открыл революционера.

«Аг-га! Наконец-то поймут, кем я рожден».

Долго горит свет в кабинете Мерцаева. На тридцати страницах собственноручно перебеливается тайный трактат о том, как была обнаружена подлинная личность господина Тихомирова В. В. И этот трактат будет переслан не куда-то, а самому губернатору, потому что невежественная полиция и недостаточно образованные жандармские чины не могут понять неуловимых тонкостей опознавания словесного почерка.

Мерцаев ничего не имел против Валерия Всеволодовича. И более того, к нему он был расположен и любил беседовать с ним. Но личные симпатии личными симпатиями, а дело делом. Разве Аверкий Трофимович плохо относится к прекрасным животным — лосям? Он восхищается ими, но, идучи на охоту и встречаясь с лосем... убивает его.

Отправив губернатору пакет за пятью печатями, Мерцаев, как истинный охотник, решил «проверить зверя», желая еще более убедиться в неоспоримости своего изумительного открытия. И он, встретившись с Валерием Всеволодовичем, показал ему статью «Скрытые резервы» и сказал, испытующе глядя в его глаза своими «факирскими» глазами:

— Такое словесное совершенство и такая риторическая неоспоримость, что я, читая эту статью, почувствовал себя скрытым резервом революционного подполья.

Валерий Всеволодович сумел сдержать себя и заставить свои глаза, что называется, не моргнуть.

— О чем вы, право, опять?.. И как это, право, вы можете в такую погоду читать какие-то скучные листки?

Это было сказано с таким естественным безразличием, что провизор почувствовал себя заблуждающимся дураком, как уже

косвенно называли его в губернии. Но так он чувствовал себя недолго.

Тихомиров же, как никогда, понял, что его участь предрешена. Его распознали. Он рассказал об этом старику Матушкину. Медлить было нельзя. На другой же день дочь Матушкина Варвара Емельяновна уехала в Пермь, чтобы узнать, как должен поступать теперь Тихомиров.

В тот день, когда Варвара Емельяновна Матушкина разговаривала с Бархатовым, пермский губернатор хохотал до кашля, читая трактат Мерцаева, удивляясь, как идиот в таком изумительно чистом виде, без признаков хотя бы первобытного разума, может вести аптечное дело, не путая сальные свечи с каплями датского короля.

Губернатор необыкновенно был доволен своим остроумием, считая себя самым умным человеком в губернии. Да и его подчиненные не могли позволить, чтобы какой-то мильвенский аптекарь поучал их, как нужно раскрывать врагов империи.

#### *IV*

В церковноприходской школе, как думали, Маврикий учился плохо потому, что там была отвратительная Манефа-урядничиха, но плохо учился он и в земской школе, где преподавала милейшая из милейших — Елена Емельяновна Матушкина, ожидавшая места словесницы в женской гимназии.

Герасим Петрович Непрелов объяснял неуспеваемость пасынка его избалованностью, изнеженностью, потворством Екатерины Матвеевны и вообще его обреченностью вырасти шалопаем-бездельником и почему-то «петрушкой». Отвратительный почерк Маврика был гарантией, что из него не получится даже делопроизводителя и, конечно уж, счетовода, бухгалтера, которые должны выводить цифирки, как печатные.

У Герасима Петровича был отличный почерк, и только по одному его почерку можно было безошибочно предположить, что этот человек отличного делового склада ума, — хотя он и не везде ладит с орфографией, зато его слова не расходятся с делом, а если и расходятся, то в лучшую сторону. Именно так и оценивал глава фирмы

«Пиво и воды» Иван Сергеевич Болдырев своего конторщика, успешно заменяющего больного доверенного мельвенского склада.

Екатерина Матвеевна считала, что на плохом учении Маврика сказались пережитые им потрясения.

Терентий Николаевич сказал:

— С годами все образуется...

Григорий Савельевич Киршбаум находил, что к Маврику нужен особый подход.

Елена Емельяновна терялась в догадках — как может плохо учиться способный и даже одаренный мальчик?

А учился Маврик плохо потому, что считал ненужным многое из того, что задают в школе.

— Зачем, ну зачем, Иль, — убеждал его Маврик, — учить наизусть рассказ или стихотворение, когда ты его прочитал и понял, когда ты его запомнил и можешь рассказать, о чем оно написано? Лучше в это время прочитать другой рассказ или другое хорошее стихотворение.

— Это само собой, — спорил Иль, — но некоторое нам нужно знать наизусть, навсегда, на всю жизнь, как имя друга, как себя...

— Например? — спросил в упор Маврик.

— Я не на экзамене...

— А зачем учить таблицу умножения? — возмущался Маврик. — Зачем? Если тебе понадобится узнать, сколько восемью восемь, то ведь можно посмотреть в задачнике.

— А если нет под руками задачника? — спорил Ильюша. — Тебе вот как, показывал он на горло, — нужно знать, сколько восемью восемь, тогда что? Если ты покупаешь для ребят восемь билетов по восемь копеек, как ты будешь знать, сколько нужно заплатить? Могут же обсчитать.

Маврик на это возражает:

— А если тебе нужно купить двенадцать билетов по двенадцать копеек, как ты будешь знать, сколько заплатить? В таблице же нет двенадцатью двенадцать? А если тебе нужно купить сто тридцать девять билетов по семьдесят три копейки? Ага! Попался. А тысячу сто пятьдесят три билета по сто девяносто три рубля...

Иль молчал. Он не находил возражений. А Маврик не молчал.

— И не обязательно знать, в каких словах пишется буква «ять». Валерий Всеволодович говорит, что это совсем лишняя буква, которая отнимает только время, и ее давно пора выбросить вместе с фитой, с ижицей, и с «и точкой»... И вообще, — добавляет от себя Маврик, — нужно выбросить половину букв. Кому нужны заглавные буквы?.. Если ты напишешь имя Санчик с маленькой буквы, так никто и не прочитает «поросенок». А можно и простые буквы выбросить и оставить одни заглавные. Пишутся же вывески только большими буквами, и все понимают. И вообще. — Маврик любил это слово. — И вообще, во втором и первом классе можно было выучиться за один год.

На уроках Маврик слушал только интересовавшее его, а когда начиналось повторение пройденного или таблица умножения в разбивку, Маврик уплывал на каком-нибудь волшебном корабле или на спине гуся-лебедя в далекие страны или думал о том, как хорошо было бы достать маленьких веселых человечков с карандаш ростом или чуть побольше. Лучше поменьше. Они могут ездить на курице. Это очень смешно.

— Над чем ты смеешься, Толлин? — слышится добрый голос Елены Емельяновны.

— Ни над чем, — вскакивая, отвечает Маврик и старается больше не думать о постороннем. Но постороннее само лезет в голову. Сам по себе приходит екатеринин день — тети Катины и бабушкины именины. Очень трудно не думать о них, когда соберутся все. Все-все! Три тети Лариных дочери. Три дяди Лешины девочки. Придет Санчик с Ильюшей. Краснобаевых едва ли разрешат приглашать. Все не усядутся за столом. Их можно позвать в другой раз. Запросто. Без рыбных пирогов и желе. Но что подарить тете Кате и бабушке? Бабушке можно подарить рисунок, а вот тете Кате?..

— Маврик! — говорит, положа руку на его плечо, севшая рядом с ним на парту Елена Емельяновна. — Урок давно уже кончился. И все ушли. О чем ты думал сейчас, мой дружок?

— Я?.. Обо всем. Хорошо бы... Хорошо бы, Елена Емельяновна, если бы не было зимы, — выдумывает он, — если бы в школе можно было учиться ночью. Во сне. Когда спишь. Спишь и учишься во сне. Семью семь — сорок семь.

— Сорок девять, — поправляет учительница.



— Все равно, — соглашается Маврик. — И время бы ночью не пропадало на разные сны, и днем бы не нужно его терять...

Елена Емельяновна крепко прижимает к себе Маврика. Если у нее будет сын, то пусть будет такой. Двоечник. Фантазер. Выдумщик. Но только такой.

— А ведь я вас тоже люблю, Елена Емельяновна, — прикидывается к ней Маврик. — Не больше, чем тетю Катю, но и не на очень меньше. На дважды два — четыре. А может быть, и на одиножды один... На один!.. И вообще, добавляет он, — Валерий Всеволодович Тихомиров для вас хорошая пара. Только его могут посадить в тюрьму... Но что же делать... Мой дедушка тоже сидел шесть дней.

У Елены Емельяновны холодеют руки, немеет язык. И она спрашивает:

— Ты знаешь, сколько тебе лет, Маврик?

— Мне? Я только на два года моложе Леры Тихомировой.

— А она-то тут при чем?

— Просто так, — неопределенно ответил Маврик и принялся укладывать в ранец свои книги, тетради, карандаши.

Елена Емельяновна долго еще сидела в классе после того, как ушел самый плохой и самый любимый ученик Маврикий Толлин.

## V

Екатеринин день в Мильве был шумным, пьяным, пляшущим, плачущим, провожальным днем горьких разлук любящих сердец и тягостных расставаний друзей. Это был последний день рекрутского набора, день призыва на тяжелую бесправную службу в армию муштры, жестокого произвола, мордобоя.

С утра плачут в екатеринин день осипшие еще вчера тальянки, двухрядки, венки и дедовские семиладки с колокольчиками. Ватагами ходят по заводским улицам новобранцы-«некруты» с товарищами, молоденькими женами, родней, соседями и просто досужими провожателями.

Через двойные рамы окон слышит Маврик истошные песни, женские причитания и пьяные выкрики. С Ходовой улицы тоже многим «забрили лоб». Уходит в солдаты младший брат Артемия

Гавриловича Кулемина — Павел. Жалко. Хороший молодой токарь. Приветливый. Молчаливый. Хотел жениться на старшей Санчиковой сестре — Жене. Ждал екатеринино дня. Надеялся, что не возьмут. Тогда была бы свадьба. И могли бы его не взять. Завод подавал какие-то «тихие» списки на «тороватых» мастеров из молодых. Их не брали. Находили непригодными к военной службе. И Павла, как «быстрого и точного» токаря, тоже хотели оставить, да не оставили. Нашлись почище. С деньгами. Сумели дать. А у кого есть деньги, тот все купит. И цеховое начальство, и волостную власть.

Жалко. Очень жалко. Прощай, Женечка Денисова. Она обещает ждать. Какое там «ждать»! Пусть уж одна молодость гибнет, а не две.

Рекрутский набор принимался как неизбежное зло, как неминуемая болезнь. Уж коли суждено переболеть в детстве корью или скарлатиной или быть лицу изъеденным оспой — никуда не денешься, как и от солдатчины. Царствовали изречения утешительного самообмана: «От судьбы не уйдешь», «Кому что написано на веку...» и так далее — добрая сотня пословиц, присловиц, поговорок, канонизированных «мудрыми».

Сегодня Маврик не пошел в школу. Предстояло много интересного с утра и до позднего вечера. Тетя Катя за себя и за прихварывающую бабушку отстояла обедню, получила первые поздравления «с днем ангела, с катерининым днем» и вернулась домой принимать «поздравителей» и визитеров.

Перебывало до десятка нищих, и, конечно, Санчикова бабка Митяиха, получившая, кроме специально для нее испеченного небольшого изюмного пирога, двугривенный. Просто нищим, из непривилегированных, давалось по две новенькие, блестящие, наменянные в казначействе копейки. Копейку за здоровье одной Екатерины и копейку — другой. Если же нищий или нищенка, благодаря за подавание, упоминали имя покойного Матвея — давалась еще копейка.

Побывала блаженненькая Марфенька-дурочка, пропевшая в юродивом пританцовывании озорной стих:

Катя, Катя, Катерина,  
Нарисована картина  
Не чернилом, не пером,

Из лоханки помелом.

Так как Марфенька-дурочка не понимала неучтливости смысла стиха и пела его как прославление имениннице, то ей тоже были даны две новенькие копеечки и особо — кусок горячего пирога.

Юродивых, блаженных, обиженных разумом в Мильве числилось до двух, а то и более дюжин. Такое количество «нетунайных людей» было заметным излишеством и для многонаселенного Мильвенского завода. Для него хватило бы вполне и одной дюжины. Правда, не все из блаженных, юродивых и обиженных разумом заслуживали находиться в этом разряде. Примыкали к ним и бездельники, юродствующие во имя тайного поклонения зеленому змию, были и не знавшие от рождения стыда девы, лишенные познания первородного греха и непрестанно ищущие познания его в наказание за родительские грехи.

Умные люди умели растолковать и находить велеречивые объяснения для каждого душевнобольного или притворяющегося им хитреца.

Тишенька Дударин не притворялся дурачком. Он был им. Но все же дурачком «себе на уме». Выкрикивая «вещие» слова, услышанные от других, а то и подсказанные другими, он привлекал к себе внимание и значился в разряде юродивых уже потому, что его способность бегать босиком по снегу в морозные дни поражала и самого доктора Комарова, не находившего этому объяснения.

В зашеинском доме и вообще в чьих бы то ни было домах Тишенька никогда не бывал и милостыни не собирал. А сегодня он, босой и продрогший, выглядевший более, чем всегда, долговязым, долгоногим, прибежал к Екатерине Матвеевне и принес на посеребренной тарелке очень большую, не менее полутора-двух фунтов, румяную просфору. Войдя на кухню, он принялся бормотать:

— Во весь роток свистит свисток... Обедать пора! Обедать пора! А великомученица-то... великомученица-то с небес сошла, в часовенку зашла... Слава тебе восподи-восподь, слава тебе... Изыди, архангел Михаил, тут мой каменный домик, моя кирпичная келейка... Изыди, изыди! — прокричал он и подал просфору.

Не взять просфору от блажененького Екатерина Матвеевна не могла, как не могла и принять ее, испеченную Дударихой, в доме которой теперь открыто жил ушедший на покой бывший кладбищенский поп.

— Спасибо. Поставь на стол, — сказала она Тишеньке и, не зная, чем отблагодарить его, вспомнив о старых подшитых валенках Матвея Романовича, лежавших в кладовке, сказала: — Подожди, я сейчас отблагодарю тебя!

Тишенька увидел через дверь Маврика и снова принялся «пророчествовать»:

— Иван-дудак в гробу сопрел... Непрелый Герасим на пиво сел...

— Хватит, Тишенька, — остановила его Екатерина Матвеевна. — Не от бога эти слова, а от злых языков. Это тебе от Матвея Романовича, — сказала она и подала подшитые валенки.

Тишенька тут же обулся в них и забормотал:

— Ногам тепло... голове холодно, — и убежал.

Через минуту он мчался босым по большому Кривулю и, размахивая валенками, кричал:

— Турчака-дурчака в валенки обувай... Архангела не обуешь...

Просфору бабушка Екатерина Семеновна отдала старому нищему, прибавив к ней медный пятак, и наказала ему:

— Молись о смягчении кары грешной души Михаила.

— Буду, матушка, буду, — понимающе ответил старик, опуская в кошель тяжелую милостыню.

В этот день была получена и другая просфора, посланная протоиереем Калужниковым с соборным диаконом, поздравившим обеих Екатерин и пригласившим их на открытие часовни, имеющее быть после свистка на обед. Им же было вручено «Житие великомученицы Екатерины», отпечатанное тем же шрифтом, что и листовка, которую все еще помнили в Мильве.

— Поучительное житие, доподлинно и специально перепечатанное для мирян в типографии господина Халдеева, — сообщил диакон, не преминувший и не смеющий отказать себе в откушании рыбного пирога, а равно испитии двух чарочек в честь двух именинниц и третьей для усиления голоса, который понадобится ему сегодня на молебне открытия Екатерининской часовни при

многочисленном стечении почитателей великомученицы и носящих имя ее.

Все шилось слишком белыми нитками, и это настораживало Екатерину Матвеевну, не искавшую славы, и особенно такой. В этом было что-то нарушающее основы веры и оскорбляющее великомученицу и носящую ее имя Екатерину Матвеевну. Но ведь она-то здесь ни при чем, и ей не следует ходить на открытие часовни, чтобы не дать пищу молве.

Это же подтвердил и Терентий Николаевич, появившийся испить свою чару и подарить низенькую скамеечку, на которой хорошо сидеть у топящейся печки.

И забежавший в обед Артемий Гаврилович Кулемин тоже одобрил решение Екатерины Матвеевны.

— И хорошо, что не пошли туда, — сказал он, — тем более что икона весьма и очень похожа на вашу фотографическую карточку ранней молодости. Конечно, — постарался смягчить он, — все девичьи лица имеют схожесть, и чего не надо искать, того нечего и выискивать. Но ведь могут найтись люди... И все же кто бы что бы ни говорил, а я скажу, что и отцу протоиерею приходится нынче кадить подумавши.

Большого он сказать не мог. Но и этого вполне хватило, чтобы впервые за всю жизнь Екатерина Матвеевна усомнилась в святости икон. Не всех, разумеется, а некоторых...

## VI

Не мудрствующие лукаво мильвенские старухи и старики, не умеющие молчать и там, где нужно бы, находили открытие Екатерининской часовни справедливым откупом за надругание треклятого попа Мишки, без обиняков назвали часовню в день ее открытия Зашеинской.

И ничто — ни время, ни люди не переименуют этой часовни. И даже в те годы, когда Мильва, став городом, получит новое имя и забудется старое название завода, а часовня станет будкой бюро пропусков, — все равно старики вахтеры будут рассказывать необычную историю о Зашеинской часовне.

Но это еще впереди, а пока в доме Зашеиных Санчикова мать и разбитная старуха Кумыниха управлялись на кухне, дожаривали, допекали последнее и готовили большой стол.

Первым из гостей появился Иля Киршбаум. Санчик не в счет. Он пришел прямо из школы. Иля торжественно внес коробку и еще более торжественно прочитал стихи собственного сочинения:

Тетя Катя, дорогая,  
Папа, мама, Фаня, я...  
С этим днем Вас поздравляем  
И желаем Вам счастья.

Если стихи идут от всего сердца, и неправильное ударение украшает их. Затем Иля поднес коробку и попросил ее тут же раскрыть. В ней оказался набор штемпелей с именем, отчеством и фамилией именинницы. Это были штемпеля для пакетов с обратным адресом, штемпеля разных размеров для писем и неизвестно для чего. Штемпель для поздравлений, круглая домовая печать. Штемпельная подушечка и флакон со штемпельной краской.

Штемпеля произвели огромное впечатление на Маврика, и они тут же были обновлены на листках тетрадей, на кромке скатерти, на обоях и на обложке восьмистраничной книжечки «Житие великомученицы Екатерины». Штемпеля будут поставлены в честь тети Кати на руки всем, кто пожелает из гостей, и обязательно трем тети Лариным девочкам и трем девочкам дяди Леши.

Себя три друга уже проштемпелевали круглыми печатями на груди и «экслибрисами» на руках. Получилось очень красиво. Как у моряков.

Собаке Мальчику, обросшему с осени длинной зимней шерстью, не представлялось возможным поставить штемпель, поэтому пришлось ограничиться подмалевыванием ему носика штемпельной краской. Однако же собака, не понимая оказанной ей чести, облизала свой нос, и от этого ее розовый язык, к общему ликованию друзей, стал темно-фиолетовым.

Какая прелесть!

Девочки появились засветло, не по трое, а сразу вшестером. В кухне послышался визг, чмокание, поздравления. Затем они, нарядные, разбуряченные, вошли в комнату и выразили единодушное желание проштемпелеваться.

— Что за вопрос? Какой тут может быть разговор, — заявила старшая дочь тети Лары гимназистка Алевтина. — Разве мы можем остаться непроштемпелеванными?

Она, как самая взрослая, а следовательно, и самая умная, попросила Маврика в честь тети Кати поставить ей круглую печать на коленную чашечку, что было и сделано.

— Там-то уж, под чулком, не сотрется и не смоеется, — радовался Иля, поддержанный Санчиком.

Правда, тот и другой не знали, как отнесется к этим штемпелям своих дочерей тетя Лара и как им придется смывать эти штемпеля горькими слезами... А пока все хорошо. Аля затевает очень интересную игру. В этой игре Маврик превращается в «некрута». Его почему-то опоясывают полотенцем. Нахлобучивают треух. Лихо. Набекрень. Аля запекает:

Последний нынешний денечек  
Гуляю с вами я, друзья.

И все девочки подхватывают:

А завтра рано, чуть светочек,  
Заплачет вся моя семья.

Заплачут братья, мои сестры,  
Заплачет мать и мой отец...

И все начинают плакать и причитать:

— Сыночек ты наш ненаглядный...

— Да куда же тебя угоняют...

— Да как же мы тут без тебя...

Игра разгорается. Громко, с модуляциями рыданий в голосе старшие девочки Клаша и Аля поют:

Еще заплачет дорогая,  
С которой шел я под венец...

И плачет, входя в роль, младшая девочка дяди Леша. Плачет настоящими слезами и называет Маврика другим, всем знакомым и близким именем:

— Павлик, мой Павлик, Павлушечка, как же я, как буду жить одна без тебя...

— Успокойся, Женечка Денисова, успокойся, — подыгрывает Аля. — Мало ли женихов в Мильвенском заводе...

— Нет, нет, нет... — кричит Надя, оказавшаяся Женей, Санчиковой сестрой. — Никогда и ни за кого я не пойду замуж. — Она вся в слезах просит: — Обними ты меня, Павлушенька, в этот последний нынешний денечек.

И Павлик-Маврик обнимает Надю. У него блестят глаза. Он сдерживается, чтобы не заплакать. А Санчик не может сдержаться. Слишком близка игра. Она повторяет то, что происходило дома так недавно. Надя, изображающая Женю, виснет на шее Маврика. Голосит. Визжит.

— Поиграйте во что-нибудь другое, — просит бабушка Екатерина Семеновна.

Как бы не так... Ее голоса никто не слышит. Потому что уже «коляска к дому подкатила, колеса о землю стучат», и староста стучит в окошко. «Готовьте сына своего», — говорит строкой песни повелительный голос Али. А хор ей отвечает новыми строками:

Крестьянский сын давно готовый,  
Семья вся замертво лежит...

И «замертво» лежат на ковре Таня, Клаша, Маруся и обе Нади. И Санчик, притворяясь рыдающим, рыдает на самом деле, валяясь на ковре.



— Фельдшера! Фельдшера! — кричит Ильюша и, повязавшись салфеткой, становится доктором Комаровым. — Я доктор Комаров! Скажите «а». А-а! — требует он и начинает приводить в чувство «замертво лежащую семью...».

— Теперь «Уж я золото хороню, хороню...», — предлагает бабушка новую игру, видя, что «Последний нынешний денечек» завел слишком далеко детей, живущих единой жизнью со взрослыми даже в своих играх.

Потом «хоронили золото», «сеяли ленок», играли в «Бояре молодые, да мы к вам пришли». Наступил вечер. Стали подходить взрослые гости. Детям остается съесть именинные пироги, выпить сладкие чай с вареньем, печеньем, с конфетами, а затем расходиться по домам.

Взрослые долго еще будут праздновать екатеринин день, обмениваться новостями, рассказывать о новой часовне, вспоминать о старых обидах и наконец тоже разойдутся. А завтра...

«А завтра рано, чуть светочек» новобранцы с тяжелыми головами побредут жиденькими цепочками по двадцать человек за санями с котомками через родные покосы, деревенские поля узкой дорожкой на далекую станцию, где им скомандуют:

— В две шеренги становись!

И начнется действительная служба, которая продолжится войной с Германией, названной впоследствии первой империалистической. Для многих, сложивших свои головы на этой войне, слова: «Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья» — будут не только лишь песенными строками.

Завтра же утром начнется военная биография одного из полководцев Красной Армии — Павла Гавриловича Кулемина. Но до этого должно пройти много лет и еще больше произойти событий.

А пока плачут гармоники на мильвенских улицах, плачет на душных полатах в маленькой избушке бедная Санчикова сестра — Женечка Денисова, разлученная со своим Павликом.

Штемпельная мастерская «Киршбаум и К°» процветала. Заказов оказалось куда больше, чем предполагал, чем хотел Григорий Савельевич и чем нужно было для его главной работы.

Григорий Киршбаум, имевший дело с подпольной печатью, убедился, что неизбежная громоздкость типографий и при малых размерах оборудования приводит нередко к провалу.

И в самом деле, как доказывал он товарищам в Перми и Екатеринбурге, всякая, даже маленькая типография должна иметь, кроме шрифтовых ящиков-касс, печатную машину. Пусть самую небольшую, но все равно листовок, это тюк бумаги, который нужно внести, а затем вынести, что всегда нелегко.

Подпольную литературу трудно перебрасывать на далекие расстояния. Это связано с риском и жертвами. Другое дело, если вся «типография» может быть спрятана в голенище сапога, в переплете книжки, за подкладкой дамской сумочки и где угодно, вплоть до пирога, в который ее можно запечь.

Киршбаум доказывал, что листовки должны печататься на месте их распространения, и при этом простейшим способом. А для этого нужно централизованно изготавливать каучуковые штемпель-стереотипы, которые легко пересылать, перевозить, переносить в самые отдаленные уголки страны. И даже маленькая подпольная группа, и даже один человек могут в лесу, в квартире, в купе вагона печатать листовку. Для этого необходимы всего лишь лоскуток сукна, пропитанный штемпельной краской, бумага и доска наподобие пресс-папье, на которую наклеивается штемпель-стереотип. А если применить простейший рычаг или пресс, то можно сравнительно быстро сделать многие сотни оттисков.

Григорий Киршбаум утверждал, что прокламация может быть очень маленькой по размеру и краткой по тексту. Кто мешает произвести множество штемпелей-призывов: «Долой самодержавие!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Боритесь за восьмичасовой рабочий день»... И такие штемпеля можно ставить на театральных афишах, на листах книг, выдаваемых в библиотеках, на кромках тканей, продаваемых в магазинах, на конвертах писем, на стенах домов и всюду, где представляется возможность подпольщику сделать отпечаток и остаться неуловимым.

Созданная уральцами штемпельная мастерская в Мильве была подчинена Казани. Придерживались проверенного принципа — дальше спрячешь, ближе найдешь, лучше сохранишь.

Казанские товарищи установили хорошую связь. Коммивояжер-экспедитор, обслуживающий земский писчебумажный склад в Мильве, поставлял некоторые мелочи для мастерской Киршбаума. Мало ли новинок в мире штемпелей и печатей? Почему не удружить приятному человеку Киршбауму и не заработать на нем лишнюю десятку? Так говорил он, объясняя свое посещение штемпельной мастерской. Экспедитор, будучи человеком оборотистым, всегда что-нибудь увозил из Мильвы. Теперь он увозил все то, что в предыдущий приезд было заказано Григорию Савельевичу.

Киршбаумы и не представляли, что они будут так довольны своей работой. Сбылось задуманное. Они отсюда, из далекой Мильвы, затерявшейся в лесах верхней Камы, рассказывают людям, живущим в Казани, в Самаре, в Нижнем Новгороде, в Саратове, в Царицыне, о самом главном, о том, как добыть счастье для всех людей.

Казань будет пересылать штемпеля и в южные города России. И там, где-нибудь в Феодосии, в Симферополе, будет печататься и читаться рожденное на Песчаной улице.

Штемпелей изготовлялось все больше и больше. Этим занималась Анна Семеновна. Пока дети были в школе, она набирала одну полоску, не превышающую размер листка школьной тетради. Сделав набор, она приступала к изготовлению прочной каолиновой матрицы, тотчас же разбирая набранную страничку брошюры, чтобы на случай неожиданного, хотя и никак не ожидаемого обыска, расплющить ладонью сырую матрицу.

И когда каолиновая матрица-форма затвердевала, можно было изготовлять самые штемпеля. Для этого нужно на подогретую матрицу положить лист сырой резины, затем зажать этот лист также нагретой крышкой пресса, вдавливающей резину в форму-матрицу, а затем ждать, когда сырая резина, «испекшись», станет штемпелем. Этот процесс вулканизации, хотя и не такой сложный, но и не такой скорый, был перенесен к Артемию Гавриловичу Кулемину, освоившему нехитрую науку в течение нескольких дней. Но и кулеминская баня тоже оказалась не очень подходящим местом для изготовления резиновых стереотипов. По предложению Валерия

Всеволодовича вулканизация была перенесена в надежнейшее место, на тихомировскую мельницу, куда был нанят сторожем слепой Дизель Мартыныч. Ему было сподручнее жить на заброшенной мельнице, ловить рыбу, что делал он не хуже зрячих, и получать от «енерала» Тихомирова десять рублей в месяц за то, что он живет на мельнице и кормит старого пса Голиафа, которому тоже нечего было сторожить, кроме висячего замка на дверях старого дома, служившего Тихомировым летом дачей и пустующего зимой.

Наняв Мартыныча и дав ему обжиться, Валерий Всеволодович познакомил его с человеком, имени которого слепой не знал, называя его просто мастером. Тихомиров сказал Мартынычу:

— Всякий, у кого есть свои тайны, умеет уважать чужие секреты.

— Это верно, — ответил Дизель, не допытываясь, о каких тайнах идет речь.

Когда же Валерий Всеволодович очень прозрачно намекнул, что тысячи и сотни тысяч листов, зовущих к правде, значат больше, чем одна, даже такая хорошая прокламация, которую ему довелось читать минувшей осенью и автора которой никогда и никто не найдет, Мартыныч на это ответил:

— Не худо ты, Всеволодыч, в темноте видишь. До тебя и слепому далеко. — А затем сказал прямо: — Помогу, чем только могу.

И как-то заскрипел снег. К лунке, где ловил рыбу Мартыныч, подошел человек, пожелал счастливого улова и принялся бить пешней свою лунку, затем как бы между прочим сказал:

— А я ведь тоже мастер из-подо льда окуней таскать...

Дизель понял, кто этот «мастер», и сказал:

— Коли мастер, так поучи.

Артемия Гавриловича Кулемина знали в Мильве как «ушибленного рыбой», как человека, для которого «и семь верст не околица ради десятка ершей, и мороз не препона отъявленному рыбаку». Поэтому ловля рыбы на Омутихинском пруду и появление в его избушке Мартыныча ни у кого не могли вызвать подозрения.

Три вулканизационных прессы по частям были перевезены в рыболовном ящике с полозьями, куда обычно мильвенцы складывали припасы, снасти, еду, а затем сидели на этом ящике подле лунки, пробитой во льду. В этом ящике будет увозить Артемий Кулемин на мельницу и каолиновые матрицы, а оттуда привозить

отвулканизированные стереотипы листовок, прокламаций, страниц будущих подпольных книжек.

Слепой ученик оказался на редкость переимчивым и обогнал своего учителя в умении «чувствовать нажим пресса» и в способности определять по запаху начало и конец вулканизации.

Киршбаум не верил удаче. Не верил тому, что есть. Уж очень как-то несерьезно и у всех на виду. Он искал сложностей, а они были в простоте. В хитрейшей простоте. Разве не этими словами следует назвать упаковку очередной партии стереотипов, уложенных в бадейку и залитых топленным маслом, которое в Мильве значительно дешевле, чем в Казани. И всем, даже самому глупому полицейскому ясно, зачем мелкий делец из земского склада увозит из Мильвы разные разности вплоть до мильвенской плотвы, засоленной под сосьвенскую селедку. Кажущаяся простота конспирации достигалась большой изобретательностью, напряженными поисками многих товарищей, и его в том числе. Киршбаум был счастлив. Началось из ничего и так недавно, а сделано уже так много.

Мартыныч тоже был по-своему счастлив. Читая и перечитывая на ощупь стереотипы, он прозревал. Оставаясь слепым, начинал видеть мир, залитый счастливым светом.

И если он сумеет прессовать эти резиновые пластинки всего лишь одну зиму, один месяц, а потом его арестуют, то все равно он скажет, что не зря прожил жизнь. Он помогал революции, которая будет и которая не может не быть.

## VIII

К елке готовились сдержанно. День ото дня хуже и хуже чувствовала себя бабушка Екатерина Семеновна Зашеина. Маврик подолгу просиживал возле ее постели.

На последней неделе перед рождеством, когда Терентий Николаевич привез и поставил в снег за окном большую пушистую пихту и бабушке стало гораздо лучше, она, усадив Маврика рядом с собой на низенькой кровати, доверительно и спокойно сказала:

— Пора уж, Маврушенька, мне к дедушке собираться.

— Почему же пора, бабушка? — спросил Маврик. — Тебе еще только семьдесят девять лет. И ты обещала пожить с нами еще четыре года, до дедушкиных до восьмидесяти трех годов.

— Так-то оно так, голубок, да не получается. К себе дедушка требует. Сегодня опять во сне приходил. Исхудалый такой, в неглаженной рубаше и ласковехонько так сказал: «Стосковался я, Катенька, без тебя, давай начинай подсобирываться».

— А ты что сказала ему, бабушка?

— А что я? За всю жизнь твоему дедушке поперечного слова не говаривала и тут не сказала. «Только, говорю, до весны-то уж не так долго ждать, Матвей. И Терентию, говорю, на Мертвой горе талую землю легче копать... А меня, говорю, по теплой поре больше народа проводит...»

— А он что, бабушка?

— А что он? Он как и ты... Что в голову войдет — вынь да положь. Не отступится. На хорошем у нас месте старая баня стояла, а ему вступило в голову передвигать ее... Я и пять перечесть не успела, а баня пошла-поехала на новое место. А зачем, спрашивается, ей на новом месте быть? Аршином дальше, аршином ближе — не все ли равно? Характер... Или жду-пожду твоего дедушку чай пить. Самовар на столе, шаньги горячие стынут, а деда нет. Потом является. Весь в глине, в песке. «Где, спрашиваю, ты, Матвей, в каком болоте себя увозил?» А он довольный такой, радостный: «Я Катенька, до свету встал, новый колодец начал рыть». «Зачем, говорю, Матвей, нам новый колодец? Этот-то, говорю, чем плох?» А он мне: «Вкуснее воду ищу». И вся недолга. Что вступит в голову твоему дедушке, — повторяет старушка, — колом не выбьешь.

— Это плохо, бабушка, — сокрушается Маврик.

— Хорошо ли, плохо ли, только ты таким же расти. Пять колодцев вырыл твой дедушка, а хорошую, вкусную воду нашел. И ты ищи ее. Не останавливайся, — наставляет Екатерина Семеновна внука и гладит своей сморщенной, исхудалой рукой.

Маврик не может согласиться с требованиями дедушки, ему хочется внушить бабушке, чтоб она отложила свой уход, искренне веря, что это зависит только от нее. И он убеждает:

— Ну право же, бабушка, ну чего же хорошего сидеть с дедушкой на облачке? Насидишься еще. Разве хуже тебе пить чай с горячими

талабанками, рассказывать сказки, ходить к обедне? Тетя Катя купила двух уток, большого гуся и будет к рождеству запекать окорок. Знаешь, какие будут вкусные корочки...

— Да как не знать, Маврушенька... Только отъела уж я их. Три зуба осталось. И плавное, рубаха там у него неглаженная...

— Ну неужели же, бабушка, надо умирать ради рубахи? — не соглашается внук. — Неужели там ему некому ее выпладить? Сколько там хороших знакомых, мильвенских покойников...

— Не в одной рубахе дело, Маврушенька. Рубаха что? Зовет он. Зовет меня...

Долго разговаривает Маврик со своей бабушкой, прося ее не покидать их, потому что тогда совсем пусто будет в доме.

Говорят они серьезно, рассудительно, будто речь идет не о конце жизни, не об уходе навсегда, а о поездке в Пермь или в другой город и будто эту поездку можно было отменить или перенести. Тем не менее бабушка соглашается подождать до весны. Ей значительно лучше.

Довольный своей победой Маврик возвращается к елочным игрушкам, клейке цепей, золочению орехов. Завтра елка будет внесена и установлена посередине большой комнаты. Через час она отойдет после мороза, согреется, и ее можно будет начать украшать. Три друга ждут этого завтра, которое называется сочельником. Но сочельник наступил не таким, как его представляли Маврик, Санчик, Иля. Дедушка Матвей Романович оказался настойчивее своего внука.

В сочельник вечером бабушку соборовали при стечении всей родни. Горели свечи. Соборовал отец Петр, самый уважаемый священник в Мильве.

Бабушка сидела на кровати со свечой в руках, в длинном белом, похожем на саван платье. Она уже была готова отойти.

— У мамочки начали чернеть ноги, — предупредила сестру Екатерина Матвеевна. — Не уходи, Люба.

После соборования остались только свои да Марфенька-дурочка. Все тихо расселись в большой комнате, где у стенки стояла новая крашенная крестовина для елки.

— Ну вот, — сказала Екатерина Семеновна, — посидим перед дорогой. С сухими глазами простимся. Слушайся папочку, — обратилась она к Маврику, слушайся, как родного отца. А вы, Герасим

Петрович, — перевела она взгляд на Непрелова, — не отличайте детей. Не дайте моим и дедовским косточкам почернеть против вас.

Герасим Петрович наклонил голову и тихо пообещал:

— Не дам, Екатерина Семеновна. Обещаю при всех.

— Ну и бог благословит тебя за это, Герасим Петрович. А ты, Катенька, — обратилась Екатерина Семеновна к дочери, — за дом не держись. Зачем он тебе одной? Стены — не память. Бревна, они есть бревна. Дерево. Но и кому нипопадя тоже не продавай. Чтобы мне ли, Матвею ли Романовичу в день своего ангела не совестно было в этом дому побывать.

— Ну зачем ты об этом, мамочка? — остановила старушку Екатерина Матвеевна.

— Обо всем надо не забыть. Вон уже сколько часов, — кивнула в угол, откуда послышался бой часов. — Долю выделишь Мавруше на учение, как было сказано его дедушкой. И зачем только кудри ему состригли, — сказала она, привлекая к себе стриженую голову внука. — Не ссорьтесь, дочери, без меня. А дорогого поминального обеда не надо затевать. А водочки-то купи. Без нее какие поминки. Да ведь и рождество... Люба, глянь в окно, зажглась ли первая сочельничья звезда.

— Много звезд, мамочка, — ответила Любовь Матвеевна. — Яркие звезды.

— Значит, родился уж, — кротко улыбаясь, сказала старушка. Дождалась. Открой, Катя, миску со святой водой. И положи меня на кровать. Не ссорьтесь тут без меня! — еще раз попросила Екатерина Семеновна, обращаясь ко всем, и махнула на прощание слабеющей рукой.

Как никогда, горько Екатерина Матвеевна осознавала свое женское одиночество, и почему-то сейчас она подумала об Иване Макаровиче Бархатове. И ей стало стыдно. Как могла она в такую минуту думать о нем?

Неторопливая смерть кротко смежала покорные старые веки Екатерины Семеновны. Дочери, чтобы не омрачить тихого ухода матери, сдерживали рыдания. Плач начался тотчас, как Марфенька-дурочка сказала, указывая на миску с водой, стоящую на столе:

— Смотрите, глядите, кунается в воде ее душенька...



Маврик этого не видел и не мог видеть, потому что он был простой, обыкновенный, а не блаженный. Марфенька же видела, как душа Екатерины Семеновны, трижды окунувшись в святой воде миски и этим смыв с себя все земное, подлетела к портрету Матвея Романовича и коснулась его лица, после чего Матвей Романович улыбнулся душе. Этого Маврик тоже не мог видеть по той же причине. Но что это было именно так, мальчик не сомневался.

## IX

В эту зиму не было елки у Маврика. А та, что доставил Терентий Николаевич, пошла на похоронную хвою. Обрубленные сучья были разбросаны вместе с другими привезенными из леса от зашеинского дома до кладбищенских ворот.

Траур по бабушке не позволил Маврику побывать и на других елках. Ему не запрещали этого, но ему было понятно и так, что в этом году неприлично скакать и петь по крайней мере сорок дней после смерти бабушки, которые он проживет у тети Кати.

Тетя Катя очень часто плакала по бабушке, и Маврику приходилось каждый раз утешать ее:

— Неужели ты, тетя Катя, не понимаешь, что ей там будет лучше с дедушкой? О чем же ты?

— Лучше-то лучше, — соглашалась тетя Катя, — но дома тоже неплохо было мамочке.

Это настораживало мальчика. В бога, в загробную жизнь он верил твердо и непреложно. Для него было ясно все, кроме разве одного, о чем он стеснялся спросить. А ему очень хотелось знать, в чем ходит бог-отец, когда он не в раю, а у себя дома. Неужели он, так же как отец Михаил, как отец протоиерей, тоже ходит в этих... в брюках. Это ужасно. Санчик говорит:

— Наверно, да. А в чем же ему ходить у себя дома?

Ильюша сказал:

— Откуда я знаю. Если хочешь, спрошу у папы или у отца Петра. Уж он-то знает.

— Нет, нет, нет, — запротестовал Маврик. — Дай слово, что ни у кого не будешь об этом спрашивать!

Преследуемый неотвязной мыслью, не любивший невыясненных вопросов, Маврик задал тете Кате обходной вопрос:

— Тетечка Катечка, как ты думаешь, что носят под низом архиереи, владыки... И вообще святые?

Екатерина Матвеевна не нашлась, как ответить племяннику. И она сказала, поразмыслив:

— У них под низом кружева, кружева, кружева и такой рюш с тюлевыми оборками.

Маврик больше не задавал тете Кате подобных вопросов. Он понял, что она этого не знает и сама.

Тягостно тянулись сорок дней большого траура, но не успели они кончиться, как пришло известие о смерти бабушки Толлиной. Начался второй траур, хотя и не такой строгий.

Хоронить ее никто не поехал. Письмо из богадельни пришло после того, как она была похоронена. Да и кто мог поехать? У мамы на руках маленькая Ириша, у тети Кати свое горе. Да и зимой из отрезанной Мильвы не так-то просто, а главное, недешево было поехать в Пермь.

В письме сообщалось, что оставшееся имущество после Пелагеи Ефимовны Толлиной передано монастырю, взявшему на себя расходы по похоронам. А о том, что в бабушкиной подушке были зашиты для Маврика деньги и эти деньги выпорола из подушки старуха Шептаева, кровать у которой была напротив бабушкиной, — об этом никто не знал.

По бабушке Толлиной тоже было заказано сорокадневное моление. Бабушка ведь... Хоть и строгая, но мать Маврикова отца.

Нехорошая была эта зима. Траурная. Снег и тот лежал какой-то черный. Говорят, что переменялся ветер и дул из Замильвья, от этого садилось много сажу из заводских труб.

Была этой зимой еще одна смерть. Умер Иван Иванович Дудаков. Маврику тоже пришлось быть на его похоронах, потому что Иван Иванович всегда угощал Маврика конфетами «Снежок». Отчим и мать Маврика также любили Ивана Ивановича и плакали у его гроба. Но в этих слезах, кроме горя, было что-то другое... А что, Маврик не хотел догадываться. Нельзя сказать, что ему было стыдно за мать, но как-то все-таки было неудобно, когда сразу же после похорон пришла телеграмма от хозяина фирмы «Пиво и воды». Болдырев сожалел о

смерти честнейшего человека Ивана Ивановича Дудакова и в этой же телеграмме назначил, согласно воле покойного, на его место господина Непрелова.

Жена Ивана Ивановича, как ни просили ее Мавриковы папа и мама, не хотела оставаться в старой квартире и сразу же после похорон начала продавать вещи, которые ей были не нужны. За некоторые вещи, например за буфет, за диван и за столы, она назначила дорого, и Любовь Матвеевна просила убавить цену.

— Зато, Любочка, — убеждала ее овдовевшая Дудакова, — все это в рассрочку на год, а то и на два. Торопить не буду.

Маврику эта торговля тоже не понравилась. Еще вчера она рыдала на кладбище, а сегодня не забывает спросить два рубля за портрет царя в золотой раме.

— Как он тут хорош! — говорит она, любуясь царем. — И ни за что бы не рассталась с ним. Но куда он, такой большой, в моей маленькой квартирке?

Герасиму Петровичу тоже не нужен портрет, но как он может сказать, что ему не нужен царь.

— Если бы за рубль, — говорит он. — Предстоят такие расходы... У нас ведь нет и посуды.

— Хорошо, — торгуется Дудакова, — пусть будет не по-вашему и не по-моему. Полтора рубля.

Герасим Петрович со вздохом соглашается. Царь остается. Он будет висеть тут целых шесть лет. Полтора рубля — это деньги. Правда, рама хорошая, но как можно в эту раму вставить другой портрет или другую картину взамен царя?

Дудакова через день освободила квартиру. Пришли Васильевна-Кумыниха, Санчикова мать и вымыли комнаты горячей водой с карболовой кислотой, чтобы не пахло покойным Иваном Ивановичем и ладаном. Запах карболовой кислоты убивает все запахи.

Длинная и узкая, как пенал, квартира стала квартирой нового доверенного Герасима Петровича Непрелова. Маврик там тоже получил хороший уголок с письменным столиком и полкой для книг. В квартире тепло и светло, но квартира чужая. Кухня в доме у тети Кати и та ближе, роднее, дороже.

Герасим Петрович, став доверенным, не мог ходить в форменной судейской тужурке, — хотя к ней теперь и были пришиты другие

пуговицы, но все равно. Теперь он не конторщик. Он будет получать семьдесят пять рублей в месяц при готовой квартире, при готовых дровах и освещении за счет фирмы, да еще особо по копейке с каждого проданного ведра пива и по три копейки с каждого ведра игристых фруктовых вод. Воды идут плохо. Их пьют только благородные и попы. А остальные предпочитают пиво. Вода — это газ, и ничего больше. А пиво — это и сытость. Оно хлебное.

Герасим Петрович теперь вполне может одеться в кредит у Куропаткина. Будет чем заплатить. И они с мамой идут покупать одежды, а ту, что нет в магазине, например длинный сюртук для визитов и для общественного собрания, можно заказать. Куропаткин шьет даже рясы, подрясники и форменное платье. У него пять швейных мастерских. Заказывай все, что хочешь, если ты кредитоспособный заказчик.

У Непреловых началась хорошая, счастливая пора жизни. Можно было бы объявить «среды» или «четверги», когда будут приходить гости, но год траурный. Придется повременить, хотя тетя Катя и говорит:

— Пожалуйста, Герасим Петрович, пожалуйста. Вы теперь лицо коммерческое, а мамочка вам не родная мать, и вас никто не осудит.

Но Герасим Петрович человек учтивый и осторожный, ему не хотелось быть в чем-нибудь неприятным Екатерине Матвеевне — безупречной во всех отношениях, разумеется кроме воспитания Маврика, которого она любит непростительно и пагубно — «чересчур»...

## ТРЕТЬЯ ГЛАВА

### I

Скрытая, кропотливая работа петербургских ищек, неустанное изучение дел сосланных большевиков, проверка и перепроверка круга их знакомств, разведывательная работа среди эмигрантов за границей позволили в уединенной тишине кабинетов политического сыска столицы, куда стекается множество сведений, на первый взгляд и не имеющих никакого отношения к слежке, распознать некоторые новые

следы. И один из них вел в Мильвенский завод, на Купеческую улицу, в дом Тихомировых.

Валерий Всеволодович Тихомиров, заподозренный в причастности к Пятой конференции Российской социал-демократической партии, происходившей два года тому назад, но не уличенный даже косвенно, был выслан из Петербурга в Мильву на срок, определенный ничего не определяющими словами «впредь до выяснения».

«Выяснения» показали, что находящийся под гласным надзором Тихомиров ведет себя безупречно, подозрительных знакомств не заводит, суждения имеет либеральные, но не представляющие большей опасности, чем суждения того же доктора Комарова и других господ, болтающих иногда о прибавке жалованья учителям и об открытии больниц для простого народа.

Донесения мильвенского пристава Вишневецкого подтверждались надежнейшими сообщениями двух тайных агентов, о существовании и работе которых в Мильве не знал пристав, так как они были подчинены непосредственно губернскому жандармскому управлению и проверяли деятельность даже самого господина Вишневецкого.

Оба агента добросовестнейше перечисляли всех знакомых Тихомирова, включая Ильюшу и Маврика, бывавших в тихомировском доме и любимых молодой женой Тихомирова — Еленой Емельяновной, урожденной Матушкиной. О мальчиках упоминалось в донесениях не по глупости агентов, а по прямому указанию наезжающего в Мильву резидента из губернии, сказавшего, что «и собака может быть связным коварных подрывников устоев империи». Поэтому, видимо, с тихомировской собаки Пальмы, одержимой весенними радостями и бегавшей по улицам, был снят ошейник. И если уж в собачьем ошейнике искалось крамольное, то почему бы не предположить, что смысленый Ильюша Киршбаум и обиженный кладбищенским попом Маврикий Толлин, принятые во многих домах, не могли быть использованы как связные, о чем мальчикам не обязательно знать. Отдай дяде имярек конверт с деньгами, да смотри не потеряй, не показывай, еще вытащат. Вот и тайная связь, когда связной не посвящается в тайну.

Окруженный редкостным вниманием двойного и даже тройного сыска (отец протоиерей тоже косвенно интересовался Валерием Всеволодовичем), Тихомиров аттестовался с самой хорошей стороны. И все шло к тому, что будут сняты ограничения в передвижении Тихомирова по империи и снова будет разрешено проживание в столичных городах, но Вишневецкий получил краткий приказ об усилении надзора за Тихомировым. А затем подробное разъяснение, в котором говорилось, какие вопросы и как нужно задать Тихомирову и о чем нужно было сообщить в течение ближайшей недели.

Ревностный пристав отправился к Тихомирову.

## II

— Христос воскрес, господа... Христос воскрес, ваше превосходительство! Христос воскрес, Варвара Николаевна! Христос воскрес, Валерий Всеволодович, — поздравил Вишневецкий всех и каждого по очереди из Тихомировых, произнося слова пасхального приветствия, как «здравия желаю».

Его провели, предложили сесть, а затем Валерий Всеволодович спросил, в чем он провинился и за что наказывает его Ростислав Робертович столь редким посещением.

— Я и сегодня не решился бы навестить вас, Валерий Всеволодович, если бы, во-первых, не особые обстоятельства и, во-вторых, не христианский и дворянский долг нанести праздничный визит.

— Полагаю, мы начнем разговор с «в-третьих». Рябиновой или шустовского с колоколом? — спросил Валерий Всеволодович, когда отец и мать, извинившись, удалились в соседнюю комнату, где нужно было продолжить с отцом протоиереем Калужниковым разговор об открытии мужской прогимназии.

— Я однолюб. Остаюсь верен все той же рябиновой.

— И я! — сказал Валерий Всеволодович, откупорив высокую коническую бутылку рябиновой. — Воистину воскрес, Ростислав Робертович.

Выпили стоя, не чокаясь.

— Шустов прославит себя в веках не коньяком, а, уверяю вас, рябиновой.

— И я такого же мнения, Ростислав Робертович! Мне иногда приходит в голову не где-то, а в нашем рябиновом краю создать хотя бы небольшое предприятие северных вин... Малиновых... рябиновых... черемуховых... можжевеловых... смородиновых... брусничных и... и даже березовых. И не смейтесь! — предупредил Валерий Всеволодович. — В этом есть национальный шарм, и я уверяю вас, Ростислав Робертович, не прошло бы и пяти лет, как прибыли фирмы «Северные вина» стали бы измеряться сотнями тысяч рублей.

— Вы серьезно, Валерий Всеволодович?

— Пока нет... Но если Чураков, Куропаткин и овдовевшая пароходчица Соскина согласятся образовать акционерное общество, я бы не задумываясь отдал ему все свои силы.

— И поселились бы здесь? В Мильве? А столица?

— Кто же мешает бывать там раз или два в году. Было бы на что. Но я человек реальный. Не мечтая о журавле в небе, я предпочту ограничиться небольшой молочной фермой в пойме Омутихи. Неподалеку от нашей мельницы, а может быть, и на месте ее.

— И давно вы одержимы этим, Валерий Всеволодович?

— С тех пор как женился. Впрочем, во мне давно, хотя и не знал, живет предприниматель. В самом деле, какой-то Киршбаум приезжает в Мильву с тремя засаленными трешницами, ему оказывают кредит портные, сапожники, часовые мастера, и он менее чем через год становится предпринимателем-буржуа, который угрожает вытеснить, а затем съесть малоприбыльную типографию вместе с господином Халдеевым. Почему же безвестный делец из Варшавы может стать обеспеченным человеком, а я, столбовой дворянин, внесенный в третью бархатную книгу, должен зависеть от подачек своего отца, обуреваемого либеральными прожектами создания политехнической гимназии, как будто Мильве мало городского училища и технического?

Пристав недоумевал:

— Что с вами произошло, Валерий Всеволодович?

— Ничего. Просто-напросто я недавно встретил на Омутихе обстоятельного человека. Герасима Петровича Непре-у лова. Нового

доверенного пивного склада. Очаровательнейшая личность и великолепный охотник. К сожалению, непьющ.

— И что же он?

— Он поразил меня. Оказывается, для начала достаточно тридцати хороших холмогорских коров... Лучше тагилок, чтобы открыть молочную ферму. Масло кружочками. Масло брусками. Масло с кислинкой. Масло со слезинкой. А затем сыр, а-ля голландский, а-ля швейцарский, а-ля — черт знает какой. Свой дом на опушке с видом на цветущий луг. Своя небольшая псарня... И конечно, пруд. Пруд тоже не безубыточный и... И десять... пусть пять тысяч годового дохода, и ты... И ты граф Омутихинский, герцог Примильвенский, кум королю, государев крестник.

— А идеи?

— Какие идеи?

— Возвышенные идеи общественного переустройства?

— А-а-а... — будто вспомнив, рассмеялся Тихомиров. — Идеи под старость. В папином возрасте, когда уже не нужно заботиться о хлебе насущном и о том, чем его намазывать, чтобы он не застревал в горле. Не правда ли, Ростислав Робертович?

— А я думал, что сегодня обрадую вас, Валерий Всеволодович.

— Хотели предложить несколько тысяч в кредит?

— Нет, что вы. Я хотел порадовать вас ожидаемым в скором времени снятием с меня попечения по надзору за вами и разрешением проживания вам, где только вы пожелаете, — нагло лгал Вишневецкий Тихомирову.

— Увы и ах! — сказал, разводя руками, Тихомиров. — Разрешение проживать, где я пожелаю, пригодилось бы мне при деньгах. Петербург — это деньги. Москва — деньги. Лондон — тем более, а Париж — это деньги в квадрате, в кубе, в сто двадцать четвертой степени. Пейте, Ростислав Робертович, и спуститесь на землю. Зачем нам с вами свобода, которой мы не можем воспользоваться? Мы сосланы с вами в Мильву не кем-то, а обстоятельствами... Обстоятельствами имущественного состояния... Еще год тому назад я хотел удрать за границу...

— Разве это так просто, Валерий Всеволодович?

— Это очень просто.

— Каким же образом?



— Самым обыкновенным. Выходите вы из дому. С ружьем. С собакой. Все думают, что вы отправились на охоту. А вы отправились во Францию. И идете все прямо, прямо на запад.

— А паспорт?

— У вас же ружье, Ростислав Робертович. Вы же всегда можете с его помощью попросить встречного одолжить вам на время его паспорт, пообещать по миновании надобности выслать его ценным заказным... Наконец, Ростислав Робертович, ваш урядник за сто рублей вам выкрадет отличный паспорт. Сто рублей — это пять коров. И в конце концов, могли бы и вы, как дворянин дворянину, оказать паспортную услугу так, что вас никто бы не мог уличить при самом пристрастном разбирательстве дела.

— И мог бы. И могу! Я никогда не был трусом. Я был и остался уланом.

— Знаю. Я же вижу сквозь этот надетый теми же обстоятельствами имущественной несостоятельности полицейский мундир вашу добрую душу. Попроси я сейчас у вас что угодно — и я получу. Но мне не надо. Не надо. Здесь есть хотя бы свой стол, за которым я могу сидеть, и своя бутылка, из которой я могу наливать... А там? Что ждет меня там? Благородное нищенство? Скитания? А во имя чего? Я не утопист. И если в России произойдут какие-то реформы, то не ранее чем при наших внуках. Наливайте, пожалуйста, без церемоний, Ростислав Робертович...

— Я уже опьянен вашими речами, — сказал пристав. — Зачем вы мне говорите все это? Не играем ли мы в прятки, дорогой Валерий Всеволодович?

— Наверно. Людям трудно говорить правду в лицо. Ну как скажу, например, я вам—лицу официальному, что не вы за мною должны следить, а я за вами. Вы же не можете простить личных обид, нанесенных вам в полку, и разжалования вас в рядовые? Вы же отлично понимаете, оставаясь наедине с самим собой, что при иных обстоятельствах вы могли бы занимать пост товарища министра. Но этого не случилось. А отчего, Ростислав Робертович?

— Я не знаю, — сказал ошарашенный пристав. Он изо всех сил хотел не верить Тихомирову, но не мог. Не мог, потому что все факты и агентура, не знавшая о разговоре пристава с Тихомировым, опровергали подозрения о побеге Тихомирова. Недавно Тихомиров

более двух часов провел у Герасима Петровича Непрелова, совещаясь с ним, как лучше и как дешевле прикупить десятин шестьдесят — семьдесят земельных угодий, прилегающих к мельнице на Омутихе. Тихомиров заботился и о деньгах. Он предлагал купцу Чуракову приобрести у него редчайшую коллекцию старинных пистолетов, которую начал собирать его дед, а отец подарил ему. Он побывал у нотариуса Шульгина и спрашивал его о ценах на землю и о возможных рассрочках платежей. Наконец, он из библиотеки города взял все книги, имеющие отношение к маслу, молоку, коровам.

И то, в чем теперь был совершенно убежден пристав, и в малой доле не поколебало жандармское управление. Но...

Но необычная история провала Тихомирова стоит того, чтобы мы знали о ней подробнее.

### III

Нелегальная политическая литература, обнаруженная властями, обычно уничтожалась, кроме тех немногих экземпляров, которые нужны были как улики для следствия и как материал для выяснения авторов.

Среди таких неопознанных авторов листовок, статей, брошюр был некто, прозванный в политическом сыске «ядовитый златоуст», «неуязвимый трубадур». Написанное им проверщиками текстов узнавалось довольно быстро. Он не только не стремился изменять манеру своего письма, что делали иногда другие, а, наоборот, будто бравировал своей простотой, выразительностью фраз, выбором точнейших и острейших слов. По мнению большинства, этот «ядовитый златоуст» находился за границей. Политический анализ утверждал, что этот большевик близко знает Ленина.

Другие деятели столичной охраны утверждали, что «неуязвимый трубадур» очень даже уязвим, потому что эта ядовитая змея живет в Казани или поблизости от нее. К этому прилагались доказательства — листовки, отпечатанные штемпельным способом, явно написанные тем же лицом, кого в сыскном деле считают эмигрантом.

За штемпельными мастерскими Казани началась слежка. Следили за штемпельщиками и в Самаре, Саратове, Царицыне,

Харькове. Если б знал Григорий Киршбаум, сколько хлопот причиняют жандармам его штемпеля!

Обнаруженные в Одесском порту штемпельные листовки, а затем один из штемпелей, изготовленный на Омутихинской мельнице Мартынычем, дали повод предположить, что поиски нужно перенести в Турцию. «Трубадура» стали искать в Константинополе. Обещали награды частным сыщикам. Успехов не было. А «ядовитый златоуст» день ото дня становился опаснее. Написанное им пересказывалось, перечитывалось, запоминалось, ходило в списках. Это была лаконичная, пламенная, неотразимая пропаганда, производившая впечатление и на тех, кто, служа царю, поддавался сомнениям.

Дело росло и запутывалось. Оно, наверно, запуталось бы окончательно, если бы не пришел предательский пакет из канцелярии его императорского величества.

Оказалось, провизор Аверкий Трофимович Мерцаев, оскорбленный тем, что губернатор не соизволил заметить его трактат о Тихомирове, и верящий в свой гений сыщика, пожаловался, как принято было выражаться, на высочайшее.

Образованные и высокопоставленные жандармы Санкт-Петербурга не только прочли со вниманием еще раз собственноручно перебеленный провизорский трактат, но и все, что можно было добыть из написанного Валерием Всеволодовичем. В частности, был прочитан его студенческий реферат «Защита и обвинение», подшитый к следственному делу.

Подозрения подтвердились, утверждения не требовали дальнейших доказательств. Литературный почерк, манера письма, авторский стиль выдали с головой Валерия Всеволодовича.

Теперь все ясно. Нетерпеливый следователь торопит арест Тихомирова. С каким блеском будет предъявлено арестованному обвинение. С какой неоспоримостью он докажет, как бессмысленно отрицать лексическую схожесть текстов... Затем суд... Каторга... Награждение следователя... Благодарность провинциальному аптекарю...

Все это так бы и было, если бы подобные дела решал только следователь. «Борзые» и «легалые» повыше решили, что торопиться с арестом не следует, так как всякому ясно, что Тихомиров не один. Через кого-то и кому-то им пересылались рукописи листовок и

брошюр. А через кого? Кто и где его сообщники? В Казани? В Одессе? В Самаре? В Москве? Это же необходимо узнать, нужно усиленно и умно следить.

Однако слежка не дала никаких результатов. И даже напротив осложнила дело. В печати более не появлялась ни одна тихомировская статья. Ни одна листовка. Как отрезало.

Неужели его кто-то предупредил? Кто-то выдал тайну? Такое случилось в жандармских кругах. Все, что сколько-нибудь стоит, может быть продано.

А Тихомирова вторично насторожил тот же Мерцаев. Если в первый раз его разговор о статье «Скрытые резервы» можно было объяснить простым совпадением, излишне мнительностью Тихомирова, тем более что потом было все тихо и благополучно, то теперь этого сказать было нельзя.

Мерцаев, получив через губернского чиновника, побывавшего в Мильве, секретную благодарность из Петербурга, поделился этой радостью с женой. Правда, он попросил ее поклясться перед иконой до того, как он сообщил ей, что его наконец-то удостоили чести быть тайным сыщиком империи. Жена Мерцаева не выдала этой тайны жене доктора Комарова просто так. Она заставила Конкордию Павловну тоже поклясться перед иконой и только после этого сообщила, что Тихомиров кандидат на каторгу.

Конкордия Павловна, принадлежа к независимым, передовым, прогрессивным и еще каким-то, не стала заставлять Валерия Всеволодовича клясться перед иконой. Она рассказала все и посоветовала бежать.

Матушкин и Кулемин сообщили через Бархатова о положении дел. А Бархатов тем временем получил решение о переброске Тихомирова за границу. Оставлять далее его в России — значило потерять талантливого пропагандиста, заметного партийного публициста. При переезде за границу партия сохраняла своего верного трибуна. Теперь оставалось только осуществить побег.

Выполнение решения было поручено Ивану Макаровичу Бархатову, благополучная сапожная мастерская которого доживала последние дни. Туда повадились подозрительные клиенты. Зоркий Иван Макарович, имевший дело с петербургскими мастерами слежки, стал жаловаться шпикам на малые доходы и большие расходы.

Готовясь к отъезду в Мильву, он говорил, что Пермь дорогой город и что он отправится искать свое сапожное счастье в тихие места.

Мастерская была закрыта. Явка перенесена. Иван Макарович для отвода глаз ездил в Чусовую, в Пашию, в Кушву, но нигде пока не приглядел для себя места.

Наконец прошел камский лед, и можно было отправляться в Мильву.

#### IV

Еще вчера, перед отъездом в Мильву, казалось, что все обстоит очень хорошо. Филеры оставили Ивана Макаровича, а сегодня, на пристани, он почувствовал на себе чужие глаза.

Иван Макарович не знал, что жандармам известно о готовящемся побеге Тихомирова. Хотя донесения об этом были расплывчаты и в них не указывалось подробностей и фамилии связного, все же было сказано, что некто поедет в Мильвенский завод с первым парходом.

Спрашивается, можно ли было пренебречь сапожником Бархатовым, числившимся в подозрительных, когда он купил билет до Мильвенской пристани?

На парходе к нему пристал молодчик, сказавшийся приказчиком из Ирбита, которого якобы прогнал хозяин магазина. Поэтому прогнанному ничего не остается, как искать нового хозяина, а пока он не найдется — выпивать и закусывать.

Спешащий признаться в неблагоприятных поступках приказчик не мог не вызвать подозрения Ивана Макаровича, и он, желая проверить, что это за «приказчик», не отказался пообедать с ним на парходе.

— А вы куда, ваша честь, изволите ехать? — спросил приказчик.

— Не знаю, — ответил Иван Макарович. — Может быть, сойду в Чермозе, а может быть, проеду в Чердынь. А вы?

Приказчик не ждал такого вопроса. И он сказал:

— Я тоже не знаю.

— Значит, нам по пути? Вы ищете магазин, а я ищу, где можно будет открыть мастерскую по мелкому сапожному ремонту. Говорят, что в Пожве на этот счет рай.

— Ну, коли рай, — сказал деланно заплетающимся языком приказчик, поедем вместе. Я приплачу к билету, и вся недолга?

— А докуда у вас взят билет, уважаемый?

Приказчик сделал вид, что не расслышал вопроса. Тогда Иван Макарович повторил его, и приказчик ответил:

— А я спьяна и не посмотрел. Сказал — вверх по Каме — и подал деньги. Где захочу, там и сойду. Понравится место, и сойду.

Подозрения оправдывались. Они оправдывались тем более, что приказчик и ночью появлялся на палубе, не пропуская ни одной пристани. Значит, не пропустит и Мильвы. И Бархатов не ошибся. Камская пристань Мильвы была утром. Приказчик появился на палубе и сделал вид, что не заметил Бархатова. А Бархатов был уверен, что он тоже сойдет вместе с ним. А этого не случилось. В его задачу не входило следовать по пятам за Бархатовым. Вместо него на пристани сошел другой. Вот он-то и пойдет по следу Бархатова. А «приказчику» всего-навсего нужно было проверить, не проспал ли, не проглядел ли агент, приставленный к Бархатову.

Молодой и подающий надежды следователь жандармского управления Саженцев, хотя неуклюже, но бесполезно притворявшийся приказчиком, теперь был окончательно убежден, что Бархатов едет для встречи с Тихомировым и везет ему все необходимое для побега. И он почти не ошибался, если не считать, что Иван Макарович Бархатов, прошедший хорошую школу подполья, не вез при себе ничего. Это было бы слишком опрометчиво для него. Теперь, после встречи с «приказчиком», Бархатов еще раз убедился, как правильно поступили он и его товарищи, отправляя в Мильву двоих. Второй никак не мог быть заподозрен, и его не посмели бы даже обыскать.

Но и следователь не так прост и легкомыслен. Он не оставит на попечение агента преследуемого Бархатова, он застанет его на месте преступления в доме Тихомировых и тотчас допросит с уликами в руках. Поэтому он сойдет с парохода двумя-тремя верстами выше. За поворотом реки. Капитан парохода не сумеет отказать ему, чиновнику особых поручений при губернаторе (у него есть и такие документы), в просьбе остановить пароход и высадить его на лодке, у первой деревни. А там староста деревни предоставит ему лошадь.

Игра стоит свеч. Семь — десять лишних верст — не околица.

Несколько часов тому назад, ранним утром, на Камской пристани Мильвы, где живы руины заброшенной доменной печи, сошло человек пятнадцать. Среди них — две барыньки в шляпках с полинявшими коленкоровыми цветами, торговец, рабочий, крестьянин, студент, чиновник, монах с опечатанной красной сургучной печатью кружкой, подвыпивший полицейский, пильщик с продольной пилой, подслеповатенький старичок с перевязанной щекой, кто-то еще и Бархатов.

Теперь у Бархатова — единственный вопрос: следят ли за ним и кто следит?

Приехавших на пристани окружили мужики в лаптях, мильвенские рабочие, промышленяющие между сменами извозом. Все они предлагали свои услуги:

— Домчим-довезем, ястребком порхнем!

— Тише-то едешь, дальше будешь, — убеждал крестьянин с кнутом в синем зипуне. — На простой-то телеге способнее. Полтинник с двоих.

— Ежели позволите? — обратился к Ивану Макаровичу старичок с перевязанной щекой. — В складчину составить компанию. Одному-то дорого.

Бархатов решил идти пешком. Если кто-то следит за ним, то он тоже будет вынужден идти пешком и этим обнаружит себя. Пешему можно свернуть, остановиться, сделать крюк по лесу, по берегу речки и затеряться.

— Да зачем же в такое утро ехать на лошади? Тут же рукой подать.

— Совершенно справедливо, ваше степенство, — поддержал Бархатова подвыпивший пообносившийся полицейский. — И пообдует на горе. А если не пообдует, можно добавить. При мне сороковочка. Р-раз — и с добрым утром. Пошли, — предложил он. — За мной как за каменной стеной.

— Да уж с вами беспокоиться нечего, — отозвался, улыбаясь, Бархатов, — не ограбят.

— Пила окаянная тяжела, — пожаловался пильщик, — а то бы я тоже пешочком.

— А у меня багаж легкий, — опять заговорил старичок с перевязанной щекой. — Пожалуй, и я пешком. А полтинник внучаткам на пряники. Мне ведь еще за Мильву верст двадцать пять.

Теперь Бархатову хотелось знать, кто из них идет впервые в Мильву, и он спросил:

— А кто будет проводником? Кому известна дорога?

— Я, — откликнулся студент. — Знаю кратчайшее направление.

— Вы здешний? — спросил Бархатов студента.

— Почти, — ответил студент. — Я бывал здесь не один раз на каникулах. И теперь возвращаюсь сюда, как в родные палестины.

— Ясно, — сказал Бархатов. — Тогда ведите короткой тропой.

Багаж давно не брившегося студента состоял из одного заплечного мешка и связки книг.

— Тронулись, господа! — скомандовал он и принялся объяснять, как гид: — Сейчас нам предстоит одолеть пять или шесть петель чудесной горной дороги, которая вознаградит нас изумительным ландшафтом. С этого крутого берега мы увидим неоглядные камские просторы... Вон видите, — указал студент на черную палочку, торчащую на кромке высокого плинистого берега, — долгоногий монах уже наслаждается зрелищем.

Бархатов шел последним, оценивая каждого из приставших к нему спутников. Всякий преследуемый в каждом встречном и тем более следующем за ним видит преследователя.

Кто же из них следит за ним?

Может быть, словоохотливый студент с полинявшими от времени петлицами тужурки? Таких подсылают. Но студент приехал ночью на другом пароходе, проспав до рассвета на пристани. Его, пожалуй, нужно исключить.

А полицейский? Едва ли. Слишком уж откровенный прием слежки. А впрочем, бывает и так.

Мог им быть и странный пильщик, отправившийся на поиски работы без напарника. Это ненормально. Однако пильщику можно бы и не сокрушаться, найдет ли он второго, а сказать мимоходом, что второй его ожидает в Мильве. И тем не менее пильщика тоже нельзя исключить из подозреваемых, потому что слежка за последние годы



усложняет свои методы. Не следует исключать из поля зрения и старичка, похожего на заштатного архивариуса.

Пока поднимались в гору, все молчали. Поднявшись же, заговорили.

— А я, — объявил пильщик, — сразу же на базар. Сегодня пятница. К обеду на площади будет черным-черно. Понаедут из дальних деревень. А в субботу еще того гуще. Была бы пила, а к пиле руки найдутся.

— Это уж так точно, — сказал полицейский. — А я к сыну. Не ждет. А внук ждет. Семь лет мальчику. И такой, такой, я вам скажу, отчаянный мальчугашечка... одним словом, арестант-забастовщик, золотая рота... А из себя ангелок. В дочь.

— Любите внука? — спросил Бархатов.

— А кто их не любит, ваше степенство! Агнцы же они. Агнцы господни, сказал полицейский и перекрестился на монаха, стоящего поодаль на кромке берега. — Теперь-то уж я по чистой в отставку вышел. Сколько лет отбарабанил, ваше степенство. Нелегка была моя служба в полиции, ох нелегка. Пристав, бывало, чай-ликеры распивает, а ты мерзни, дежурь, карауль... А разве их укараулишь всех, когда неизвестно, что в голове у родной дочери. Хоть бы и вас, ваше степенство, взять. Как я могу знать, что там делается, — полицейский ткнул пальцем в свою грудь, — когда я сам за себя ручаться не могу?

— И давно вы так? — спросил с сочувственной иронией студент, предлагая всем и полицейскому тоненькие, собственной набивки папиросы.

— Недавно, господин студент, — ответил, закуривая, полицейский. — После угона брата.

— А куда его угнали? — снова спросил студент.

— Туда, — ответил полицейский, указывая на солнце, поднявшееся над лесом.

— А кто был ваш брат? — спросил Иван Макарович.

— Хороший человек. В Лысьве литейщиком работал.

— Бывает, — послышался болезненный голос старичка. — Всякое бывает. Нынче никого не милуют.

Наступило неловкое молчание. Бархатову стало жаль полицейского, у которого вдруг навернулась слеза. «Бывает, всякое

бывает», — повторилось в голове Ивана Макаровича.

— И вас за это отставили?

— Да нет, — сказал полицейский. — Годы вышли. Кому нужен старый пес? Поживу сколько-то у дочери, а потом, может быть, и... — Он посмотрел снова на монаха и неопределенно сказал: — Махну куда глаза глядят. Может, в тихую обитель, грехи замаливать.

— М-да, худо быть в больших годах, — прошамкал старичок и обратился к студенту: — А вы к кому изволите в Мильву?

— К Тихомирову. Слыхали такую фамилию?

— Это к какому же такому Тихомирову? Из купцов? — спросил старичок.

— Совершенно верно, — сказал, расхохотавшись, студент. — У его отца лабаз со щепными товарами, ворванью, смолой и дегтем, а у сына скупка и продажа носильных вещей. Значит, вы не из Мильвы, если вам неизвестны Тихомировы.

— Я лет двадцать не был там.

— Все равно. А вы тоже впервые? — спросил студент Бархатова.

— Да-а, — сказал он. — Там у меня ни родных, ни знакомых, если не считать одного девятилетнего школьника. К нему-то я и заеду, а потом уже займусь своими делами.

Далее Бархатов подробно развил старую версию о желании открыть мастерскую мелкого ремонта обуви, объяснил, почему он решил оставить Пермь, и не преминул рассказать о своих дальнейших намерениях, так как он теперь был уверен, что один, а то и двое из слушающих его хотят знать подробнее:

— Если в Мильве нашего брата достаточно, поеду попытать счастья в Пожву, в Чердынь, а то и дальше...

## VI

Все слушали Бархатова с одинаковым интересом, и ни один ничем не выдал себя, только старичок спросил:

— А что же вы без инструмента?

— Мой инструмент — молоток да шило. Они при мне. Если угодно, подлатаю на ходу.

Солнце стремительно подымалось. Студент предложил трогаться. Все поднялись.

— Ой! — тихо простонал Иван Макарович. — Опять, кажется, правая нога.

— Что такое? — забеспокоился студент.

— Может, водочкой натереть? — предложил полицейский.

— Да нет. Пройдет. Часок посидишь, и проходит. Что-то вроде ревматизма. Идите, — попросил Бархатов. — Не сидеть же вам тут со мной. Случается, и два часа мучит, а потом как рукой снимет.

Бархатов придумал эту новую проверку, чтобы выяснить, кто с ним останется.

Студент сказал, что по жаре ему будет трудно идти, затем, попросив извинения, посоветовал Бархатову не экономить полтинник и воспользоваться попутной лошастью.

— А мне непременно надо быть на базаре, — сказал пильщик.

— И я по жаре не ходок, — объяснил свой уход полицейский.

— Что и говорить, что и говорить, у каждого свое дело, — сказал сочувственно старичок. — А мне торопиться некуда. Вы меня на пристани не бросили, — обратился он к Бархатову, — и я вас не брошу.

«Неужели он?» — подумал Бархатов.

Нелюдимый молодой монах с жиденькой бородкой тоже поплелся за ушедшими, постукивая о сухую дорогу посохом.

Иван Макарович, не просидев и полчаса, сказал старичку про ногу:

— Опять как новенькая. Я готов.

И они пошли. Старичок ничем не проявлял своего интереса к Ивану Макаровичу. Они шли молча и только на мосту, нагнав монаха, любующегося резвящейся рыбой, старичок заметил:

— Опять он тут? И что ему нужно от нас?

— А что ему может быть нужно от нас? — насторожился Иван Макарович. Мы сами по себе. Он сам по себе.

— Это безусловно, и тем не менее меня всегда берет сомнение, ежели не отстает незнакомый человек, хоть бы и монах.

Тогда Бархатов попробовал прощупать старичка прямее.

— А меня не берет сомнение, ежели, — повторил он его слова, — от меня не отстает незнакомый человек. Хоть бы вы. Я же не знаю

вашего имени, фамилии, ни кто вы.

— А я не таюсь от вас, — ответил, заметно смутившись, старичок. Могу не толи что себя назвать, и паспорт... Вот он, пожалуйста.

— Да что я, проверщик какой? Я же к слову... Вы о монахе, а я о вас. Привык, знаете ли, хорошо думать о людях...

В это время они проходили по мосту. Перегнувшись через перила, монах бросал рыбам сухарики и тихо напевал:

Афон-гора, гора святая...

За мостом начались заводские покосы, медленный подъем на Мертвую гору. Бархатов и старик снова пошли молча. Поднявшись на гору и увидев Мильву, старичок спросил:

— А нельзя у ваших знакомых часок-другой обидеться с дороги?

Бархатов решительно отказал:

— Я и сам не знаю, могу ли воспользоваться их гостеприимством. И к тому же я прежде отправляюсь на базар, а потом уже к Зашейным...

— К кому-с?

— К Зашейным, — повторил Бархатов. — Ходовая улица, дом девять...

— Адрес мне ни к чему. Я же так просто спросил.

— И я просто, — сказал Бархатов. — Н-ну... простимся тут... Бывайте...

— Куда же вы?

— Хочу зайти с устатку. — Иван Макарович указал на окраинную пивную с вывеской «Пиво и воды товарищества Болдыревых».

— И я, пожалуй...

— Не советую. Берегите деньги внукам на пряники.

— И то, — согласился старичок, но не отставал от Бархатова. Дождался его у пивной.

По улице прошел монах с кружкой. Он шел, пыля по дороге.

— Опять роковая встреча, — сказал, выходя из пивной, Бархатов. — И вы и он. Пошли тогда на базар.

И старичок поплелся за Бархатовым, а монах, гундося себе под нос все ту же «Афон-гору, гору святую», прошел мимо, никого не видя, не обращая внимания на дома, на встречных, на широкую Купеческую улицу.

На базаре в торговом ряду Бархатов добросовестно стал заходить в сапожные лавки, приценяться, спрашивать, как идет сапожный товар, много ли мастерских по чинке обуви, принимая все меры, чтобы измотать старичка, затеряться, а потом решить, как себя вести дальше.

Было ясно, что ему не придется воспользоваться ни одним из адресов мильвенских подпольщиков. У него не вылетит пломба, и он не пойдет к зубному врачу Матушкиной. Не будет рисковать он появлением в штемпельной мастерской Киришбаума, где в базарные дни бывает множество разного народа. Нельзя рисковать. За ним следят.

## VII

— А к нам кто-то приехал, — сообщила Екатерина Матвеевна вернувшемуся из школы Маврику. Он вторую неделю жил у тетки.

— Кто?

— Угадай!

Маврик вбежал в большую комнату и увидел сидящего за столом мужчину в темном пиджаке с коротко стриженной русой бородкой и остановился, не узнав своего пермского друга сапожника Ивана Макаровича. Но когда он улыбнулся, Маврик взвизгнул и бросился к Бархатову.

— Как вы здесь очутились, Иван Макарович?

— Соскучился по тебе. Ты же приглашал...

— Нет, я серьезно...

— И я серьезно. Ты вырос, бараша. Ну, рассказывай, как живешь? — спросил Иван Макарович, усадив Маврика к себе на колени. — Кое-что о тебе я уже слышал и даже читал в «Губернских ведомостях». Молодец. И не могло быть иначе. Я же знал, с кем вожу дружбу.

Пока так говорил Бархатов, лаская мальчика, Екатерина Матвеевна думала о Герасиме Петровиче, и опять невольно сравнивала его с этим чужим человеком, которому доставляет неподдельную радость встреча с ее племянником.

А Маврик думал, как было бы хорошо, если бы Иван Макарович поселился в тети Катином доме. Сначала бы так просто... А потом бы тетя Катя узнала, какой он хороший, как ему скучно жить одному, и, может быть, согласилась стать его женой? А уж он-то захочет. Маврику стоит только попросить его, и он захочет.

А почему бы им не стать мужем и женой? Ведь его второй папа, Герасим Петрович, ничуть не лучше Ивана Макаровича и женился на такой красивой его маме. И дом бы тогда не надо продавать. Зачем же продавать дом, когда в нем есть мужчина? Иван Макарович открыл бы в нижнем этаже хорошую сапожную мастерскую. Вскопал бы заброшенный огород. Купили бы курицу с цыплятами. Цыплятки бы выросли и стали бы большими курицами. Можно бы и лошадь купить. Небольшую такую лошадку. Хотя и не пони, но не такую дурацкую махину, как Воронку у папы. На него и не сядешь. А когда бы Маврик подрос, то сказал бы маме, что он хочет жить с тетей Катей. И мама с папой посопротивлялись бы, посопротивлялись день или два, а потом бы сказали, что, если так лучше для Маврика, они согласны. Тогда бы и у них была своя семья. И у Маврика с тетей Катей и с Иваном Макаровичем была бы своя семья.

Иван Макарович Бархатов думал примерно так же, как и Маврик. Здесь все наводило его на мысли о тихом счастье. И пустующий дом, и плаза Екатерины Матвеевны, теплящиеся кротким зеленоватым светом, излучающие этот свет помимо ее воли, — ведь и цветок расточает аромат, потому что природой дано ему пахнуть и этим заставлять замечать себя.

Это внимание к нему Екатерина Матвеевна объясняет себе как заслуженную плату за добрые чувства к Маврику, а сама разглядывает его тонкий прямой нос, сломанные, как у ее отца, как у Маврика, брови, умеренно светлую, умеренно темную бородку и мягкие пушистые усы. Он не выше, но и не ниже ее ростом. Никакого живота. Грудь сильная, широкая. Курит умеренно. Башмаки чистые. Не блестят, как у заводских щеголей, но и без пыли. Речь плавная. Слов много. Начитан. Мог бы, наверно, занимать место ничуть не худшее,

чем Герасим Петрович. И так рано потерял жену! Хочется помочь ему. И если он устроится в Мильве, то она непременно познакомит его с молодой вдовой Фанечкой Красильниковой. И как знать, может быть, она понравится ему. А уж он-то ей — без всякого сомнения. И она с удовольствием станет его женой.

Иван Макарович не спускает со своих коленей Маврика, и он не чувствует себя маленьким, которого глядят как ребенка, а, наоборот, считает, что на коленях сидеть удобнее, чем рядом, хочет ласки сильных мужских рук, и ему даже приятно молчать. Не все же скажешь. И не все нужно говорить.

Белая скатерть. Румяные пирожки. Чай со сливками. Безукоризненная чистота. Чистота во всем. Чистота стен, протертых стекол окон, блестящего пола. Чистота ее голоса, глаз, слов и мыслей. Главное, мыслей. Разве и не в этом счастье человека? Она же ничего-ничегошеньки не знает. Иван Макарович мог бы явиться в Мильвенский завод и назваться слесарем-лекальщиком-механиком, а затем показать, что может он делать, какое родовое наследство мастера приняли из отцовских рук его руки. И он не посрамил бы эти стены зашеинского дома, и она гордилась бы им. Но зачем думать об этом Ивану Макаровичу, когда в любой день его могут арестовать, а затем отправить по той же дорожке в каторжные края, в кандалные места, где он уже был дважды.

## VIII

Молодой и подающий надежды следователь жандармского управления Саженцев, опередив Бархатова и появившись у пристава Вишневецкого, сказал, что теперь он сам будет вести наблюдение за тихомировским домом, а для этой цели просил немедленно поселить его в доме купца Куропаткина, в одной из комнат второго этажа, из окон которой виден тихомировский дом.

Купец Куропаткин не стал спрашивать, «зачем и для чего» в его дом пришел неизвестный, ответил Вишневецкому любезным согласием и предоставил свой кабинет с телефоном.

Агенты тайной службы слонялись возле дома сами по себе. В соседних дворах тоже были «глаза», которые могли заметить всякого,

перелезшего через тихомировский забор.

Напряжение сыщиков достигало высшего накала. Кто-то да придет к Тихомирову сегодня или завтра. И если связным не окажется подозреваемый Бархатов, то попадется другой, может быть еще и не приехавший сегодня в Мильву. Ничего, приедет завтра, никуда не денется.

Ждать долго не пришлось. У тихомировского крыльца появился небритый студент с книгами. Он вошел в дом и не вышел из него. У ищеек стучали от радости зубы. Но пристав разочаровал. Студент приехал не к сыну, а к отцу Тихомирову, который пригласил его преподавать историю в предполагаемой прогимназии. Об этом хорошо знал Вишневецкий по переписке генерала Тихомирова и Павлика Кривоногова (так называли студента в тихомировской семье).

Напрасно было бы подозревать и старую Милентыху, которая ежедневно приносила Тихомировым молоко. Вне подозрения был и почтальон. И уж тем более нельзя было заподозрить пыльного монаха в старой скуфье, заходившего в магазины и в дома, что побогаче, за медяками на построение храма. Он зашел и не мог не зайти в заметный старинный с мезонином дом Тихомировых. И, зайдя, пробыл там не долее, чем в других домах, и вышел, неодобрительно махнув рукой, — видимо, пожертвование не оказалось щедрым или вовсе его не было. Монах поплелся, пыля, в магазин колониальных товаров.

Терентия Николаевича Лосева, ходившего к Тихомировым колоть дрова, подметать двор, как он это делал во многих домах, тоже никак нельзя было принять за связного. Тем более этого сделать было нельзя, потому что Терентий Лосев, не заходя в дом, разговаривал с Валерием Всеволодовичем через открытое окно. И тот попросил Лосева передать Маврику, что завтра состоится обещанная рыбная ловля спиннингом.

Беспечное лицо Тихомирова, появившегося на улице, поражало следователя. Он не мог быть таким, ожидая связного. А вдруг Тихомиров не знает ничего о связном и узнает только после встречи с ним, когда тот привезет ему документы?

Валерий Всеволодович вышел из дома насвистывая и направился в галантерейный магазин, где продавались и рыболовные принадлежности. Один из тайных агентов последовал за ним.



В магазине были куплены два десятка различных блесен и два небольших спиннинговых удилица.

— Начался жор, — сообщил он приказчику. — И завтра от меня и от моих маленьких друзей не уйдут изголодавшиеся за зиму щуки.

Теперь оставалось выяснить, куда пойдет он завтра ловить щук. Может быть, эта ловля всего лишь повод для встречи с тем, кто приехал? Это не исключено.

И пока пристав обсуждал, как будет осуществлено наблюдение, в дом Зашеиных пришел Шитиков — местный агент страхового общества «Саламандра». Он принялся убеждать Екатерину Матвеевну, что ей гораздо выгоднее перестраховать свой дом от огня в обществе «Саламандра», более надежном, нежели «Россия».

Екатерина Матвеевна, желая как можно скорее выпроводить прилипчивого Шитикова, сказала:

— Ну что это вы, право, в базарный день, и к тому же у Маврика гость из Перми.

А Шитиков и не думал уходить, потому что гость-то и нужен был ему.

— Может быть, вы, почтеннейший гость, убедите Екатерину Матвеевну и подтвердите, как много в вашем губернском городе на уважаемых домах прибито вот этих самых бланочков, — сказал он, предъявляя жестяную красочную вывесочку страхового общества «Саламандра», а затем, как бы кстати, спросил: — Надолго ли, прошу прощения, прибыли в наши края и не интересуетесь, случайно, штучными ружьями фирмы Петрова, в коей я имею честь состоять представителем? Есть такие ружья, что в Перми можно взять за них и втрое, а уж вдвое-то — гарантирую.

— Спасибо, — ответил Иван Макарович, глядя в шустренькие заискивающие глазки. — Я ведь проездом. Уезжаю сегодня с ночным в Чердынь.

— В Чердынь? Да что же там делать? Зачем же в Чердынь?

Бархатов ответил:

— Если вы принимаете во мне такое участие, то извольте. В Чердыни есть работа по сапожной части. Я ведь сапожник.

— Сапожник? А не похоже, совсем не похоже. Вы больше на образованного смахиваете.

— Да ведь мало ли кто на кого смахивает, да не бывает им. Имею честь. Мне еще надо позаботиться о лошади на пристань. Часиков в шесть я выеду, чтобы не запоздать.

— Счастливого вам. Желаю здравствовать, Екатерина Матвеевна. Надеюсь в дальнейшем уговорить... До свиданьяца.

Агент «Саламандры» узнал все, что ему нужно было узнать, и с Бархатова было снято подозрение. Если он, не побывав ни в одном из «учетных» домов, едет в Чердынь, значит, он действительно ищет работу и за ним напрасно следили.

Вскоре в доме Зашеиных появился Терентий Николаевич Лосев и передал Маврику приглашение Валерия Всеволодовича на рыбную ловлю.

— Ну вот, бараша, — обрадовался не менее Маврика Бархатов, — теперь дело в шляпе. Готовь большой кошель для улова.

После Лосева пришел Артемий Гаврилович Кулемин и попросил у Екатерины Матвеевны дать ему вместо якорька железную «кошку», на которую «ах как хорошо ставить лодку посреди пруда».

Артемий Гаврилович очень сожалел, что ему не придется порыбачить на Омутихинском прудке, куда завтра отправляется Тихомиров с мальчиками. Кулемин превосходно вел свою роль. Он, будто только сейчас заметив своего друга Бархатова, смутившись сказал:

— Не серчайте, пожалуйста, на серость, не разглядел. Вы, главное, против солнышка. Будем знакомы. Кулемин. Артемий. Ихний, то есть Екатерины Матвеевны, сосед.

Любуясь товарищем, Иван Макарович назвался по фамилии и спросил о рыбалке, и Кулемин принялся отвечать:

— На Омутихинском прудке прехорошая рыба берет. И главное, недалеко. Выйдешь на Старо-Мощеную улицу и все большаком, большаком до шестой версты. А от столба шестой версты такая красотиющая дорожка через ивнячок да тальничок, что и не заметишь, как дойдешь до лесной вышки. Под вышкой, как полагается, перекур, а от нее старая мельница как на ладошке виднеется. Не поверите — вот такие лещи случаются... Жаль, что молодой Тихомиров едет туда, — сказал, вздохнув, Кулемин. — Я с утра знал, что хорошего ждать нечего. Монаха встретил. В аккурат он из тихомировского дома вышел... Верная неудача. Хоть бы поп, а то монах, да еще с кружкой...

Так Иван Макарович узнал все, что ему было необходимо.

## IX

Около шести часов вечера Яков Евсеевич Кумынин подал свою Буланиху, запряженную в ходок с коробком.

Иван Макарович Бархатов трогательно прощался с Мавриком:

— Бараша-кудряша, теперь мы, наверно, увидимся не скоро, но ты знай, что мы с тобой обязательно увидимся.

— Иначе не может быть. И лучше бы, если скорей, — призналась Екатерина Матвеевна. — Он так любит вас.

— Да ведь не любовь управляет людьми. Человек предполагает, а обстоятельства располагают... Мы обязательно увидимся, Екатерина Матвеевна.

Бархатов говорил так, будто он уезжал не в Чердынь, а куда-то очень далеко и надолго.

Екатерина Матвеевна, не сдержав слез, объяснила это тем, что ее всегда трогает любовь к Маврику. И для того, кто его любит, ей ничего не жаль, даже... Даже своего здоровья, которое тоже нужно для Маврика.

Буланиха ленивой рысцой протащила ходок по Купеческой улице, и следователь видел из окна куропаткинского дома уезжающего на пристань Бархатова.

— Значит, не он? Так кто же?

Нелегко, ой как нелегко сидеть в комнате с закрытыми шторами, когда на улице такой розовый вечер, а в Перми? В Перми уже открылся загородный сад, и там столько шляпок, столько шаловливых глазок...

Ну где же ты, проклятый связной? Когда же можно будет наконец сказать: «Вы арестованы!» Затем обыск. Предварительный допрос. И все. Пропади ты пропадом, Мильва.

Появляйся же ты скорее, безмозглый осел...

Иван Макарович, рассчитавшись с Кумыниным, отправился на пристань. Осмотревшись там, он решил побродить по берегу. А потом, убедившись, что за ним никто не смотрит, зашел в лесок, а затем исчез.

Ивану Макаровичу не нужны дороги. Он не сбивался с пути, убегая с каторги, а тут-то уж никак нельзя заблудиться.

Всю ночь не смыкал глаз следователь. Ночь — наиболее вероятное время для встречи подпольщиков. Но ни одна душа не постучалась в тихомировский дом и не задержалась возле него. И только утром появились два мальчика.

— Мы пришли, Валерий Всеволодович! Вставайте! — крикнул в окно Маврик.

— А я тоже в сапогах! Мне тоже купили сапоги, — сообщил Илья.

— Тише вы... Разбудите бабушку, — предупредил через окно старший племянник Валерия Всеволодовича. — Мы сейчас.

Ждать пришлось недолго. Сначала появился с удилицем в чехле Викторин, а за ним его дядя.

— Это тебе, Маврикий, а это тебе, Илья. — Валерий Всеволодович подал мальчикам удилица в таких же клетчатых чехлах, как и у Викторина. Рассматривать будете потом. Хорошо ли вы одеты? — Он осмотрел их и сказал: — Преотлично. Теперь за мной.

И они пошли. Следователь знал, что Тихомиров никуда не уйдет от тех, кто будет следовать за ним. Хотя ему и казалась в данном случае слежка излишней. В самом деле — зачем следить за ним так открыто? Не пойдет же он вместе с мальчиками на встречу с кем-то и тем более не побежит за границу в этом легоньком брезентовом плаще, в старой фуражке и в охотничьих сапогах. Но все же приставу нужно было позвонить. И он позвонил.

— Не извольте беспокоиться, — ответил Вишневецкий. — Они отправились на мельницу. Мне сообщили. Куда же им еще... Их будут сопровождать двое вооруженных рыбаков. Можете ложиться спать.

— Да что вы?.. Как можно? — сказал Саженцев и повесил телефонную трубку.

Связной мог прийти и в отсутствие Тихомирова. Главное — терпение и спокойствие. Может быть, Тихомиров нарочно придумал рыбалку, чтобы отвлечь внимание от своего дома? Не выйдет, милостивый государь, не выйдет!

Миновав концы Мильвы и выйдя на мощный булыжником большак, Валерий Всеволодович заметил, что за ними идут двое с удилицами. Он скомандовал:

— Спиннингисты, привал!

Мальчики, усевшись на плащ, перебивая один другого, говорили о щуках. Маврик не верил, что на крючок с блесной можно поймать щуку без всякой приманки. А Викторин уже ловил шук на блесну и обстоятельно рассказывал, как хищница щука принимает блестящую блесну за рыбку и хватает ее.

Валерия Всеволодовича занимали другие щуки. Они остановились и тоже решили сделать привал.

Тихомиров и мальчики двинулись дальше. Поднялись и двое идущих позади.

— А не лучше ли нам, — предложил Валерий Всеволодович, — спрямить путь и пойти через этот луг?

Все согласились. Лугом куда интереснее идти, чем по бульге.

Идущие позади тоже свернули на луг. Это уже было слишком. Валерий Всеволодович предложил новый привал, хотя в этом не было никакой надобности. И ребята снова сели на разостланный плащ. Когда же остановились и те, двое, Тихомиров направился к ним.

— Судари, — обратился он, — нельзя ли хотя бы немного отстать? Это роняет меня в глазах племянника. Он уже все понимает. Ведь я же не арестант.

Один из рыбаков, оказавшийся наиболее наглым, ответил на это:

— Вы сами по себе, мы сами по себе. Для нас нет запрета ходить, где мы желаем.

— Хорошо. Вам никто не может запретить этого. Как никто не может запретить и мне письменно заявить губернатору, что вы слишком грубые... «р-рыбаки». Возвращайтесь!

Гонор сразу покинул обоих. Они остались сидеть. Тихомиров с мальчиками вернулся на большак. Их более не преследовали. Но не прошло и получаса, как послышался конский топот. Кто бы это мог?

Это был пристав Вишневецкий.

— Ба-а! Валерий Всеволодович! В такой компании! Куда же?

— В Женеву. В Швейцарию, милейший Ростислав Робертович, — негодуя, ответил Тихомиров.

Вишневецкий расхохотался так раскатисто, что его серый рысак, пугливо оглянувшись, зашевелил ушами.

— В таком случае садитесь... Вам предстоит длинный путь. — И снова, раскатисто смеясь, принялся рассыпаться в комплиментах: — В

Мильве нет более остроумного человека, нежели вы... А как ферма? Как покупка новых земель?

— А я тогда шутил. А теперь не до шуток. Сегодня я покидаю вас, любезный Ростислав Робертович.

Вишневецкий хотел еще раз расхохотаться, но не получилось. И он повторил:

— Садитесь же...

— Да нам же осталось двести — триста шагов...

— Все равно. Мне будет приятно доставить на мельницу такую милую компанию.

— Ну что же... Садитесь, ребята...

Мальчики влезли в пролетку. Кто сидя, кто стоя добрались до мельницы.

## X

Омутихинский пруд был молчалив и угрюм, как и лицо старика Мартыныча — Дизеля. Он сказал свое ни к кому не относящееся «добро пожаловать» и сообщил:

— Щук ныне порядочно перезимовало. И все они ушли в вершину пруда.

Приехавшие открыли дом. В него еще не входили после минувшей осени. Пахло мышами и мочальными матрацами.

— Благодарю вас за любезную доставку, — сказал Тихомиров, протягивая руку Вишневецкому.

А он:

— Напрасно вы хотите выпроводить меня так скоро и лишить зрелища ловли щук.

— Как вам будет угодно, Ростислав Робертович... Побудьте здесь, в этой компании, а я пройду по камышам и посмотрю, где посуше, чтобы не утопить моих молодых людей. — Он посмотрел на мальчиков и сказал, уходя, племяннику: — Викторин, не забудь отдать Голиафу кости.

— Я с вами, я с вами... — забеспокоился Вишневецкий. — Что же я буду тут делать, в этом слишком серьезном обществе? Я не отстану от вас.

На это Валерий Всеволодович едва заметно улыбнулся и сказал:  
— Вы тоже очень настойчивый рыбак... Извольте, пойдем вместе, если вы не боитесь увязнуть. Не сердитесь. Я предупреждал вас.

И они пошли вдоль камыша к вершине пруда. Мельница осталась далеко позади. Болотная птица чувствовала здесь себя в безопасности. Мильва рядом, всего верст пять-шесть по прямой, а тут таежная глушь.

— Вон видите, — указал на селезня Тихомиров, — попробуйте его из пистолета.

— Да я же выехал налегке. Промать Серого. При мне ничего, кроме перочинного ножа.

— Как же это вы? А из чего же вы будете стрелять мне в спину, когда я побегу в Женеву?

— Да что это, право, далась вам сегодня эта Женева! Сказали бы хоть уж в Париж.

— Там меня никто не ждет!

— А в Женеве?

— Ждут.

Шутка чем-то походила на правду, но и не походила на нее чрезмерной прямоотой.

Когда Тихомиров и Вишневецкий дошли до тихой заводи, то увидели в камышах на берегу двух удильщиков. Они, не обращая внимания на подошедших, следили за поплавками.

— Как ловится, господа? Доброе утро.

— Хуже нельзя, — ответил один из них, в котором Тихомиров не сразу узнал монаха, приходившего к нему. — Можно сматывать удочки! Зачем же время терять!

Другой рыбак, которым был Иван Макарович Бархатов, спросил:

— А вы с господином полицмейстером тоже, никак, рыбного счастья решили попытать?

— Да нет, — ответил Тихомиров, — господин пристав не рыбак. Он просто любит наблюдать за рыбаками. Не правда ли, Ростислав Робертович?

— О чем вы, милейший Валерий Всеволодович?

— Все о том же... Впрочем, хватит об этом. Кажется, уже подали лошадей...

— Д-да! Они ждут давно.

Вишневецкий побледнел:

— То есть как? Каких лошадей? Зачем?

— Я же вам сказал о своем отъезде в Женеву...

— Это как же?

— Так же, как я говорил прежде... Все прямо... прямо и прямо...

К Тихомирову в это время подошел Иван Макарович и его товарищ. Иван Макарович сказал:

— Господин полицмейстер, я надеюсь, что вы будете благоразумны и кинете в воду пистолет, рукоятка которого торчит у вас из правого кармана. Вы один, а нас не трое...

— Мне очень прискорбно, — сказал Тихомиров, — но я же предупреждал. Бросайте ваш пистолет в воду.

Вишневецкий выполнил требование, но пистолет был брошен слишком близко у берега. Иван Макарович достал его из воды и бросил вглубь.

— Теперь второй, — попросил Тихомиров, — тот маленький браунинг, который вы всегда носите при себе.

— Извольте, Валерий Всеволодович. Извольте! — сказал Вишневецкий, на лице которого проступили белые пятна.

Второй пистолет, булькнув, исчез под водой.

— Еще два слова, — предупредил Бархатов. — Папаша Валерия Всеволодовича не знает обо всем этом. И если вы, господин полицмейстер, позвольте себе преследовать генерала Тихомирова... Не обессудьте, коли и вас не оставят без внимания. Это — одно. А второе — мальчикам не нужно сообщать о нашем разговоре. И вообще... Ушел и ушел Валерий Всеволодович... Затерялся в лесу, и вся недолга...

А мальчики не нуждались в сообщении пристава. Все происходило на их глазах. Они, посидев в одиночестве несколько минут, решили отправиться лесом к вершине пруда. Туда, где предполагался лов. На опушке леса их остановил незнакомый. В сапогах и с ружьем.

— Туда нельзя, — страшным шепотом сказал он. — Ложитесь и не шевелитесь.

И мальчики пролежали все это время в ельнике. Маврик увидел Ивана Макаровича и узнал его. Не все было понятно, что говорил он



приставу, но все же слышно. Мальчики слышали, как Бархатов сказал:

— Теперь садитесь на бережок. Здесь сухо. Вам нужно просидеть тут не менее двух часов, чтобы потом благополучно и невредимо вернуться домой. Не позабудьте, что нас не трое... А место здесь глухое.

Тем временем Валерий Всеволодович уходил со вторым высоким мужчиной в лес вдоль берега Омутихи. Иван Макарович шел последним. Он не шел, а как бы пятился, не сводя глаз с пристава.

Пристав сидел опустив голову. Он думал не о том, что из его рук выскользнул Тихомиров и еще двое. Он думал о том, что теперь будет с ним.

Но кто может узнать, как это все было. Ведь не пойдут же доносить на него те, кто, наверно, сейчас не выпускает его из поля зрения. Он придумает невероятное, которому поверят все и его превосходительство господин губернатор.

Послышался отдаленный голос, затем конский топот. Это была не одна лошадь и не одна телега.

Пристав не подымал головы. За ним зорко следили глаза токаря из Гольянихи, которого не знал ни Маврик, ни Иля, ни тем более Викторин. За ним следили глаза Артемия Кулемина, еще вчера, до полуночи, встретившего на шестой версте Бархатова и «монаха». У Кулемина был хороший полицейский пятизарядный смит-вессон. Он бил не так далеко, зато верно. Киршбаум и старик Емельян Кузьмич Матушкин находились по ту сторону Омутихи с дробовиками. Матушкин был очень доволен, что его предусмотрительная охота не оказалась напрасной предосторожностью.

Ищи теперь ветра в поле.

Доброй вам дороги, дорогие товарищи. Емельян Кузьмич Матушкин сегодня был счастлив дважды. Спасся от неминуемой каторги хороший товарищ, стойкий подпольщик, активный деятель партии. А кроме того — муж его дочери. Отец его внуков. От этого тоже никуда не уйдешь — всегда будут дороги дети и милы внуки.

Наверно, придет время, доживет Матушкин до счастливой поры, когда тоненький родной голосок будет называть его дедом.

Снова пришла весна, да не столь красна, какой она снилась, какой виделась.

Потрясение за потрясением. Нелегким открытием для Маврика было событие на Омутихинском пруду. Такой хороший, такой близкий, почти родной Иван Макарович, за которого ему так хотелось выдать замуж тетю Катю и жить с ним в дедушкином доме, оказался политическим. И это нужно скрывать ото всех и от тети Кати. Ильюша и Санчик не видали Ивана Макаровича, когда он приходил к Маврику. И они не знают, что Маврик знаком с ним. И об этом знакомстве им ничего не будет сказано. Зачем? Илька может разболтать дома, а Григорий Савельевич в хороших отношениях с приставом. Нужно молчать.

То, что политическим оказался Валерий Всеволодович, — это не так удивительно. Про него и раньше рассказывали всякое. Но все же... Дворянин — и вдруг... Видимо, и среди дворян встречаются разные люди.

А уехавшая будто бы в Казань Елена Емельяновна Матушкина, значит, тоже... Она же теперь его жена. Не мог же политический Валерий Всеволодович жениться на неполитической Елене Емельяновне. Ильюша говорит, что не мог. И Маврик тоже считает, что не мог.

Но кто скажет, кто объяснит, кого можно спросить, почему политическими бывают такие хорошие люди? И не просто хорошие, а самые лучшие их тех, кого знает Маврик. Артемий Гаврилович Кулемин хотя и перестал, но был все же политическим, только никому не говорит этого, как не говорил никому Иван Макарович. И кто скажет и кто докажет теперь, что быть политическим — это позор и ужас?

А позор ли? Ужас ли? Неужели Иван Макарович может желать для людей плохое, а пристав Вишневецкий — хорошее? Ведь он хотел посадить в тюрьму Валерия Всеволодовича и следил за ним, как собака Пальма за утками.

Тесно в голове Маврика. Ему иногда очень трудно дышать, а поговорить не с кем. Разве только с Артемием Гавриловичем, да и то... Можно ли довериться ему во всем?

Дни стоят ясные, а кругом тучи. Вчера к тете Кате приезжал помощник пристава. А сегодня тетя Катя ушла в полицию. Уходя, она

сказала:

— Маврушенька, как мы неосторожны с тобой. Иван Макарович оказался вовсе не тем человеком, за которого мы его принимали.

— А каким? — тревожно спросил Маврик.

— Когда узнаю, скажу. Я, наверно, скоро вернусь из полиции. Жаль, что сам пристав уехал в Пермь. Он вежливее. Побудь дома.

И ушла. Но Маврик не стал сидеть дома. Он побежал к Артемию Гавриловичу. И Артемий Гаврилович сказал:

— Поймали одного из тех, с кем скрывался Валерий Всеволодович. Его заставляют сознаться, что он Бархатов.

— Какой Бархатов? — дрожащим голосом спросил Маврик.

— Да тот, что был у тебя в гостях. И твою тетю Катю пригласили в полицию, чтобы она узнала его.

— И она... она, вы думаете, Артемий Гаврилович, узнает его? — спросил Маврик, трепеща всем телом.

— Не знаю, — уклонился от прямого ответа Кулемин. — Но если это он, то как она может не узнать? Не узнает она, заставят узнать тебя.

— А вы думаете, меня тоже...

— Уверен!

Маврик умолк, теребя листки герани, росшей на подоконнике дома Кулеминых.

— Иван Макарович так изменился за этот год, и я не узнал его, когда он приехал к нам, — заговорил снова Маврик. — А теперь он, наверно, еще больше изменился, и я, наверно, совсем-совсем не узнаю его.

Кулемин вдруг схватил Маврика и посадил его к себе на колени. Точно так же, как это делал Иван Макарович.

— Тебе нельзя не узнать его, — наставительно сказал Маврику Кулемин. — Не узнаешь ты, узнает «Саламандра».

— Какая саламандра?

— Страховой агент Шитиков, который заходил к вам, когда у вас был Бархатов. Узнавай... узнавай... Его теперь так и так ты не спасешь.

Тетя Катя вернулась из полиции радостная.

— Ты знаешь — это не он. Это совсем другой человек.

Но Маврик был уверен, что это был он и тетя Катя не захотела его узнать, и Маврик решил спросить ее подробнее, но за окнами послышались голоса:

— Барклай! Ты нам нужен!

Это был Юрка Вишневецкий со своими уланами.

— Зачем? — спросил Маврик через окно.

— Выйди. Ты нужен, — позвали они.

— Иди, иди, Мавруша... Они хотят, чтобы ты узнал его, но ты не узнаешь в нем Ивана Макаровича...

Маврик вышел на улицу. Его потянули за руки. Юрка сразу же объявил:

— Поймали каторжника, а он не хочет говорить, что это он. А ты узнаешь его? Пойдем.

И Маврика привели.

— Вот он, Толлин. Барклай.

— А-а-а! Здравствуйте, мой маленький друг... — сказал помощник пристава и протянул руку. — Одну минуточку. — Он позвонил настольным колокольчиком с костяной ручкой.

В ответ на звонок полицейский ввел мужчину со связанными руками, с синяками на лице. Рукав его пиджака был наполовину оторван.

— Узнаешь? — спросил помощник пристава.

— Нет, — ответил Маврик.

— Как же нет? Ты всмотришься. Разве это не сапожник Иван Макарович Бархатов?

— Нет, — обрадованно повторил Маврик.

— Не может быть, это он.

— Если не верите, можете спросить «Саламандру»...

— Какую саламандру?

— Того, что боится дома от пожара...

— А-а-а... Шитикова. Непременно, непременно, как только вернется. Он, кажется, был у вас, когда приезжал к тебе твой друг сапожник. Где же он?

— В Чердыни, — твердо ответил Маврик. — Его тогда отвез на пристань Яков Евсеевич Кумынин. Можете спросить, если не верите.

— Нет, зачем же — я верю...

Когда увели арестованного и помощник пристава остался вдвоем с Мавриком, был задан новый вопрос:

— Тебе нравится твой сапожник?

— Очень, — ответил Маврик.

— Он хороший человек?

— Да, — не задумываясь ответил Маврик.

— Я так же думаю, — сказал помощник пристава. — Я очень доволен, что Бархатов хороший человек. Беги, мой друг. Играй.

И Маврик убежал, твердо зная, что теперь он тоже такой же политический, как Иван Макарович, как Валерий Всеволодович.

Неделю спустя пришла открытка из Чердыни от Ивана Макаровича. Он писал: «Дорогой бараша-кудряша, в Чердыни тоже не повезло, и я поехал на Волгу. Найду же где-нибудь городок, где можно будет открыть сапожную мастерскую...» Далее он передавал поклон Екатерине Матвеевне и сожалел, что она перекармливает отличного песика Мальчика, который может зажиреть и превратиться в ленивую дворняжку.

Как мог Иван Макарович оказаться в Чердыни и зачем — Маврик не мог и представить. Может быть, открытку написал кто-то другой? Это вернее всего.

Посоветовавшись с тетей Катей и с Артемием Гавриловичем, он снес открытку в полицию и передал самому Вишневецкому, вернувшемуся из Перми.

Этот вертлявый враль счастливо вывернулся, рассказав, как на Омутихинском пруду он был избит, связан и обезоружен. Ему поверили. Его благодарили.

— Вот, — сказал Маврик, — про Ивана Макаровича говорят, что он будто бы убежал с Валерием Всеволодовичем за границу. А он вовсе не убежал. Читайте, пожалуйста, Ростислав Робертович.

Вишневецкий прочитал открытку. Поблагодарил Маврика. А потом, оставшись один, он постарался поверить, что человек, бежавший с Тихомировым, не был Бархатовым, а всего лишь походил на него приметам, имевшимися в деле. И очень хорошо, что бежавшие не пойманы. Вишневецкому не хочется, чтобы они попадались... А если попадутся, тогда, пожалуй, ему придется скрываться самому. Ведь он же обманул губернатора.

Между тем Бархатов и Тихомиров благополучно перебрались за границу. Об этом уведомила сестру Елена Емельяновна, прислав ей из Праги каталоги зубоврачебных принадлежностей, читая которые умеючи можно было узнать не так уж мало.

Бархатов не долго проживет за границей. Он вернется в Россию под новой фамилией, как только будет добыт хороший паспорт и отрастет борода, достаточная для того, чтобы выйдти солидным человеком из коммерческого мира.

А о Валерии Всеволодовиче сообщали газеты. Он дал о себе знать первой же появившейся статьей. Его по статье узнали близкие ему люди, узнали и те, кто называл его «неуязвимый трубадур». Теперь это прозвище охраны получило особое звучание.

## XII

Для успокоившегося Маврика весна могла стать хорошей. Иван Макарович во всех случаях на свободе. Тетя Катя сумела объяснить приставу, как произошло знакомство с Бархатовым и почему он привязался к ее племяннику. Она также, ссылаясь на открытку, поколебала пристава в причастности Бархатова к политике.

— Если бы он был таким, — сказала она, — зачем бы ему так открыто писать о себе нам? Ведь мы-то ему никто, как и он для нас чужой человек.

И пристав окончательно поверил, что за Бархатова он тогда в вершине пруда принял другого человека.

Весна могла стать хорошей, а лето еще лучше. Герасим Петрович предложил пасынку пожить в Омутихе у бабушки Ирины. Туда же будут по субботам наезжать отец и мать с маленькой Иришей, которой тоже нужен воздух. И Маврик ждал переезда в деревню. Она его манила и потому, что в одной версте, на мельнице, будут жить Тихомировы, и он может хоть каждый день встречаться с Викторином, Владиком и видеть Леру. Все складывалось очень хорошо, да нескладно сложилось. Новая учительница, заменившая Елену Емельяновну, заявила матери Маврика, Любови Матвеевне:

— У меня, госпожа Непрелова, нет времени возиться с вашим ленивым сыном и тянуть его за уши, лишь бы перевести в третий

класс. Он будет оставлен на второй год.

Любовь Матвеевна, вернувшись из школы, накричала на Маврика. Отчим на этот раз во всеуслышание назвал его петрушкой и лодырем. Мать плакала и обещала запереть опозорившего семью Маврика на все лето в квартире и, как арестанту, разрешать ему выходить один раз в день во двор. Любовь Матвеевна напомнила Маврику и об Иване Макаровиче:

— Еще тогда, еще в Перми, я запрещала тебе видеться с этим сапожником... А ты... ты обманул мать... Ты хочешь прямо из школы в «золотые роты». Если тебя в девять лет вызывают в полицию, так в десять ты будешь сидеть против старого кладбища, — намекала она на пермскую тюрьму.

Маврик выплакал все слезы. Он сидел, забившись в угол темной комнаты на сундуке, где спала Васильевна-Кумыниха, когда она жила у Непреловых.

Казалось, что в жизни у Маврика уже не будет ничего хорошего. Он петрушка, он лодырь. Его дорога в «золотые роты».

Как жить теперь, тетя Катя? Почему ты не приходишь? Или ты тоже сердисься на второгодника, который опозорил и тебя?

Нет, ты торопишься, Маврик. Твоя тетя Катя не сидит сложа руки. Она уже побывала в школе и пообещала, что к осени ее племянник будет знать все необходимое для перехода в третий класс. И в школе сказали, что переход в третий класс Толлина будет решен в первых числах августа.

Но и это еще не все, что произошло и о чем не знал Маврик. У него нашелся друг, куда более сильный и влиятельный. Друг, которому Мавриков папа должен был сказать:

— Здравствуйте, ваше превосходительство... Милости прошу. Проходите, чем обязаны?

Этого друга Маврика папа не мог не назвать вашим превосходительством, потому что жена генерала тоже «превосходительство». И когда Варвара Николаевна Тихомирова пришла к Непреловым, она сказала:

— Ничего особенного, Герасим Петрович и Любовь Матвеевна, не произошло. Маврикий и не мог не остаться на второй год. Такой уж он у вас... фантазер и мечтатель... Моя невестка Елена знала эти

особенности мальчика и занималась с ним и с другими после уроков, а новенькая учительница не захотела или не сумела поступать так...

Герасим Петрович не смел сесть при генеральше. Годы солдатчины вбили ему в голову и последующие годы не выбили из нее страх перед «превосходительствами», независимо от того, при лампасах «они» или без них. И он говорил только «так точно» и «как изволите». Маврику жаль было папу, и он стыдился за него.

Варвара Николаевна сказала:

— И незачем ему переходить в третий класс этой школы, немногим лучшей, чем нагорная. Этой осенью открывается прогимназия с подготовительным классом. И если вы, Герасим Петрович, не будете против, то ваш сын, уверяю вас, выдержит экзамен в подготовительный класс на круглые пятерки.

— Как изво... как вам будет угодно, ваше превосходительство, ответил Герасим Петрович.

— Да, — подтвердила Любовь Матвеевна. — Это самое лучшее. Маврик, где ты?

Но Маврик не появлялся.

— Он придет сегодня же ко мне, и я поговорю с ним очень серьезно и очень строго, — сказала, уходя, Варвара Николаевна.

### XIII

Маврик вскоре отправился к Тихомировым.

Лера встретила его молча, но сочувственно. Ее глаза не оправдывали второгодника, но в них не было презрения к нему. Она провела его к бабушке.

— Вот что, государь мой Маврикий Толлин, — начала Варвара Николаевна, усадив Маврика в креслице против себя. — Ты уже достаточно взрослый и мужественный человек, и у тебя найдутся силы, чтобы взять себя в руки. Нужна таблица умножения или не нужна, я не буду выяснять, как это делала Лена, твоя учительница Елена Емельяновна. Я тоже не буду убеждать тебя, почему всякий человек... всякий человек, — повторила она, — должен... я говорю, должен и обязан уметь хорошо читать, грамотно писать. Моим детям и моим внукам мне этого никогда не приходилось доказывать. Не буду



доказывать и тебе. Ты должен, ты обязан, а когда вырастешь, узнаешь, почему ты должен и обязан. А теперь... Теперь тебе нужно отдохнуть. Две недели. Ни о чем не думать. Переехать в деревню. Бывать у нас на мельнице. Кататься с внуками на Бяшке, которому не нужна никакая таблица умножения, потому что он осел. А через две недели ты каждый вторник и каждый четверг утром будешь приходить ко мне. Я не буду с тобой заниматься. Я буду тебя спрашивать и задавать тебе уроки. А теперь... Танечка, — обратилась она к горничной, — проводите гимназиста Толлина и не расспрашивайте его ни о чем, чтобы он не растерял то, что я ему сейчас положила в голову.

Маврик побежал к тете Кате. Вбежав, он сказал:

— Я поступаю в подготовительный класс, и мне нужно не через две недели, а сейчас... сию же минуту садиться за уроки! Таблица умножения, тетя Катя, это же чепуха... И если я научился бить из рогатки без промаха в копейку, так уж читать-то... писать-то... и считать... — не договорил он, потому что ему не хватало воздуха, сел за свой столик и начал с самого начала: «Осень! Осыпается весь наш бедный сад. Листья пожелтелые по ветру летят...»

Ни Санчик, ни Ильюша, ни тетя Катя с этого дня не могли оторвать его от чтения, письма и счета. Он подымался и садился за стол в восемь утра и прекращал свои занятия, когда свисток звал на обед.

Это было трудно. Это было невозможно трудно. Часы издевались над ним. Их маятник качался так же, а стрелки шли медленнее. Иногда они словно примерзали к циферблату. А он читал.

Доброе солнце не щадило его. Оно заглядывало в окошко, смеялось и манило на улицу. А он закрывал шторой окно и твердил:

— Шестью шесть — тридцать шесть. Шестью семь — сорок два...

Собака Мальчик, к которой так был внимателен он, не платила ему тем же, жалобно подскуливая и тоскуя по своему добром хозяине, мешала писать. А он писал, не пропуская букв, не позволяя им выскакивать за тесные линейки строк.

Санчик, с которым он вырос, которому он помогал учиться в первом классе на круглые пятерки, тоже находил возможным для себя громко вздыхать за окном, и, вместо того чтобы увести Мальчика, он принимался уговаривать его не лаять и этим тоже мешал. И пусть.

Маврик все равно выучит и те стихотворения, которые не задавались в школе и которые не нужно было заучивать наизусть.

Уж коли брат, так брат себя в руки...

А тетя Катя? Есть ли на земле кто-то ближе ее?.. Может быть, и будет, но пока нет... Так и она входит в большую комнату и советует сделать маленький перерыв, выйти во двор или пристаёт с выдуманными делами. А он, заткнув уши, решает труднейшие примеры на все четыре действия.

И только один человек из всех, один приходит и спрашивает — не изменил ли он своему слову, не поддался ли он чему-нибудь?.. А потом садится вместе с ним и начинает учить то, что он знает, и то, что ему уже не надо учить. Но ему это надо, потому что нужно для его друга.

— Ах, Иль, как хорошо, что мы с тобой встретились тогда в Перми, в Козьем загоне. Козел теперь я. Загоняй меня, загоняй...

Маврик обнимает товарища, потом просит его побыть злющей Манефой, а сам остается учеником.

И тот скрипучим голосом Манефы вызывает его и спрашивает сердито, придиричиво... То — сколько будет восемь семь... То велит вычесть в уме из девяноста трех шестьдесят девять, а сам смотрит на маятник часов и проверяет, быстрее ли стал считать Маврик. И снова задает трудное-претрудное и замечает каждую, даже самую маленькую, ошибку, которую бы, наверно, пропустила и Манефа, потому что настоящая дружба не признает поблажек.

Так было до отъезда в Омутиху, но и в Омутихе слышен громкий свисток завода, и никакое журчание речки, никакие пескари, ни крупные налимы, за которыми успешнее охотиться утром, с вилкой, насаженной на палку... ничто не могло заставить взявшего себя в руки, достаточно взрослого и мужественного человека изменить самому себе.

И когда Лера, которая может его заставить сделать все, даже переплыть огромный Мильвенский пруд, пришла в деревню Омутиху и сказала: «Тебя ждут на мельнице, я приехала за тобой на Бяшке» — Маврик ответил:

— Сейчас засвистит, Лера... А до свистка нельзя.

И свисток засвистел.

— Поехали, Лера. Теперь я могу...

И они ехали в маленькой тележке. Ленивый ослик прытко бежал на мельницу, его, как и Буланиху, возвращающуюся домой, тоже не нужно было понукать.

Как чудесны летом омутихинские поля, как сладко пахнет травами! Как хорошо, что не Викторин и не Владик приехали за ним, а она. Она, сказавшая ему дорогой, как взрослая взрослому:

— Я уважаю вас, Толлин. Вас нельзя не уважать...

Ой, как приятно слышать от Леры эти слова! Какой гордостью закипает его сердце! И он готов любоваться собой. Но в это время они проезжают мимо того места, где Иван Макарович разоружал пристава Вишневецкого. И Маврику вдруг становится стыдно за себя. Что сделал он? Какой подвиг им совершен? Что произошло? Ничего особенного — просто-напросто ленивый ученик Толлин нагнал своего успевающего сверстника Киршбаума. Только и всего.

Походить на Ивана Макаровича Бархатова не так-то легко и просто...

## **ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ**

### **ПЕРВАЯ ГЛАВА**

#### ***I***

В Мильве открылся и успешно работал кинематограф, названный «Прогресс». Для тех, кто впервые видел на экране движущихся людей, волнующееся море, шевелимые ветром листья деревьев, бегающих животных и все, что стало большой ожившей фотографией, этот электротئاتр оказался волшебным без преувеличений.

Люди, не выезжавшие из Мильвы, а таких было множество, увидели не только другие города, но и другие страны. Семья Шишигиных, открывая «Прогресс», не ошиблась в предпринимательских расчетах. Сеансы, особенно вечерние, давали большие прибыли. Появилось сравнительно доступное зрелище, если не считать спектаклей комаровского общества любителей драматического искусства. Ради этих редких спектаклей нужно было

терять весь вечер, лучше одеться и тоже платить за билет. А за что? Что там увидишь? Переодетых знакомых людей с наклеенными бородами, с намятыми лицами, подчеркнутыми бровями, которые изображают князей, боярынь, купцов, помещиков... А в «Прогрессе» заплатишь пятиалтынный — и за полтора часа насмотришься такого, что и за три дня не перескажешь. Убийства гладиаторов... Съедение крокодилами обнаженной красавицы... Бой живого быка с живым тигром... Глупышкин прыгает из окна третьего этажа на проходящий воз, с воза скачет в другое окно... Это же — умереть, уснуть как здорово!

А знаменитый «Пате-журнал», который «все видит, все знает»! Париж и живые парижане. Натуральный пожар с жертвами. Наводнение в Голландии. Работа слонов в Индии. Охота на китов. Карнавал в Венеции. Живой настоящий царь Николай Второй, маленький щупленький, в настоящем Питере. Фабричный труд в Англии. Страхование рабочих в Германии.

Хозяева «Прогресса» Шишигины, заботясь о наживе, доставая новейшие картины, и не представляли, как они расширяли познание мильвенцев, добрая половина из которых не читала и не писала. Экран «Прогресса» стал окном, пусть не таким широким, но все же окном в большой мир. И многие, смотревшие в это окно, впервые в жизни спросили себя: «А так ли мы живем?» Шишигины, не поверили бы, если бы кто-то им сказал, что «Прогресс» ускоряет приближение их конца, что они продают не билеты на право входа в кинематограф, а торгуют опасными для них познаниями. И что даже такие безвинные картины, как «Ямщик, не гони лошадей», как «У камина», которые, казалось бы, должны вызывать сочувствие к неразделенной или угасшей любви, будят другие чувства. Чувства ненависти к богатым бездельникам, которым некуда спешить и некого любить, которые сидят одиноко в роскоши и переживают, как печально догорает камин.

Терентий Николаевич Лосев на этот счет сказал прямо:

— Сходил бы, дурак, лучше в лес, да напил дров, да подкинул бы охапку-другую, чем с жиру-то нюни распускать.

Появившийся кинематограф позволил побывать людям в закрытом для них мире богатых людей и увидеть его не сочинительски-книжно, а фотографически-правдиво. И этот мир озлоблял. В нем люди ели, пили, любили, разъезжали по балам, по

морским райским берегам, утопали в богатстве, изнывали от безделья, искали наслаждений... И простой народ следил не за одним лишь сюжетом, но и за тем, что сопутствовало сюжету. За теми невиданными подробностями, неслыханными деталями, которые неизбежно проникали на экран. И эти подробности развенчивали устройство жизни, распределение благ и в душах тех, кто не задумывался над этим, твердя, как покойная бабка Толлиниха, что все от бога, что кому что дано, тем будь и доволен. А экран ломал эти представления. На экране показывалось, как один разоряет другого, как торжествует в мире мошенничество и грабеж.

В жизни мильвенской детворы «Прогресс» стал самым заманчивым развлечением, и увиденное там переходило в жизнь, в игры, повторялось в школах, училищах. Появился таинственный Зигомар — сотни «зигомаров» появляются в школах. Показали картину о неуловимой Соньке Золотой Ручке на стенах в женской гимназии возникают отпечатки золотой руки.

Учредитель гимназии Всеволод Владимирович Тихомиров, считающий политехническое образование обязательным, старался дать как можно больше знаний своим питомцам. Хотя и бесспорно, что всего не узнать и не изучить, но стремиться знать и уметь как можно больше необходимо каждому. Это и стало основой созданной им гимназии.

Наиболее любознательным было рассказано о кинематографе все, что знал о нем Всеволод Владимирович. И этого оказалось достаточно, чтобы Маврикий Толлин загорелся желанием создавать свои картины. И если у него нет аппарата, которым снимаются эти картины, если даже обычный фотографический аппарат является предметом недостижимых мечтаний, то почему бы не вообразить, не представить, какие картины он мог бы снять и показать. Первая картина называлась бы «Приготовительный класс». В ней бы он с удовольствием посмеялся над собой и над другими. Можно бы показать, как он, маленький хвастунишка, выскакивает после каждого экзамена и показывает матери пальцами рук — пять. Как на другой день после экзаменов, когда еще стояла жара, он поспешил обновить свою первую гимназическую шинель. Как глупо он появился в ней на улице, желая, чтобы все знали, что теперь он гимназист.

Ильюша щеголял тогда в форменной фуражке, которую мог тоже бы не надевать до начала учебного года.

Кажется, все это было давным-давно, а в общем-то совсем недавно.

Если б у Маврика был даже обыкновенный фотографический аппарат, то и им бы можно было наснимать множество снимков и составить из них интересные альбомы, страницы которых навсегда бы сохранили то, что прошло и ушло. Ушло навсегда.

Каким бы волнующим мог стать альбом о старом и новом доме!

И Маврик, вместо того чтобы учить уроки, воспользовавшись тем, что дома никого нет, принимается листать в своем воображении несуществующий фотографический альбом...

## II

На первом снимке сидит тетя Катя у печки, на низенькой скамеечке, которую ей подарил Терентий Николаевич. Сидит и думает о старом доме. На снимке хотя и нельзя показать мыслей, но можно дать надпись: «Кому продать дом?»

На другом снимке отчим Маврика уговаривает тетю Катю продать дом фирме «Пиво и воды», потому что дом стоит на ходовом месте и в дни получек рабочие обязательно забегут выпить пива.

Тетя Катя не может решиться. Она помнит, что наказывала бабушка, умирая. Нельзя такой известный в Мильве дом продать под «распивочную и на вынос».

Открывается новая страница альбома. На новой странице появляется Всеволод Владимирович Тихомиров. Он говорит, что, конечно, богач Болдырев может заплатить за дом дороже, чем гимназия... Но ведь, кроме денег, есть еще и добрая слава, добрая память.

Тут отчим Маврика говорит, что фирма «Пиво и воды» согласна набавить за дом еще тысячу рублей... И тетя Катя уже колеблется. Но...

Но страница перевортывается, и на ней гимназист Маврикий Толлин. У него совершенно серьезное лицо и совершенно нахмуренные брови. Он говорит:

— Папа, неужели ты не помнишь, как просила бабушка, умирая, чтобы ей с дедушкой было не стыдно зайти в свой дом, когда тетя Катя продаст его?

На лице Всеволода Владимировича появляется хорошая, как всегда, улыбка. Глаза его блестят еще больше, чем стекла очков. Он хочет обнять Маврика. А Маврик произносит такие слова, которые, как острый топор, разрубает все. Он говорит:

— Неужели дедушка с бабушкой могут войти в свой дом, где находится пивная?

Тетя Катя вздрагивает. Вздрагивает и папа. Не вздрагивает только Маврикий Толлин. Он гордо стоит, как князь Серебряный перед Малютой Скуратовым.

Наверно, все это не так хорошо получилось бы на снимках, но все равно, что-то получилось бы... Во всяком случае, можно бы снять, как тетя Катя решает продать дом под гимназию и в знак этого подает свою руку Всеволоду Владимировичу, а Маврикий Толлин торжественно разнимает руки. И это крепче купчей крепости, которая составляется нотариусом Шульгиным.

А потом новые страницы. Новые снимки.

Плачет тетя Катя. Крепитесь, но тоже не может сдержать себя гимназист Толлин в летней фуражке с белым чехлом, в летней блузе с блестящими форменными пуговицами, подпоясанной ремнем с пряжкой, на которой три буквы — ММГ.

Ломается крыша старого дома. На чердаке все еще лежат пучки лучины, которые нащепал дедушка.

Выдираются гвозди старого пола. Скатываются бревна стен.

И всё... Все соседи. Все мальчишки жалеют старый дом.

Грустно стоит на дворе за сараем старый пароход. Ломают и его. Затем на месте парохода роют яму и гасят в ней известь.

Прощай пароход. Прощай дом. Но...

Но приходит Всеволод Владимирович и говорит:

— О чем же вы, Екатерина Матвеевна?.. Разве ломают, а не перестраивают ваш дом? Разве пропадет хоть одна половинка кирпича, разве хорошие, старые сухие бревна не станут досками, рамами нового дома, новой гимназии?

И слезы сохнут на тети Катином лице. И тетя Катя улыбается. И есть чему. Потому что на других снимках видно, как поднимаются

стены новой гимназии, как поднялась она, белая, оштукатуренная, трехэтажная, с красивым куполом на углу, с лепными украшениями, с балконом на одном фасаде и с четырьмя колоннами на другом, где главный и самый парадный вход.

Снимок отрывного календаря. На календаре уже 1 августа, и в доме работают маляры. Как жаль, что на снимках нельзя показывать краски. Ничего, и так видно, каким красивым стал старый дом.

Память и воображение Маврика листают страницу за страницей альбома, который мог бы быть... А на страницах новые снимки. Некоторые из них тоже шевелятся, как в «Прогрессе», а иногда и разговаривают.

Множество народа. Пришли почти все родители. Господа и простые. Торжества открытия. А потом, пятнадцатого августа...

Опять листок из календаря.

Маврик и его товарищи входят в новое здание. Светлые классы. Широкие коридоры. Не верится, что здесь когда-то стоял дом, где жил Маврик, где болел корью, где лежала в гробу бабушка... Зачем вспоминать об этом? Теперь стоит здесь дом для всех, для многих. Если б знал об этом Иван Макарович!

### III

Кажется, это было давным-давно, а в общем-то совсем недавно. Эти годы минули, как месяцы летних каникул. Тетя Катя поселилась в маленькой квартирке на тихой улице в Замильеве. Если бы не Киришбаумы, она бы жила у сестры во флигеле.

Жизнь тети Кати теперь совсем одинокая. Маврик не так часто бывает у нее. Он подросток. А когда закончит гимназию и уедет в Томск вместе с Ильешей Киришбаумом в технологический институт, тетя останется совсем одна-одинешенька.

Родня да и посторонние люди от души советуют ей выйти замуж. Женихи есть. Целых три. Один служит на почте. Второй — лесничий. Тоже вдовец. И третий, самый настырный, Даниил Феоктистович Судьбин. Одна фамилия что стоит. Не зря Екатерине Матвеевне сказали, что от Судьбина, как от судьбы, не уйдешь.



У Даниила Феоктистовича свое дело. Мастерская, и даже две. Товар всегда в спросе. Он гробовщик. Единственный на всю Мильву. Остальные пробовали было зашибать копейку на смертях своих ближних, да Судьбин не дал ходу никому. Сам на смертях жил — покойников обирал.

Екатерина Матвеевна на предложение Судьбина ответила мягко и необидно:

— Не подхожу я вам, Даниил Феоктистович, а чем — позвольте не объяснять.

И все опять сказали, что, значит, такова судьба. Значит, это все предначертано свыше.

Но кем предначертано? Неужели есть кто-то, который предначертывает судьбы? Как же у него хватает времени предначертать каждому свою судьбу, если только в одной Мильве столько тысяч судеб? Для этого же нужна огромная контора, куда больше, чем заводская!

Может быть, этим занимаются ангелы?

Может быть. Но как они пишут судьбы? Неужели как вздумается, так и пишут? Наверно, так. Если бы это было иначе, то как бы первый ученик Санчик Денисов мог, окончив три класса школы, не попасть хотя бы в городское училище, а пошел рассыльным на завод? Почему? Неужели тому, кто писал его судьбу, захотелось такого способного мальчика лишить образования и заставлять разносить бумажки.

А почему балбесу Игорю Мерцаеву судьба пожелала дать велосипед? И не один велосипед, но и ружья, настоящие сабли, электрический свет в доме и настоящую охотничью собаку? И это считается справедливым? И за это нужно благодарить судьбу?

Конечно, Игорь должен благодарить судьбу, но Санчику-то за что ее благодарить? За три рубля, которые он получает в месяц, носясь по улицам? Или за то, что еще бабушка Митяиха не слепла и добывает на паперти копеечки и куски?

Маврикию Толлину хотя и грех жаловаться на судьбу, но и благодарить ее не за что. Он сыт, одет, учится, переходит в третий класс гимназии, так это же благодаря деньгам, а не судьбе. Конечно, можно говорить, что и деньги даются судьбой. Значит, вор, который их ворует, вовсе не виноват, что он вор, а виновата судьба, предписавшая ему быть вором? Зачем же его, а не судьбу наказывают тюрьмой?

На это никто и никогда не ответит, как никто не ответил, почему бог, начиная с Адама и Евы, все испытывает и испытывает людей, придумывая им всякие соблазнительные ловушки, а потом без конца наказывает и пугает людей. Разве нельзя было сразу предначертать им хорошую судьбу и уберечь от греха? Зачем понадобилось ему выращивать яблоки познания добра и зла?

Это и безбожно и бесчеловечно.

Нужно же как-то и когда-то выяснить, есть ли судьба. А если судьбы нет и ее придумывают, чтобы оправдать то, что не может быть оправдано, значит, нет и того, кто пишет судьбы?

Впрочем, что об этом рассуждать, когда и без того так много невыясненного. А с кем выяснять? Не все можно спросить у тети Кати. Да и не на все способна она ответить.

Екатерина Матвеевна все свободное время шила. Заказчики были из больших господ. Зашеинская работа, ее ручной шов ценились хорошим рублем.

Ежегодно, раза два, а то и три, Екатерина Матвеевна уезжала. То в Саратовскую пустынь на богомолье, то в Белогорский монастырь под Кунгуром. А то просто так — в города посмотреть новые фасоны платьев. Иногда брала с собой Маврика.

Маврику очень хотелось в поездках встретить Ивана Макаровича, и однажды ему показалось, что он видел его в меблированных комнатах, где они жили в Сарапуле.

Однако тетя Катя сказала, что Маврик ошибается, что виной этому шоколадное мороженое, потому что всякий шоколад, в том числе в мороженом виде, возбуждает воображение. Успокаивая племянника, Екатерина Матвеевна говорила, что Иван Макарович Бархатов жив, здоров и чувствует себя очень хорошо. А как и откуда она знает об этом — просила не любопытничать.

Это очень странно. У нее от Маврика завелись секреты. Она, кажется, недоговаривает что-то при нем о боге. Но разве можно провести Маврикия? Он стал замечать, что у тети Кати портятся отношения с богом, хотя она и ездит по монастырям.

Скорей бы уж вырасти Маврику и узнать все, а то живешь неизвестно кем. И не маленький и не большой. Кругом идут такие серьезные разговоры! Все рассуждают, размышляют, а ты ничего не можешь понять. Взять того же доктора Комарова... Он при всех

говорит, что тишина, мир и покой сохраняются только в таких городках, как Мильва, в большом свете давно уже пахнет порохом. Комаров предсказывает неминуемую войну.

Вот и сейчас, в кругу своих друзей и знакомых, Николай Никодимович Комаров говорит о войне. Все слушают его, и никто не верит в войну.

В войну не верят никогда, во всяком случае до того, пока она не начнется.

#### IV

— Ах, господа, господа, хотим мы или не хотим, хотят или не хотят императоры, короли, президенты, парламенты и министры, но война неизбежна. Миром уже давно не управляют коронованные, помазанные и возведенные на престолы особы... — Сказав так, доктор Комаров подошел к роялю, сел за него и, слегка фальшивя, извлек аккорды, предшествующие известным куплетам Мефистофеля, затем довольно приятно пропел:

На земле весь мир людской  
Чтит один кумир священный,  
Тот кумир телец златой...

Считая это неоспоримым доказательством, он снова обратился к гостям:

— И этот телец, господа, в наше время не нечто отвлеченно-аллегорическое, а совершенно зримый и абсолютно воинственный золотой бронированный бык, чем-то отдаленно похожий на нашего чугунного медведя, хочет владеть миром или хотя бы переделать его по-новому... И ему подчинено все. Правительства и армии. Суша и море. Смерть и жизнь народов.

Подтверждая сказанное, Николай Никодимович Комаров снова прибег к роялю и запел, видоизменяя канонические строки куплетов Мефистофеля:

Люди гибнут за металл,  
Люди гибнут за металл,  
Утверждая капитал,  
И немецкий, и английский,  
И французский, и российский.  
Сатана там правит бал,  
Правит бал...

— И так далее, — сказал он, оставляя рояль и возвращаясь к столу, за которым сидели мильвенские «тузы коммерции», в том числе Чураков, Куропаткин и помельче, инженеры завода и его смотритель... Здесь сидели члены общества драматического искусства, в частности тетка Маврика Лариса Ивановна, исполняющая роль пожилых героинь, Григорий Савельевич Киршбаум, играющий всех — от лакеев до Бориса Годунова, и некий Всесвятский, свободный художник, по совместительству душеприказчик, пишущий деловые, сутяжные, любовные и другие письма по весьма сходным ценам, принятый, как уже было сказано, в сверхлиберальной квартире Комарова, потому что двери ее были открыты для доподлинных талантов. А Всесвятский был талантом, потрясавшим партер, балкон и галерею общественного собрания. Находился там и пристав Вишневецкий, не стеснявшийся, да и не смеявшийся стеснять свободомыслие опиравшегося на неоспоримые факты, независимого в своих суждениях, не связанного ни с какими партиями доктора Комарова.

— Германия, — говорил он, — опередив Англию в промышленном отношении, чувствуя тем не менее себя ущемленной, ищет сбыта своим товарам, хочет привилегированного положения, стремясь низвести Англию и Францию... А те, в свою очередь, не пожалеют пороха, чтобы подорвать германское могущество. Война неминуема, господа. Я читаю газеты всех направлений, господа, и в том числе любопытнейшие из газет, которые мне любезно предоставляет Аверкий Трофимович Мерцаев. Хотя эти газеты господ большевиков и находящиеся под их влиянием явно тенденциозны, тем не менее... тем не менее... — Тут, сделав паузу, доктор обратился к приставу: — Прошу пропустить это мимо ушей, Ростислав

Робертович. Скажу со всей медицинской объективностью — в них преобладает объективная правда.

Комаров знающе и снисходительно улыбнулся. На его крупном бритом лице, какие бывают у театральных комиков-толстяков, появилось нечто долженствующее означать гадательное глубокомыслие. Знаток и провидец по иностранным делам не должен оставлять неотвеченными те вопросы, на которые он не мог ответить. Но на этот раз Комаров ничего не выдумывал.

— Наша великая держава, может быть, и хотела бы оставаться самой по себе, но мы зависимы...

— Мы? — спросил Вишневецкий. — Мы — и вдруг зависимы? Каким образом, Николай Никодимович? От кого?

— Экономически, батенька мой, — ответил доктор, — от французских промышленников и от английских. И они втянут. Они непременно втянут нас в войну с Германией... Да и наши капиталисты не очень довольны, — сказал он, покосившись на Чуракова, — не очень довольны немецкой конкуренцией.

— Это уж точно, — подтвердил Чураков, будто и он, владеющий двумя-тремястами тысяч, мог относиться к разряду тех капиталистов, которые влияли на состав правительства, на заключение военных союзов и поговаривали о царе куда более решительном и близком им, нежели царствующий ныне Николай Второй. — На что, к примеру говоря, — продолжал Чураков, — взять простецкую машинку — мясорубку. Наша тяжелее, дороже и хуже. А ихняя — германская — легче, крепше, дешевле и лучше. Их и берут. А куда наши деньги идут? В Германию. И я, скажу начистоту, недоволен этим, хотя и вынужден торговать немецкой конкуренцией.

Комариха, как называли за глаза сухощавую, не смуглую, а скорее черную и очень некрасивую жену доктора Конкордию Павловну, приказала подавать грог.

Разговоры о войне, союзниках и противниках заменились застольной Бетховена. Пел тот же доктор Комаров. К нему присоединилась жена. Ее лицо, позволяющее играть без грима страшнейшую из чертовок, вдруг озарилось и стало приятным. Ее низкий голос заполнил все:

Выпьем, ей-богу еще...  
Бетси нам грогу нальет.  
Бездельник, кто с нами не пьет.

И все потянулись к грогу. Глядя на преображенное лицо демонической чаровницы, можно было поверить слухам о том, что нотариус Шульгин влюблен в Конкордию.

Шульгин появился в дверях из соседней комнаты, где он, протоиерей Калужников, Шульгина и Герасим Петрович Непрелов играли в карты.

Певицу попросили на бис, и та, не жеманясь, с радостью исполнила под аккомпанемент мужа хабанеру с кастаньетами. И всем стало весело.

Обширный круг лиц, различных по своему положению в обществе, объединяемый Комаровым, был едва ли не единственным собранием в Мильве, где можно обменяться хотя и не столь новыми, но все же новостями, где безнаказанно разрешено говорить куда свободнее, чем во всякой другой компании, потому что этот круг лиц не представлял из себя единомышленников или кружка, объединяемого общими идеями.

Нет. Это был легальный клуб болтунов, как справедливо охарактеризовал его губернатор после ознакомления с агентурным делом, озаглавленным «Комаровские вечера в Мильве».

Пристав и постоянный агент в Мильве по кличке «Аполлон», о существовании которого не знал Вишневецкий, регулярно доносили об этих «комаровских вечерах», но значения доносениям не придавалось. Это поражало пристава Вишневецкого. И ему иногда казалось, что доктор Комаров не просто независимый либерал вольнодумец, а «некто», имеющий особые и свыше разрешенные права на «свободомыслие и вольнословие», без каких то же нельзя обойтись в управлении губернией.

Минуло то время, когда Григорий Киршбаум, как, впрочем, и Герасим Петрович Непрелов, жил безвестно и учтивейше раскланивался первым чуть ли не с каждым встречным.

У Григория Савельевича так дела идут хорошо и он так искусно играет роль преуспевающего предпринимателя, что Анна Семеновна иногда, спохватываясь, спрашивает себя: да уж в подполье ли они?

Киршбаум одевается в Перми у лучших портных, и куропаткинские закройщики срисовывают фасоны пиджаков, визиток, пальто и жилеток, которые носит господин Киршбаум. Он пока еще колеблется, купить ли ему типографию Халдеева или, вернувшись в Пермь, открыть большое штемпельное предприятие на всю губернию.

Григорий Савельевич, кроме всего прочего, и артист драматического общества, печатающийся в афишах под псевдонимом Грегуар Вишнедрев, потому что его фамилия в переводе означает — вишневое дерево, а кроме этого, артистическая фамилия Вишнедрев приятно перекликается с фамилией пристава.

Григорию Савельевичу теперь приходится бывать в Перми, Петербурге, Москве, Казани. У него же закупки и поставки. Киршбаум кроме заказных изготавливает и готовые штемпели. Наборами. В очень красивых полированных коробках. Каждая из коробок имеет свое название: «коммерческие штемпеля» или «канцелярский набор», и в таком наборе тридцать или более наиболее употребляемых штемпелей, например: «Управляющий», «Доверенный», «Бухгалтер», «Счетовод», «Канторщик», «Делопроизводитель», «Входящий №...», «Исходящий №...», «В дело №...», «Срочно», «Оплачено», «В кредит до... дня... месяца... 191... года», «Остерегайтесь подделок», «Всегда к вашим услугам...». И тому подобные штемпеля, включая передвижной штемпель с числом, месяцем и годом. И пусть в коробке с надписью «Универсальные штемпеля Киршбаум и К<sup>о</sup>» есть и такие, что не нужны всякому, зато каждый из них стоит втрое дешевле заказного. А кроме этого, в наборе есть и то, что бы не пришло в голову заказать.

Где штемпеля, там и штемпельные подушечки в жестяных коробках. Там и медные сургучные печати и факсимиле. И удобные штемпеля в коробочках для ношения в жилетном кармане. Как же можно не открыть специальный металлический цех? Не в центре Мильвы, где помещения дороже, а на окраине. И если уж есть

металлический цех, то почему бы в нем не гравировать медные дощечки на парадные двери. Допустим:

*доктор*

*Николай Никодимович*

*Комаров*

Красиво и солидно. И что из того, что такой бланк, выгравированный на выпуклой пластинке меди, стоит дорого и не всякий может его заказать. Иного выхода нет. Киршбаум давно уже ни копейки не получает из партийной кассы, а, наоборот, пополняет ее. Поэтому приходится применять все знания и умение, чтобы окупать расходы на стереотипы листовок и прокламаций, распространяемых бесплатно, и прибегать к изощрениям. Например, не так уж трудно изготовить штемпеля с изображением зверей и уложить их в коробочку с красочной надписью «Зверинец». Обеспеченные родители всегда найдут полтора рубля для того, чтобы их мальчик или девочка печатали на бумаге львов, волков, жирафов, орлов, попугаев, а затем сажали их в клетки при помощи повторного штемпеля. Оригинальная игрушка. И главное — рубль, пусть девяносто копеек чистой прибыли на подпольную работу.

Увозит казанский экспедитор ходкие штемпеля-игрушки для детей, которые потом будут продаваться в различных городах, а вместе с ними пойдут другие изделия штемпельной мастерской, рассказывающие о Ленском расстреле, о земле, принадлежащей крестьянам, о равноправии наций, подъеме забастовочного движения, о депутатах-большевиках в Думе, о газете «Правда» — газете тружеников. И все, чем живет партия, подполье, находит живой оперативный отклик в мастерской Киршбаума на Песчаной улице. И чем напряженнее скрытая работа, тем изобретательнее производство безделушек.

Киршбаум решил скопировать домашнюю типографию «Иоганн Гутенберг». Тоже коробочка. А в коробочке резиновые буквы, из



которых можно набрать в желобки-державки три строчки. Хочешь — набирай: «Игорь Мерцаев, гимназист пятого класса ММГ»; хочешь — набирай: «Имею честь поздравить Вас с широкой масленицей». А можешь и: «Завтра всеобщая забастовка. Бросай работу». Кому что надо, тот то и набирай. За это не может отвечать Киршбаум и К°. Так можно преследовать и фабрики, изготовляющие карандаши, которыми тоже можно писать всякое.

Пристав одобрил затею изготовления типографии для детей «Иоганн Гутенберг», когда Киршбаум преподнес Юрочке Вишневецкому первую пробную коробку типографии. И вообще, Григорий Савельевич не предпринимает никогда и ничего, не посоветовавшись с умнейшим в губернии Ростиславом Робертовичем, которому Киршбаум никогда не забывал делать подарки. К пасхе. К рождеству. На масленицу. И просто так в обыкновенные дни. Разные это были подарки. В свертках, в ящиках, в коробках, случались и в конвертах, потому что Григорий Савельевич не всегда знал, что нужно Ростиславу Робертовичу, и просил его купить себе подарок по усмотрению. И это был подарок, и только подарок, и ни в коем случае не взятка. За что же взятка? Григорию Савельевичу ровным счетом ничего не нужно от пристава и не будет нужно. Но нельзя не быть благодарным Вишневецкому за его умение молчать о некоторых подробностях жизни семьи Киршбаумов. Пристав знает, что супруги Киршбаум не состоят в законном браке, и не разглашает этого. А мог бы... Мог бы заставить Анну Семеновну именоваться ее девической фамилией Петухова, которую она носит и по сей день. Ростислав Робертович постарался не обратить на это внимание. Мало ли на свете любящих сердец, приписанных к различным вероисповеданиям, которым нельзя стать законными супругами. Вишневецкий смотрел на это сквозь пальцы.

Не только Анна Семеновна, но и остальные входящие в подпольную организацию считали, что удачи стали их неизменными спутниками.

Не стремясь к авантюристике, чуждой по природе большевикам, они неизбежно попадали в водоворот жизни, которая требовала изощренности, хитрости, притворства, обмана...

Хочет или нет Григорий Киршбаум выгладеть франтом, стяжателем, любителем кутнуть, мечтающим стать капиталистом, —

он вынужден так себя вести. Быть на виду — для него единственный способ оставаться в тени. Прячась, он не мог проявить и обычный интерес к общественной жизни, к политике, к чтению газет. Это обязательно бы кого-то насторожило. До сих пор Киришбаум не чувствовал, что для кого-то он представляет особый интерес. Но недавно в мастерскую пришел некто, отрекомендовавшийся обрусевшим немцем — Иоганном Карловичем Таубе — и на первый случай предложил Киришбауму золотарный пресс, переконструированный для ускоренной вулканизации штемпелей.

Киришбаума посетили беспокойные мысли.

А немец тем временем рассказывал, что он предполагает создать посредническую контору, которая будет за малое вознаграждение доставлять всякому желающему все, что есть, вырабатывается, производится и поступает в продажу. Например, для Варвары Емельяновны Матушкиной он предлагал усовершенствованное зубоорудованное кресло и наборы зубов, которые невозможно отличить от натуральных. Для Всеволода Владимировича Тихомирова он может предложить партию новейших шведских парт.

Осведомленность немца была поразительной, знание имен более чем подозрительно. И как же был счастлив Григорий Савельевич, когда подоспевший на встречу с немцем Кулемин обнялся и расцеловался с ним.

Приезжий чувствовал себя в роли предпринимателя Иоганна Таубе так же свободно, как в свое время в роли монаха, прибывшего с Иваном Макаровичем Бархатовым для спасения Тихомирова.

Обрусевший немец Таубе побывал во многих домах, выясняя спрос. Состоялся разговор и с аптекарем Мерцаевым. Провизор на все лады восхвалял образованного поставщика. Понравился он и доктору Комарову. Хорошо отзывались и остальные, у кого ему довелось быть. Теперь «коммерсант-комиссионер» Таубе мог совершенно открыто, не вызывая ни у кого подозрений, предложить зубному врачу Матушкиной новейшие принадлежности. Он так и сделал. Матушкина получила письма от сестры и Валерия Всеволодовича. Вскоре произошла большая встреча приезжего с глубоким подпольем Мильвы.

Наступал новый революционный подъем — рассказывал приехавший посланец ЦК. Бастовало в минувшем году более

миллиона рабочих. Крестьяне уничтожали столыпинские кулацкие хутора, имения помещиков. Возникали волнения в армии, на флоте.

— Самое трудное время позади, товарищи, — повторял он обращение Центрального Комитета к партийным организациям. — Наступают новые времена. Надвигаются величайшей важности события, которые решат судьбу нашей родины. За работу же!

## VI

Было бы непростительным полагать, что тайный надзор в Мильве ограничивался грубой слежкой полиции, ее агентов, распознаваемых с третьей фразы. У Емельяна Кузьмича Матушкина был пусть не полный список шпииков и провокаторов, но все же и в нем числились почти тридцать человек, работавших в цехах, в конторах, служивших по вольному найму.

Но в этом списке не было свободного художника и артиста комаровской группы Антонина Всесвятского. Он хотя и болтался в различных слоях населения, но никогда не заводил политических разговоров, и его можно было отнести к ищущим удачу через богатую невесту прожигателям жизни, каких было немало в Российской империи. Зоркий Матушкин махнул на Всесвятского рукой, особенно после появления в Мильве овдовевшей пароходчицы Соскиной.

Матушкин, думая так, был прав, но, думая только так, он жестоко ошибался. Всесвятский знал о Киршбауме и Артеме Кулемине больше, чем можно было представить. Это был одареннейший прохвост и мастер ювелирнейших подлостей.

Кто же такой Всесвятский, от которого теперь зависит жизнь и свобода многих мильвенских большевиков и существование так трудно создаваемой и так искусно скрываемой подпольной типографии?

Его подлинная фамилия — Гуляев. Успешно заканчивая семинарию, он и не собирался применять свое духовное образование на благо веры. Красавца, певца, сочинителя, прирожденного артиста звала иная жизнь. По нему сохло немало невест. За одними давались в приданое богатые приходы, за другими доходные вакансии, за третьими — торговые заведения, паи в пароходных компаниях. Но все

это ему, мечтавшему сверкать в столицах, казалось низкой оплатой за его свободу. Как можно ищущего миллионы соблазнить какими-то тремя — пятью десятками тысяч рублей, да еще с обязательной придачей к ним супружеских кандалов. Лучше уж он будет торговать собою в розницу за меньшую плату, чтобы в итоге больше собрать и сохранить независимость. Так он и начал свой путь восхождения к легкому обогащению, сорвавшись, по неопытности, на первой ступени. Глава семинарии, уличив свою жену в избыточной щедрости к семинаристу Гуляеву, припугнув его тяжкими наказаниями, заставил молодого человека покинуть город, однако не сумев отобрать у него полученного им деньгами и драгоценностями вознаграждения, потому что для этого потребовалось бы обращаться к судебным властям и предавать огласке то, что лучше было сохранить семейной тайной.

Возмужав после первого промаха, Гуляев действовал куда хитрее и осторожнее. У него было на что обзавестись блистательным гардеробом и, выдавая себя за человека из обеспеченного круга, стать на подмостки провинциального театра, не гонясь за жалованием и бенефисами, что как нельзя лучше устраивало антрепренеров.

Сверкающий герой-любовник, успешно игравший шекспировского Ромео, гоголевского Хлестакова, вел роскошный образ жизни, одаряя деньгами друзей, покупая одежду нуждающимся трагикам и несчастным комикам; он был равнодушен к вниманию прехорошеньких инженерю, знаменитых прим, утверждая, что только таинство брака может позволить ему обнять женщину.

Молодого артиста находили человеком не от мира сего. К тому же он был необыкновенно религиозен, с чувством пел на клиросе, подавал щедрые милостыни. В лучших господских и купеческих домах почитали за честь появление блистательного на сцене и застенчивого в жизни ангелоподобного артиста, для которого низменно и то, что для остальных нормально.

Нежно и платонически отвечая на воздыхания млеющих дочерей видных губернских тузов, промышленников, купцов, он сочинял для них невиннейшие куплеты, исполняемые под гитару, оставлял в их альбомах целомудреннейшие стихотворения, вроде:

Настанет час, и постучится в сердце  
Незнаемого чувства властная рука.

Или в этом же роде:

Я боюсь расплескать тебя, полная чаша  
Нежных чувств и священной любви...

Ни одна из барышень не могла уличить набожного Гуляева даже в двусмысленном взгляде. Он был чист, как небожитель.

Да он и не мог быть другим, специализируясь на уловлении, а затем ограблении томящихся купчих, скучающих барынь, стареющих богачих. Он был беспощаден к своим жертвам. Угрожая предать гласности то, что скрывалось от именитых, богатых и обманутых мужей, он не был умерен. Брал деньгами, золотыми вещами, бриллиантами. Этот вид аферы сходил всегда безнаказанно. И он мог уехать за границу, сказавшись там каким-нибудь опальным графом, жениться на миллионе и зажечь той счастливой, безмятежной жизнью, какой жили многие, числясь порядочными людьми.

Но жадность никогда не бывает сыта, а успех, как бы велик он ни был, никогда не хочет быть последним.

Накопив достаточно, отрастив для солидности усы и приобретя в театрах светские манеры, Гуляев появился в Екатеринбурге, где сразу же обратил на себя внимание. И вскоре, через прелестную красотку актрису, втерся в дом хищника, скупающего на частных и казенных приисках краденое золото.

Разбойники очень скоро поняли и оценили друг друга и составили «золотую компанию». Молодой делец, войдя в курс дела, понял, что ему может принадлежать не половина, а все золото. И он ограбил компаньона. Ограбил, зная, что тот, боясь за свою жизнь и свободу, не предаст его. А он предал себя и его в руки правосудия. Потому что жажда мести, обида за поруганную любовь к прелестнице-актрисе были сильнее страха перед каторгой и даже виселицей, которая все-таки исключалась «чистосердечным» признанием.

И оба преступника оказались за решеткой. Золото найдено, конфисковано, приговор подготовлен. По этому приговору тот и другой продолжают добывать золото, но уже прикованными к тачке.

И так бы случилось с обоими. Но так случилось только с одним.

## VII

Производивший следствие чиновник убедился, что Гуляев принадлежит к одаренным аферистам большого пошиба, сообщил о нем в губернское жандармское управление, где нередко подобные лица находили особое применение.

Гуляевым заинтересовались. Затем произошла встреча и прямой разговор Гуляева с жандармским полковником. Полковник сказал прямо:

— Зачем же пропадать способностям, которые могут быть полезны царю и отечеству? Что же касается каторги, — добавил он Гуляеву, — то тебя туда никогда не поздно послать... Но я думаю, ты этого не заслужишь...

Вскоре состоялся суд. На суде обвиняемые в незаконной скупке золота получили пожизненную каторгу в разные места. Затем дела арестованных были переданы для исполнения. Не доезжая Омска арестант Гуляев был взят из вагона жандармами для повторного дознания. И вскоре новый агент под приятнейшей кличкой «Аполлон» и с паспортом на имя Антонина Александровича Всесвятского, происходящего из духовного звания, был направлен в Мильву, где он должен «естественно» осесть, а затем повиноваться всякому, кто назовет по кличке — Аполлон.

Так Всесвятский оказался в Мильве, где ему было разрешено все, кроме романов с богатыми женщинами.

С первых же шагов Всесвятский показал себя честнейшим, тщательнейшим и осторожным. Он сумел дать точную характеристику всех лиц, бывающих у доктора Комарова, и в том числе господина Вишневецкого, которого он безбоязненно и нелицеприятно называл «человеком, печально ограниченным своей самонадеянностью». С чем были вполне согласны в губернии.

Всесвятский и подобные ему, непосредственно подчиненные губернии, не знавшие один о другом, встречались с наезжающими жандармскими чинами в штатском. И у каждого из них было свое место встречи. Каждому из них писала какая-нибудь тетушка, вдовушка или швейка, предупреждая о дне приезда и передаче посылки или подарка. Каждый из них знал адрес «своей тетушки» на случай экстренных сообщений.

Началась жизнь, лишенная того блеска, к которому привык авантюрист. Мучительно тянулось время, не принося сколько-либо заметной удачи, которая позволила бы получить амнистию, свободу действий и право проживания в крупных городах. Но однажды сверкнул луч надежды...

Проверяя всех, в ком можно было найти что-то подозрительное, Всесвятский распознал многих своих коллег например провизора Мерцаева, Шитикова из страхового общества «Саламандра», приказчика Козлова из магазина готового платья Куропаткина, с которым тоже встречался приезжавший «начальник» из Перми. Заподозрен был Всесвятским и Артемий Кулемин. И он решил проверить, так ли это.

Раскрыть себе подобных Всесвятскому было необходимо для того, чтобы знать, кто следит и за ним. Ведь не будет же он вечно томиться в Мильве. Представится же случай поймать жар-птицу и улететь на ее крыльях за границу.

Проверяя, не агент ли Кулемин, время от времени наблюдая за ним, Всесвятский заметил его частые прогулки на Омутиху. Пусть он действительно подвержен страсти рыболова. Но почему не проверить? И однажды — это было ранней весной, когда в Мильве появился жандармский чин в штатском, — встретился Кулемин, отправляющийся на рыбную ловлю. В эти недели был закончен подводный лов и вообще никакая рыба не ловилась. Это показалось Всесвятскому подозрительным. Не на встречу ли с приезжим из Перми отправляется Артемий Кулемин? Раздумывать некогда. Нужно проверить. Всесвятский окольным путем на извозчике опережает Кулемина и ждет его на пруду, затаившись в камышах.

Всесвятский не ошибся. Вскоре на мельничном пруду появился Кулемин. Он шел неторопливо, не озираючись, никого не ожидая.

Дойдя до кромки камышей, Кулемин остановился. Сел на свой ящик. Закурил.

Засевший в камышах Всесвятский не дышит. Теперь Кулемин явно кого-то ждет. Слушает тишину. Никто не приходит. Но придет. Всесвятский убежден в этом. Ему тоже приходилось бывать на таких загородных встречах.

Сумерки готовы смениться темнотой.

Чу! Шаги. Это он!

Нет, не он, а какой-то старик. Старик с посошком. Он точно идет на Кулемина. Они здороваются. Что-то говорят. Обмениваются какими-то свертками. Вскоре расходятся.

Это и было началом неожиданного открытия.

## VIII

Возвращаясь в Мильву пешком, Всесвятский решил, что не станет писать никакого донесения. Если неизвестный старик является посредником между приехавшим из губернии начальником Аполлона и Кулеминым, Всесвятский должен скрыть эту тайну. Если же это что-то другое, то невыгодно оповещать и наводить на след других. Уж лучше пусть это будет его открытием, которое может принести ему свободу.

С волками можно жить только по волчьим законам. Всесвятский может продать чужую тайну, но в обмен на что-то. Во всяком случае, не за понюшку табака. Хватит с него и комаровской компании, каждого из которой он добросовестно изучает. Но заниматься этим всегда и служить людям, которые такой ценой его избавили от каторги, — милль пардон.

Рассуждая так, он вышел на плотину, освещенную дуговыми фонарями. Вечер все еще наступал рано.

Всесвятский и не заметил, как обогнал его мальчик в старой шубейке. Это был Санчик. Он бежал сам по себе, Всесвятский шел сам по себе. Никакого отношения они друг к другу не имели. У каждого из них свой мир и, конечно, своя судьба. Так думает большинство незнакомых людей, живя в одном мире, в одной судьбе.



В данном случае Санчик Денисов имел случайное отношение к Антонину Всесвятскому. Он в числе других писем, направляемых в казначейство, нес небольшую клетчатую секретку, которую миллионерша Соекина, вручая гривенник Санчику, попросила передать лично артисту Всесвятскому. Артист Всесвятский жил неподалеку от Санчика, а мать Санчика стирала Соскиной тонкие вещи и нередко посылала к ней сына, чтобы занести выстиранное, за что Санчику всегда перепадала беленькая денежка. Исполнительный и серьезный Санчик заслуживал доверия куда большего, нежели приживалка, горничная, кучер, кухаркин сын и тем более — почта.

На плотине холодно. Санчик бежит вприпрыжку, отворачивая от ветра, дующего с пруда, свое сухонькое личико. Он, как и всякий, думает о своем. А думает он о том счастливом дне, когда его примут в судовой цех нагревать заклепки. Тогда он будет получать больше, чем выплачивают отцу по инвалидности. Он из первой же полочки купит матери валенки, отцу пачку гильз «Катык» и коробку настоящего турецкого табака, а старшей сестре Жене маленький флакончик духов. Потому что скоро вернется младший унтер-офицер Павел Кулемин. И нужно, чтобы от Женечки пахло, как от настоящей барышни.

Теперь уже не так долго осталось ждать до свадьбы. И тогда у него появится человек, которого можно называть старшим братом. И старший брат поступит в оружейный цех, выучит Санчика тонкой работе, и тогда Денисовы заживут как люди, с обедом и ужином, с белым хлебом по утрам и с жареными пирожками по воскресеньям. И это будет большой радостью, а пока дует пронизывающий ветер. Плохо греет полысевшая шубейка. Валенки совсем прохудились от беготни по заводу, и в них набивается снег, а треушок не закрывает лица.

Встречные не обращают внимания на Санчика. Они не знают, что это бежит обездоленное детство академика и депутата Верховного Совета Союза ССР Александра Васильевича Денисова... Знай бы об этом тот же Всеволод Владимирович Тихомиров, то Санчик наверняка был бы принят в гимназию. А если бы Всеволод Владимирович знал, что Санчик спасет от неминуемой гибели внука Тихомирова — Викторина, то за Санчика не только вносилась бы плата за обучение, он был бы обеспечен всем — от одежды и до питания, от учебников и до карманных денег на мелкие расходы. Но тогда бы... Тогда бы,

наверно, и вернее всего, Санчик не стал академиком и депутатом Верховного Совета, как не станут ими те из его сверстников, которые сидят за хорошими партами в теплых классах мильвенской мужской гимназии.

Беги, Санчик, беги. До казначейства уже совсем недалеко. Там тепло, и ты сразу согреешься, а потом помчишься домой. У твоей бабушки сегодня была богатая милостыня. Она принесла множество кусков, и среди них огромный кусище изюмного пирога из белой хорошей муки.

Беги, милый дружок, беги. Путь твой никогда не будет легким, как у всех таких же, как ты. Зато этому пути позавидуют многие в мире и не поверят, каким ты рос, как начиналась твоя трудовая жизнь.

Беги! Валенки в общем-то не так уж худы, да и скоро весна. Потом лето. А пирог с изюмом такой вкусный, такой мягкий. И бабушка тебя так ждет...

Наверно, не все согласны, что мы делаем такие скачки, перемещаясь в одной и той же главе на сорок — пятьдесят лет туда и обратно. В самом деле, допустимо ли так нарушать единство времени, места и развития действия? Но как быть, коли роман кончится задолго до того, когда Санчик Денисов станет известным ученым. Добросовестно ли скрывать его блистательную будущность от читателя? Не интереснее ли будет следить за жизнью этого робкого, незаметного мальчика, зная, какого человека вырастит из него Советская власть, которая тоже еще впереди...

## IX

Словом «судьба», как и словом «счастье», люди злоупотребляют больше, чем всякими другими словами, и в песнях, и в разговоре, и, конечно, в любовных письмах.

Антонин Всесвятский оторвал перфорированные краешки секретки и прочел ее при Санчике в тот же вечер, после съеденного им изюмного пирога. В секретке всего лишь одна строка:

«Зачем вы отвертываетесь от судьбы и счастья?»

Санчик получил пятак. Ого! Значит, можно побежать в «Прогресс». Там новая картина про разбойников. Однако же...

На ладони Всесвятского появляется еще пятак. А затем он просит снести ответ. Сегодня же. Сейчас же.

Ответ не длинен: «Не от судьбы отвертываюсь я и не от счастья, а от игры судьбой и счастьем».

С этого дня Санчик мог ходить в «Прогресс» ежедневно, и все равно оставались деньги, которые он мог отдавать матери.

Всесвятского не узнавали в Мильве. Он был задумчив и рассеян. Он пел никогда никем не слышанные романсы:

Русалка, зачем ты играешь со мною,  
Ведь я не волна, я живой человек...

Но это еще что. Был романс, который повторяла Конкордия Комарова и пела его при всех, называя имя автора. И Соскина слушала.

Твои слова туманные,  
Твои глаза бездонные,  
Твоя любовь обманная,  
А жизнь моя бездомная,  
Тоскливая как дождь.

И рефрен... Плачущий, ноющий рефрен, навевающий невероятное сострадание:

Как дождь осенний морозящий,  
О чем-то плачущий, скорбящий,  
Молящий дождь!  
Молящий дождь!

Затем рыдающие аккорды и новый куплет, полный упреков и страданий, надежды и признаний... И снова дождь, о чем-то плачущий, скорбящий...

И так две недели при Соскиной и без Соскиной. Стихи и романсы. Печальное лицо и влюбленные глаза. Наконец мадам

Турчанино-Турчаковская, которой становится ясно, что три крупных бриллианта платиновой круглой броши, усыпанной двадцатью семью голубыми бриллиантами, могут перейти с истомившейся груди Натальи Соскиной на грудь Матильды Ивановны, задумывает спиритический сеанс. А так как она не могла доверить никому другому свое тайное общение с духами, то под величайшим секретом приглашаются только двое надежных из надежнейших — Соскина и Всесвятский. Она сказала:

— Жду. Сам уехал в Петербург. Пришлю закрытую карету. — Это ей. А это ему: — Я не беру с вас клятвы, Антонин, но я надеюсь... — И далее ложная причина приглашения, выражение особого доверия и обещание быть благодарной за любезность.

Матильда была достойной своего мужа. Она умела владеть собою и вертеть другими.

Сеанс был краток. Ни один из духов на этот раз не вызывался, а лишь какие-то второстепенные душонки, балуясь, играли блюдцем, нагреваемым кончиками пальцев запершихся в далекой комнате Соскиной, Турчаковской и Всесвятского.

Сославшись на неудачу, Турчаковская нашла причину и оставила очаровательную Наталью с мосье Всесвятским.

После того как Матильда Ивановна закрыла за собой дверь, затем предупредительнейше хлопнула второй и третьей дверью, Соскина с бесхитростной нетерпеливостью сказала:

— Антонин! Я вас не понимаю! Если все, что вы поете и пишете мне в письмах, только наполовину правда, и пускай наполовину половины, то я скажу вам, ни капли не таясь, — мне больше и нечего хотеть. Садитесь рядом.

Она, сидевшая до этого на середине маленького дивана, пересела к краю, освободив ему тесное место рядом с собой.

Всесвятский и не пошевелился. Он, почтительно опустив глаза, сказал:

— Зачем вам это, Наталья Васильевна?

— Ну как зачем? Мне еще нет тридцати пяти... А вам, Антонин, и тридцати. Почему же нам не сидеть рядом?

— А потом?

— Зачем об этом думать? Уж если мы встретились в этой сумеречной комнате, так, наверно, не для того, чтобы играть в

жмурки. Вы мне милы.

— А я вас обожаю.

— Так садитесь же, садитесь рядом. Не робейте, Антонин.

В голосе Соскиной слышалось воркующее волнение. И она была хороша в эту минуту при ее несколько излишней полноте, чрезмерной округлости лица и обилии, если так можно выразиться, щек. Они, кажется, занимали все лицо, зато на одной из них была ямочка. Искрящиеся глаза, как и бриллианты, количеством которых она поражала и принижала мильвенских дам, а также полумрак делали свое дело.

Всесвятский взвешивал, оставаться ли ему непреклонным или немножечко уступить, дав крупной рыбе проглотить крючок.

Его упорство может рассердить по уши влюбленную в него и сверх головы самолюбивую, властную богачку, и тогда погибнет все.

Он пересел.

— Вы играете мною, Наталья Васильевна.

— Разве с огнем играют?

И тут ее тяжелая, большая голова оказалась на его плече. Теперь останавливаться тем более было нельзя. И уста сомкнулись с устами.

Турчаковская не появлялась.

— Она и не придет, — предупредила Соскина. — И не смотрите, пожалуйста, на дверь.

Лепной фавн, игравший на свирели в нише комнаты, мог бы многое порассказать в этот вечер, начавшийся в половине девятого и затянувшийся до полуночи.

Закрытая карета, в которой выехали из двора управляющего Всесвятский и Соскина, тоже могла бы сообщить многие подробности. Из них наиболее интересно то, что благодарная миллионерша, привыкшая вознаграждать за все и всех, начиная от Санчика и кончая Турчаковской, получившей за встречу и молчание желанную брошь, не могла остаться неблагодарной, прощаясь подле ворот своего дома с Всесвятским. И она сунула в карман его пиджака десять тысяч.

— Антонин, это вам на галстуки и носовые платки.

Антонин разрыдался.

Не знающая счета деньгам, но знающая им цену, Соскина решила, что бедняга, прирабатывающий рубли писанием писем,

подачками доктора Комарова, нотариуса Шульгина, плачет от неожиданной щедрости, и тут же подумала: «Не слишком ли это много?» Но все оказалось не так, как показалось.

— Наташа! Милая Наташа, уж лучше бы ты ударила меня...

Сказав так, вздрагивая плечами, оставив деньги на сиденье кареты, он скрылся в темноте.

— Он любит... Он меня любит, — вырвалось из груди Соскиной.

А потом, часа два спустя, расхаживая по спальне, она сказала себе:

— Нет. Меня не за что любить, кроме денег. Я поспешила. Нужно было дать пятнадцать, а то и двадцать.

Когда же часы пробили четыре после полуночи, она спросила карты:

— А вдруг он любит? Если он любит, откройся в первых трех картах туз червей!

И туз червей был вынут первым ею из колоды.

Она похолодела, задрожала и залилась слезами.

— Любит! Сама судьба дала мне в руки этот туз!..

## ВТОРАЯ ГЛАВА

### I

Оставим пока в стороне эту стремительно пошедшую в рост сорную траву: Всесвятского и Соскину. Им не следовало бы появляться на страницах, где свет властвует над тенью и в царстве горбатого медведя. Но какой художник, рисующий эти годы, может избежать ядовито-ржавых пятен, которые, помимо его воли, неотвратимо проступают на полотне и омрачают картину. И в данном случае можно ли отмахнуться от Всесвятского, так настойчиво интересующегося теперь тайнами Омутихинской мельницы?..

А между тем весна благополучного в первой своей половине тысяча девятьсот четырнадцатого года, отблагоухав черемухой, зацвела сиренью. На заводе множество заказов. Берут на простые работы из деревень. Санчик Денисов дождался своего. Отслужил

положенный срок Павел Кулемин. Не верилось Женечке Денисовой, что вернулся ее жених.

— Не дай мне сойти с ума! Ты ли это? — При отце, при матери, при чужих людях обнимает своего Павлика верная невеста.

А он, истомившийся, изревновавшийся, ждет не дождется дня свадьбы. И этот день пришел. Людно было в церкви. Самые разные люди сбежались смотреть, как венчается красавица бесприданница, не улыбнувшаяся все эти годы и майскому дню и веселым сватам, шутками да песнями убеждавшим ее сменить серого солдата на удачливого сокола с домком, с коровкой, с лошадьё, с телячьим покладистым характером, хоть веревки из него вей, хоть масло пахтай...

Весело гуляли на свадьбе Жени Денисовой и Павла Кулемина два друга, два шафера с белыми лентами, Санчик и Маврик. Звончей всех кричали они «горько, горько».

Счастья желают гости молодой чете, новой рабочей семье.

— А я, — с гордостью сообщает Санчик своим друзьям, — теперь я тоже буду спать на кровати, а не на полу. Павлик берет меня жить к себе. И работать я перейду к нему в цех. Там будь здоров сколько платят!

У всех, кажется, успешно идут дела. И все потому, что завод дымит на полную силу всеми трубами.

Бойко торгуют магазины. Чураков похваляется еще не купленным автомобилем. В Мильве ни у кого не было автомобиля. Куропаткин еле успевает считать наличные.

На складе «Пиво и воды» тоже дела идут хорошо. Сбылись сны Любви Матвеевны Непреловой. И дохи и шубы. И дрожки и ружья. И гости и в гости нет свободного вечера. Герасим Петрович на «ты» с самим приставом, и чиновники из казначейства, из управления завода для него никакие не господа, а просто так — для препровождения времени. От них ничего не надо Герасиму Петровичу, а им водить знакомство с таким хлебосольным доверенным фирмы лестно и небесполезно. У кого званые ужины, где можно побаловаться первосортным пивком и сочными пирогами, не затрудняя себя ответными угощениями непьющего хозяина? Где возможно такое? Только у Герасима Петровича Непрелова.

Слухи ходят, что доверенный фирмы «Пиво и воды» не прочь сам завести свое дело и будто бы уже рубятся бревна для дома и помещений молочной фермы «Бр. Непреловы».

— Нет, нет, — уверяет Герасим Петрович, — разговоров больше, чем бревен. Мне еще служить да копить, копить да служить...

Это верно только отчасти. У Герасима Петровича уже есть кое-что. Хозяин фирмы Болдырев награждает Герасима Петровича особо за его безупречную честность. Хозяева куда лучше полиции умеют проверять пользующихся их доверием.

Дочка Ириночка уже отлично разговаривает и радует Герасима Петровича. Жаль только, что, кроме нее, не родился мальчик, из которого можно было бы воспитать человека с твердым характером и, конечно, с красивым почерком. Из Маврикия никогда и ничего путного не получится. Лодырь, фантазер и петрушка. Хорошо, если он станет хотя бы таким балаганщиком, как Всесвятский. Но для этого нужно иметь хотя бы его рост. А пасынок, ко всему прочему, и недоросток. Кем станет он, что из него получится, невозможно и предположить, но заранее можно сказать — ничего хорошего. И в этом Герасим Петрович не будет чувствовать себя виноватым. Ему не дали приложить рук к пасынку. Но если бы он и приложил их, все равно бы в этом случае изменилось немного. Сказывается кровь. Толлинская кровь. Братья Владимир и Андрей Толлины, еще до рождения Маврика, путались в каких-то цареотступнических кружках. И если бы не их ранняя смерть, то, может быть, Маврик был бы сыном и племянником арестантов.

Что же можно сделать с пасынком, если в нем кровь отца? Как влить в его жилы свою непреловскую спокойную, терпеливую, сильную кровь?

Герасим Петрович по-своему был прав, и можно ли строго судить его за то, что Маврик чужд ему всем своим существом, начиная с внешности, напоминавшей первого мужа его жены. Правда, он обещал ей, себе, умирающей бабушке Маврика и, наконец, богу любить пасынка. И он старался, но не мог.

Раздумывая о Маврике, Герасим Петрович каждый раз приходил к одному и тому же заключению — пусть растет, как растет...



Маврик собирается в Омутиху, чтобы покончить с малокровием, хотя у него и нет никакого малокровия, но так говорит доктор Комаров. Он у всех находит что-нибудь, чтобы заманить в свою пустующую Комаровку, построенную в четырех верстах от Мильвы. Где пьют кумыс и привозные воды.

Тетя Катя нынче решила съездить в Елабугу. Там живет ее знакомая по школе кройки и шитья. Она вышла замуж за немолодого, но обеспеченного человека и теперь каждый год приглашает Екатерину Матвеевну побывать в Елабуге, поговорить о жизни. Екатерина Матвеевна, отказываясь в прежние годы от приглашения поехать к Ложечкиным, нынче собиралась туда с удовольствием. Наверно, наскучалась за зиму. А Елабуга — это люди, пароход, Кама. Маврик тоже поехал бы с теткой, да тянет Омутиха, тихомировская мельница. И...

И многое другое, что, может быть, не следует называть пока и про себя.

Илья с Фаней, может быть, уедут на лето к тетке в Варшаву. С Санчиком приходится встречаться реже. Он весь день на заводе. Новые друзья тоже кто куда. Омутиха — это все-таки не худшее, что можно придумать, хотя там теперь и нет Викторина Тихомирова, а только Владик. Викторин учится в корпусе. Он кадет. Он станет морским офицером.

У Маврика в табеле одна пятерка. Две четверки. Остальные тройки. Что делать! Не может же он всю жизнь держать себя в руках. Хорошо, что нет двоек.

Теперь нужно надеяться только на себя.

Мать не была обрадована табелем, а отец тем более, хотя и ничего не сказал о тройках, и, лишь слегка улыбнувшись, посоветовал Маврику:

— Я думаю, Андреич, нужно ехать завтра же с утра в Омутиху.

Маврик мотнул головой. Ему хотелось уехать как можно скорее. Он мог бы и сегодня.

Утром кучер запряг лошадь. Не Воронка, конечно. А смирного Карька, на котором любила ездить мать. Маврику впервые доверялась лошадь. Хоть как-то все-таки был замечен его переход в третий класс гимназии.

— Не гони, — предупредил Герасим Петрович. — Поезжай не трактом, а лесной дорогой. Не трясет, и лошади мягче бежать.

— Я знаю.

— Не вздумай распрягать лошадь сам, — предупредила Любовь Матвеевна.

— Не беспокойся, Люба, — сказал Герасим Петрович. — Андреичу нужно подрасти, чтобы снять хомут. Распряжет Сидор.

Любовь Матвеевна ничего не сказала на это. Она молча страдала за своего сына. Ей так хотелось, чтобы Маврик укреплял ее семью, а Маврик не мог этого делать, хотя и всячески старался. Наоборот, он как бы разрушал семью, вносил в нее разлад даже своим присутствием. И Любовь Матвеевна, любя своего сына, старалась при его отчине быть холоднее и строже.

Надо понять и Любовь Матвеевну. Не может же она винить мужа за то, что Маврик прямая противоположность отчиму и отчим не может за это любить пасынка. Поэтому он, наверно и не желая, роняет усмешечки или хоть чем-нибудь да кольнет пасынка. То невысоким ростом. То называя его «Андреич», подчеркивая этим, что он не Герасимович. В Омутихе его тоже станут называть «Андреич». Ну и пусть. Не всегда же так будет.

— Да не растеряй подарки, — наказывает Герасим Петрович. — Отдашь тючок бабушке. Не задень колесом о ворота, когда будешь выезжать. В субботу пусть ждут.

Маврик не задел колесом о столб ворот и не задел бы. Он не погонит лошадь, если б его и не предупреждали. Он любит и жалеет лошадей. И лошади любят его. Карько наклонит голову, подставит шею, и Маврик, не приподымаясь на цыпочки, легко снимет с него хомут и легко разнуздает его. У Маврика достаточно силы, чтобы затянуть супонь самого тугого хомута. Об этом не знают. И пусть. Маврик ничего не будет делать напоказ. Всеволод Владимирович учил его презирать хвастливость. И если он еще не научился окончательно презирать ее, то все же стремится к этому.

Легко бежит Карько по мягкой пыльной дороге через покосы. Нужно же полюбоваться, посмотреть, не произошло ли что за зиму в этом знакомом лесу. Все-таки нет для Маврика лучше примильвенских хвойных лесов. Они темны, зато молчаливы. Не то

что болтливый лиственный лес. В нем каждая осина, береза и в тихую погоду не держат на привязи тысячи своих зеленых языков.

И если на свете где-то водятся лешие и ведьмы, то только в лиственных колдовских лесах. В сосновых, еловых, пихтовых и, уж конечно, в кедровых нечего делать нечисти. Гадюка или жаба и те не найдут приют в хвойном лесу. А ветер и в бурю не ревет здесь на все голоса, а гудит ровным шумом. Ш-ш-ш — шумит милый мильвенский, пахнувший смолой, грибами, сухой здоровьем, а не гнилой мокростью лес.

Если он, Маврикий Толлин, когда-нибудь научится сочинять стихотворения, то лучшие и самые длинные будут про лес. Он и сейчас пробует:

Мой милый, милый хвойный лес.  
Тебя я вижу снова...

Но дальше-то что?.. Нужна же рифма к слову «лес», а он ничего не может придумать, кроме «влез». Это хорошая рифма... Но как ею воспользоваться? Не скажешь же «В тебя я снова влез»... Как только мог Александр Сергеевич Пушкин написать столько стихов и все в рифму?

— Но-но, Карий... Не подслушивай, может быть, в самом деле я «трещотка», «выскочка», «петрушка», «балбес»...

Маврик вспоминает все прозвища, которые ему давались, и наконец кричит:

Мой милый, добрый хвойный лес!  
В меня давно, с рожденья влез  
Один престра-престрашный бес,  
И я, «петрушка» и «балбес»,  
Люблю тебя, мой хвойный лес!

Прокричав стихи, Маврик услышал:

Люблю и я тебя, поэт, —  
Признался лес ему в ответ.

Маврик оглянулся на голос и увидел Всесвятского. Они были знакомы.

— Как вы очутились здесь, Антонин Александрович?

— Живу на даче. Снял избенку в Омутихе. Бываю наездом. Воздух нужен и мне. А ты к своим?

— Да, — ответил Маврик, — у меня тут дядя.

— Чудесно... прелестно... изумительно! — шумно радовался Всесвятский. — Теперь мне будет с кем совершать прогулки на тихомировскую мельницу... Ты знаком с Мартынычем? Это потрясающий старик...

Всесвятский без усталости болтал. И Маврику, как, впрочем, и всем остальным, в том числе Мартынычу, и в голову не приходила истинная цель появления здесь этого весельчака и балагура.

### III

В деревне Омутихе двадцать один дом и одна улица. Дома крыты соломой и только два или три тесом. Все омутихинцы ходят в лаптях. И только те, что посправнее, по праздникам надевают сапоги.

Непреловы, судя по всему, относились к справным. Изба у них под тесовой крышей. Три лошади. Три коровы. Десятка полтора овец. Свины. Куры. Две пасеки. На одной держат пчел, а другая — просто лес. И не маленький. Заблудиться нельзя, но не просвечивает с одного края на другой. А ходят в лаптях. Старший брат Герасима Петровича Сидор говорит про лапти:

— А в них привычнее и сподручнее.

Может быть, скупы? Да нет. Не более, чем другие.

Пашут деревянной сохой с железным лемехом. Мильва рядом. И Мильва делает хорошие недорогие плуги. Немногим дороже сохи. Суждение то же:

— Сохой-то сподручнее и привычнее.

Жена Сидора Петровича ткёт холсты, прядет нитки. Это требует много труда. И покупная ткань обходится дешевле. И это знают все. Но снова те же слова:

— Свой-то холст привычнее и сподручнее.

И все ходят в своем сподручном холсте, в домотканой портянине.

Дед, бабка, старший сын с женой, трое взрослых детей живут в одной комнате избы. Она же и кухня, и столовая, и спальня, а иногда и помещение для телят и ягнят.

Почему бы не пристроить еще хотя бы одну комнату? Лес рядом. Летом после сева и до покоса выдается свободное время. Свободного времени достаточно зимой. Что же мешает? У Сидора Петровича сильные руки. Наконец, в своей деревне есть свои дешевые плотники.

Н-нет! Деда так жили, и мы проживем.

Может быть, им мешает жить лучше недостаток знаний, как говорит Всеволод Владимирович? Может быть, они не знают, как можно жить лучше? Но ведь Сидор Петрович грамотен. Он бывает очень часто в Мильве и знает, что при двойных рамах теплее и меньше идет дров. Он видит, что на отдельных тарелках есть приятнее, чем, мешая друг другу, хлебать из общей чашки. Маврикова мать подарила его жене множество разных тарелок. Но их расставили на длинной полке, тянущейся вдоль стены, «для погляду». И только Маврику подают особую тарелку, и он, конечно, не ест из нее. Зачем же позволять выделять себя.

От тараканов есть много средств, но тараканов полно. И если какой-то из них попал в щи, его преспокойно вынимают ложкой и выплескивают, продолжая есть щи с тем же аппетитом. Маврик не брезглив, но все же... Он никогда не будет относиться с уважением к тому, что его отчим называет «простотой деревенской жизни». Какая же это простота? Не мыть руки перед едой — простота? Равнодушно смотреть на ползущую по рубахе вошь — простота, и утверждать, что вошь тоже нужна, потому что она из человека дурную кровь пьет... Это простота?

Извините, это не простота, а что-то другое. А что, Маврик не знает и сам. Но знает, что он не может и не будет уважать за это жизнь в непреловской избе.

Однако же в Омутихе много прелестей. Рожь. Лес. Речки. Рыба. Но и тут можно бы многое изменить.

Кто мешает по опушкам пасек насадить смородиновые кустов, садовой малины, ежевики?.. Ведь никто же из деревенских ребят не

будет рвать ягоды, как не рвут чужого гороха, растущего в поле. Этого тоже нет и не будет.

А вот прошлогоднюю дряблую редьку будут есть, чтобы она не пропадала, как и заплесневевшие грузди, совсем не думая, что попусту преющий навоз может дать ранние овощи. И без стекла. Не устраивая парников, как это делают в Мильве, а просто паровые гряды с глубокими лунками, куда не забираются утренние весенние заморозки, которые не пускает горячо преющий навоз под грядой.

Маврик помогал Краснобаевым делать такую гряду, а у Сидора Петровича столько навозного богатства, но огурцы еще и не думали цвести. А как скажешь об этом бабушке или дяде? Ведь нельзя же быть умнее их в двенадцать лет. А он умнее. Не во всем, а в том, что знает, что видел, что испробовал сам.

#### *IV*

В этот воскресный день Маврикий собирался отправиться на мельницу к Тихомировым. Но было еще очень рано. В воскресенье никто не работал. Старший сын Сергей, у которого, как злословили соседи, дядя Сидор выбил из головы и ту малость, которая в ней была, отправился ловить бреднем рыбу.

Младший сын Тиша, очень красивый, любознательный мальчик, зазвал Маврика походить по Балагурке с вилками, поискать налимов и половить мелкую рыбешку. Эта увлекательная рыбная ловля походила на охоту. Рыбак с удочкой или сетью зависит «от счастья». Что попадет, то и вытащит. А тут все зависит от ловкости, меткости, быстроты удара столовой вилкой, насаженной на длинный черенок. Это уже почти острога.

Налимы умеют не только прятаться, но и, оставаясь на виду, притворяться суком коряги, стать неразличимыми от ила и находить сотни способов защитного притворства.

Налимы учат Маврика вниманию, неторопливости, зоркости. Они и не знают, что преподают своему врагу спасительное умение избегать опасности. Впереди жизнь, в которой понадобится и налимыя сметка.

Научившись ступать по реке бесшумно, подымая и погружая в нее свои ноги, мальчики подозревают каждое корневище, донное растение, песчаную извилинку — не налим ли это. И только тщательное обследование дна приносит им радость улова.

Вчера вечером приехали отец и мать. Маврику приятно будет показать, что и он на что-то способен. У него пять налимов, у Тиши только три. Ну так он же моложе на год, хотя выше ростом чуть ли не на голову.

Но отец и мать еще спят. Они встанут поздно. Дядя Сидор, бездельничая в воскресенье, заводит разговор с племянником:

— Андреич, ты человек ученый и должен знать, как живут мужики в других царствах. В Дермании там, в Америке, скажем.

— По-разному, — отвечает Маврик, — как и у нас. Одни богато, другие бедно.

— Не в том вопрос, Андреич... Я хочу знать, как они живут, — деревнями или на отрубях?

Маврик не знал, что такое отруба. Он и не слышал о провалившейся столыпинской реформе размежевания и расселения крестьянства по хуторам и отрубам. А Сидор Петрович, будучи крестьянином, не только знал об отрубях, но и хотел, пусть запоздало, выйти из своей Омутихи и поселиться отдельно.

— А что скажешь ты, Андреич, если, к слову доведясь, я построюсь на своей, вон на той дальней пасеке? — и он указал на сколок леса.

— А зачем, дядя Сидор? Разве со всеми вместе жить хуже?

— Да не хуже, но способнее, когда все твое при тебе. И поле, и пашня, и выпас, и пар. Огородил свое — и сам себе царь. Твоя корова ест твою траву, твои курицы по стерне твою ржаную осыпь после страды выбирают. Худо разве своим хуторком жить?

— Скучно!

— Да отчего же? То за коровами надо убирать, то лошадям корму задать, а летом-то уж вовсе некогда тосковать... Спать только могут.

— Кого? За что?

— За хутор. За то, что ты от мозолей своих справен, а он от своих пролежней беден. Деревня только сыздаля на один манер. А ведь в ней, как у вас в Мильве, по разному достатку живут. Кто поуже, кто пошире, а кто и вовсе широко. Чураков, к слову. Разве на Чуракова или

на какого-то другого купца мелкий лотошник-палатошник не носит камня за пазухой? Носит. И готов бы спалить его, в трубу пустить, да капиталы у него негоримые. В казначействе лежат. А у нас? Ферма-то ведь деревянная будет, если ей следно быть. То-то оно и есть, Андреич. Пых — и неттебя. Только дым да зола, а «Саламандра» много ли даст? В деревне одного тебя не подожгут. Всем гореть придется. Хорошее дело ферма, да маетное...

Сидор Петрович разговаривал уже не с Мавриком, а с самим собой и, кажется, с не проснувшимся еще братом Герасимом.

Разговор продолжился за столом в избе, когда были поданы пойманные старшим сыном Сергеем золотые широкие карасики, жаренные в сметане, и налимыя печень, запеченная в тесте. Налимы же пойдут в обеденный пирог.

Герасим Петрович, уйдя из деревни, не расстался с ней. Он будто делал большой обходный крюк, чтобы вернуться сюда в новом качестве фермера. В городской одежде, на модной застежке, со старым скопидомским нутром.

Теперь он не скрывал от жены своих золотых снов. Любовь Матвеевна теперь во всем зависела от него. Герасим Петрович увлеченно рисовал картину хутора-фермы, где будут добросовестно трудиться добросовестно оплачиваемые омутихинцы.

— Разве хуже будет им, — убеждал он, — если они станут работать в большом, прибыльном, хотя и чужом, хозяйстве и получать дохода на едока больше, чем они пол чают теперь?

Все выходило стройно и доказательно. Коровник на тридцать, на сорок, а то и на пятьдесят голов. За ними будут ходить три бабы, а не тридцать.

— Скажи, дешевле будет молоко?

— Дешевше, Герася.

— Или возьми ты, Сидор, тот же курятник. Пятьсот, тысяча кур — и при них одна-две работницы. Подсчитай, сколько яиц дадут за год пятьсот кур. Самых плохих. И ты увидишь, что работница получит больше вдвое, а яйцо обойдется дешевле вчетверо по меньшей мере. Это, — слегка волнуясь, доказывал увлеченно Герасим Петрович, — при холодном, неосвещенном курятнике.

— А чем же ты осветишь его? — удивленно спросил Сидор.



— Фукалкой. Шишигины могут свой «Прогресс» осветить, а мы нет? Электричеством можно и молотить, а уж корма-то готовить, соломорезку вертеть, сливки сбивать — это уж преобязательно. Можно и паровой движок завести.

Любовь Матвеевна не вмешивалась, считая эту затею досужей и нелепой мечтой. Она ошибалась. Герасим Петрович исписал не одну тетрадь, где расчеты, выкладки, затраты труда высчитаны до копейки, до фунта, до минуты, с учетом самых неблагоприятных условий. До двадцати лет он прожил в деревне, и каждая из крестьянских работ изведена его руками. Многие добавили книги. Сюда же нужно приплюсовать и опыт самостоятельного ведения дел в отделении фирмы «Пиво и воды». У него, если принять во внимание склады, разливочную, возчиков, распивочные заведения в Мильве и окрестностях, состояло в подчинении более ста пятидесяти человек. И он не просто справлялся с делом, а почти удвоил сбыт пива, учетверил продажу игристых вод и снизил расходы по разливу в бутылки, начисто искоренив хищение, поставив на «воровские» должности своих однодеревенцев и родню из соседних деревень. И те, держась за место, получая хорошие оклады, боялись выпить и поток хозяйского пива, а взять без спроса что-то большее—означало поставить под угрозу свою счастливую, по сравнению с деревенской, жизнь.

Герасим Петрович знал, что ему было нужно и что было безусловно возможно, до последнего бревнышка. В нем жил недюжинный предприниматель, созревающий капиталист земледелия. Ему кажется, что затеваемая им ферма благодетельствует других. И эти другие будут вдвое, а то и втрое обеспечены лучше на его ферме, чем в своем хозяйстве. И если при этом он получит львиную долю, то ведь не за счет кого-то, а только вследствие того, что сумел разумно поставить хозяйство и земля дает ему то, что она до этого не давала. И он честными, чистыми руками будет загребать большие доходы, эксплуатируя не людей, а свое умение ставить дело.

Так он обманывал самого себя. Ему очень хотелось выглядеть благодетелем, а не загребушим мироедом хотя бы в своих глазах...

Дядя Сидор предложил Маврику лошадь и сам затянул подпруги седла. Маврик с плетня влез на смиренного коня, оперся носками ног на укороченные стремяна и отправился на мельницу.

Кавалериста встретили не без добродушной иронии:

— Не взмылил ли ты своего Буцефала?

— Да что вы, Варвара Николаевна, я рысью-то еще не умею ездить. Да у него, кажется, и нет рыси.

Лошадь Маврик отдал слепому Мартынычу, и тот увел ее пастись.

Как и ожидал Маврик, он встретил Фаню Киршбаум, теперь поражающую своей красотой, и разборчивую Варвару Николаевну. В девушке было прекрасно все. Какой-то необыкновенно мягкий смугловатый цвет лица, длинные косы, завивающиеся в жгут, тонкий нос, ослепительно сверкающие маленькие белые зубы и большие глаза. На нее нельзя смотреть долго, как на яркий свет. На яркий, но холодный. Другое дело Лера. В ней все живет и дышит лесом, полем, речкой, ландышами, утром, сказкой... Наверно, не случайно Варвара Николаевна на самом видном месте в своей комнате повесила картину в тонкой рамке, где красовалась девушка с распущенными волосами, похожая на Леру, а под картиной надпись — «Лесная сказка».

Да, она лесная сказка... А Манечка Камышина и Сима Пряничникова просто так — никто, пряничные гимназистки, посыпанные сахарным песком с ванилью.

Конечно, здесь же Шумилин Геня. Пятиклассник. Удивительный художник. Он даже мелом может так нарисовать, что жаль стирать рисунок с классной доски. Теперь он рисует Фаню. Во весь рост. Картина будет два аршина высотой и шириною чуть не полтора. Наверно, Фаня на картине получится еще прекраснее. Уж он-то постарается пририсовать и то, чего в ней нет да и не будет.

Влюблен. Ну что ж, пора. Ему пятнадцать лет. Еще не полные. Но месяц можно не считать.

Явился и Мерцаев Игорь. Его прозвали в Мильве «строганы голяшки, тесаны носки». Потому что он не как все, а в крагах. Игорь говорит, что краги необходимы для езды на велосипеде. Врет. Он просто хочет выделяться. Скажите, зачем ему часы с подцепком, на котором двадцать три брелока? Хватило бы одного. Пусть двух. Нет, ему нужно, чтобы все разглядывали их, а он рассказывал. Это

итальянская монетка. А это маленький Будда с секретной крышкой. Сюда кладется яд.

И все:

— Зачем? Зачем кладется яд? Ну, Игорь...

А он:

— Ну право, стоит ли мне объяснять, зачем бывает нужен людям яд?

И так минут на двадцать пять, пока не переберутся все брелоки. А если этого не хватит, то у него окажется что-нибудь другое. Кольцо из цепи Фридриха Барбароссы. Платок Шаляпина. Перо из шляпы Виардо, цена которому сто двадцать пять рублей. Игорь Маврику никто.

Другое дело Воля...

Воля Пламенев... Высокий... Меднолицый. Стройный. Сильный. Он самый старший. Ему шестнадцать лет. Отличный голос. Он поет:

Фонтан любви, фонтан живой,  
Принес я в дар тебе две розы.

Лера аккомпанирует ему. Опускает глаза. Щеки ее горят. Она волнуется. Неужели боится ошибиться и перепутать клавиши? Нет, тут что-то другое. А что?

Ее глаза сияют, когда она разговаривает с Пламеневым. Сияют так же, как тогда, на Ходовой улице, под господской рябиной, при встрече с Мавриком. Неужели она его... Нет, этого не может быть.

Лера, заметив, что Маврик пристально смотрит на нее, говорит ему:

— А тебя сегодня ждет сюрприз.

— Скоро?

— Минуты через три. Сюрприз сейчас приводит себя в порядок.

Но не проходит и минуты, вбегает Ильюша.

— Так это ты сюрприз?

— Нет, Мавр, я не сюрприз. Я только лишь гонец сюрприза. Внимание, внимание... Раз, два, три... Откройте, двери!

Двери, выходящие на террасу, открываются. Появляется в морской форме кадет Викторин Тихомиров. Он ослепительно

великолепен.

Мгновение — все замерли. Еще мгновение — и крики, шум, объятия. Все оживлены. Какая неожиданная встреча! Какой сюрприз! Маша Камышина на правах самой близкой подруги Леры, зная Викторина совсем маленьким, обнимает его и целует. Маврику удается пожать всего лишь мизинец Викторина. Он в этом доме всегда оказывается в смешном положении.

Освободившись от объятий друзей, Викторин подходит к Фанечке Киршбаум. Кажется, в этом нет ничего особенного. Фаня давняя подруга Леры. Фаня часто бывала у Тихомировых, и ее никто не выделял. Однако же сегодня она и Викторин встречаются будто впервые. Взаимно восхищаясь, робеют один перед другим.

— Здравствуйте, Фаня, — говорит Викторин, а в словах слышится признание...

— Здравствуйте, Викторин, — отвечает Фаня, и в этих словах все слышат: «И вы мне очень нравитесь».

— Все ясно, Мавр, — шепнул Ильюша своему другу. — Все они хотят выплывать на пять лет вперед. Фанька тоже изображает из себя княжну Мери. А мы пойдем на пруд. Там Владька с артистом Всесвятским выслеживают выдру.

Маврик отказался. Он не собирается опережать время, но и не хочет поступиться тем, что Лера разбудила в нем так рано. Зачем ей это было нужно? Может быть, ей хотелось маленького пажа? Так он не паж и не маленький, хотя и невысокий... Ему почти тринадцать лет. Им прочитан весь Лермонтов. Весь Пушкин. «Евгения Онегина» он перечитывал уже три раза. И кажется, нечто похожее происходит здесь, на мельнице. Он сегодня слышал, как она сказала:

— Воля, вас я ждала все утро...

— Лерочка, а я не спал всю ночь...

Чего же больше? Что же еще он должен узнавать? Оставаться здесь? Нет, ни за что на свете. Ах, Лера, как ты несправедлива! И Маврик решил вернуться в Омутиху:

— Мне очень ненадолго дядя Сидор разрешил взять лошадь. Потому что он на ней сегодня собирается пахать пары.

— В воскресенье? — спросила, понимая улыбаясь, Лера.

— Мне нужно ехать. Всего хорошего, — раскланялся Маврик и пошел к лошади.

Он ее повел в поводу. Догадливый Воля понял, что Маврик не сможет сесть на лошадь без помощи и стесняется попросить, чтобы его подсадили, подбежал к нему и крикнул:

— Барклай, я тебя подсажу!

Маврик не успел отказаться от этой обидной услуги, как оказался в седле.

Этого оскорбления при Лере он никогда не простит Пламеневу.

И чтобы хоть как-то оправдаться, Маврик спешился будто бы затем, чтобы подтянуть подпругу. А потом, не зная как, он вставил ногу в стремя, не зная почему, его нога вдруг сделалась длинней. Вскарabкавшись в седло, не оглянувшись, он дернул поводьями. Лошадь побежала рысью, и он усидел в седле.

О, мы еще с тобой поспорим, удачливый соперник...

## VI

Пока мальчики и девочки играли во взрослых, Антонин Всесвятский играл в юнца, который вдруг проснулся в нем и потянул на речку ловить раков, выискивать норы зверей, спать у костра; и просто подышать хорошим воздухом.

По-прежнему никто не задумывался, зачем Всесвятский ртал бывать на тихомировской мельнице. Кулемин ничуть не удивился, увидев его здесь.

Всесвятский пел, читал монологи, изображал знакомых. Был очень прост, приятен, неназойлив, стеснялся оставаться к чаю и наконец исчез. Ему здесь больше было делать нечего. Он раскрыл секрет Омутихинской мельницы и установил следы, ведущие на Песчаную улицу в штемпельную мастерскую Киршбаума... Всесвятский понимал, что Дизель, Кулемин и Киршбаум не одни. Но достаточно пока и этих трех. И если он получит надежные гарантии на освобождение, то не потребуется и половины года, как по этим трем концам он распутает все остальное. И тогда прощай навеки Мильвенский завод и здравствуй миллион! О Натали, я жду тебя в Париже!

Наконец-то есть основания спросить, что нужно для свободы. И он спросил у чиновника, приехавшего за донесениями мильвенских

агентов:

— Что должен сделать я для своего освобождения? Какая заслуга может избавить меня от этой нелегкой и не столь почетной службы?

Приехавшим был на этот раз некогда молодой, подававший надежды следователь Саженцев, упустивший Тихомирова и все еще выслуживающийся за эту оплошность перед начальством. Искупающий свою вину не отличался мягкостью. Например, агента Шитикова он бил по щекам за то, что тот солгал в донесении на купца Каширина, приписав ему то, чего не было, ради добавочного вознаграждения.

Саженцев ответил Всесвятскому со всей издевательской определенностью:

— Из ведомства, которое я имею честь представлять, можно уйти только на каторгу или на виселицу.

Это было вполне достаточным ответом, чтобы отрезать Всесвятекому всякие надежды на свободу. Но Саженцеву показалось сказанного мало. И он спросил:

— Аполлон, тебя еще никогда не драли вот этакой витой эластичной проволочной плетью, которая легко уместается в кармане и оставляет длительные воспоминания на спине?

— Нет, — ответил, наклонив голову, Всесвятский. — И смею надеяться, я этого не заслужу.

— То-то же, — пригрозил Саженцев, пряча складную плеть в карман пиджака. — Теперь распишись, хотя ты и не заслужил этих денег. Но нужно же на что-то существовать.

Всесвятский расписался. И ему была вручена ровно половина суммы, значащейся в расписке. Он получил пятнадцать рублей.

— Твой начальник ожидает большего, нежели эти сочинения о комаровских бездельниках, — напомнил Саженцев, прощаясь, не подавая руки своему подчиненному.

Если б Саженцев знал в эти минуты, что уходит из его рук, он пал бы на колени перед Аполлоном, рыдал бы слезами раскаяния, только дай в его руки лазейку в мильвенское подполье. Ведь это же прощение за побег Тихомирова, это же чины, награды, деньги, повышение по службе.

Шутка ли. Саженцев раскрыл крамольное производство штемпелей, типографию, разведал большевистское подполье,

обезвредил от внутренних врагов императорский Мильвенский завод... Сам губернатор благодарит его. Линия карьеры круто, как соколиный взлет, взмывает вверх.

О бессердечная фортуна сыскной собаки, ты была готова улыбнуться, держа на кончике языка предательство... Что стоило Саженцеву солгать, пообещав Всесвятекому свободу, зачем понадобилось ему угрожать складной патентованной плетью, ведь Аполлон готов был уже выболтать тайну, чтобы начать торг и откупиться головами Кулемина, Киршбаума, Мартыныча... А что теперь? Теперь прощай жандармская удача.

## VII

Если обида сумела удлинить ноги Маврику, то можно себе представить, как был потрясен Всесвятский тупым среди тупых, подлейшим среди подлых Саженцевым. С ним рассчитается Всесвятекий. Петербург и губернатор будут знать, каков он гусь и как довел он полезнейшего агента Аполлона до измены и побега. За это по-жандармски рассчитаются с жандармом Саженцевым. И если Всесвятский кое-что приврет в своем письме, которое он бросит в почтовый ящик одного из городов, — поверят и лжи.

В озлобленной душе Антонина Всесвятского побег был предрешен до того, как наслаждающийся его бесправием Саженцев простился с ним. Нагретый разум Стремительно и безупречно нарисовал картину побега из Мильвы до мельчайших штрихов и предельной ясности.

В течение нескольких минут нашлось и созрело все то, что искалось так долго.

Придя в себя, дав охладиться воображению, Всесвятский взвешенно перепроверил все и начал действовать.

Ему нетрудно было изобразить отчаяние, сыграть роль колеблющегося самоубийцы, придумать самое невероятное и заставить поверить в невозможное.

Соврать было не так трудно, и не так много было надо, чтобы Наталья Соскина ему поверила.

— Я проиграл себя в карты коварной женщине, — признался он, рыдая. — Сто тысяч, или я ей принадлежу.

— Хоть двести, — бросилась к нему на шею Соскина. — Хоть триста, но не ты...

— Нет, Натали. Ни то и ни другое. Беден, но горд твой Антонин; Есть лучше выход. Их два: пуля или побег.

— Побег! Со мной. Куда угодно, хоть на край земли...

— Когда?

— Хоть завтра, хоть сейчас...

Соскина даже не поинтересовалась, как, при каких обстоятельствах, какой коварной женщине мог проиграть себя в карты Антонин. Ей и не нужно было выяснять этого и, чего доброго, выясняя, уличить Всесвятского во лжи. Ей нужен был он. Ей был нужен и побег. Побег от гласности, от сплетен, от кривых усмешек. Правда, при ее деньгах она может пренебречь всем этим, но если даже Санчику Денисову не удастся скрыть в своих глазах презрение к ней, то что же говорить об остальных.

Молва — ничто, но власть ее сильна. Соскина уже слышала, как ночью, когда она проезжала по плотине, чей-то голос пропел: «У красавца Антонина есть богатая перина...» Можно не обращать внимания на всякую чепуху, но лучше ее не слышать. И чего ради сидеть в Мильве, когда мир так велик. И не солить же деньги. Если она всего лишь на половину получаемых ею за год процентов сумела построить двухэтажную богадельню и подарить ее заводу, то почему же ей не позаботиться о себе?

Он исчезает первым. Затем уезжает она. В Нижний. А потом в вояж. И все.

Всесвятскому было предложено сто тысяч.

— Зачем же столько? Достаточно и половины.

Это очень понравилось не перестающей проверять своего возлюбленного Соскиной. И она предложила взять хотя бы семьдесят пять.

— Мало ли что может случиться, Антонин...

— Нет уж, Натали, я с детства привык с уважением относиться к деньгам. Впрочем, ты их кладешь, как в банк.

Наутро тысячи были в его кармане. Он мог свистнуть извозчика... И, будто бы отправляясь в деревню Омутиху или на комаровские дачи,



оставить Мильву, не забирая жалкий свой багаж, кроме разве некоторых мелочей, и... прощай проклятое ярмо, прощай постылая работа. Но что-то удерживает Всесвятского. Что-то он еще должен сделать здесь. Может быть, проститься с Григорием Киршбаумом? Кажется, это так и есть. И он идет к нему.

Григорий Савельевич проводит Всесвятского к себе наверх. Они же в давних хороших отношениях. Всесвятскому хочется быть откровенным, но разве это возможно? Ему хочется сказать, что он... спас Киршбаума. А разве он — спас?

Он всего лишь не предал.

Но что-то нужно сказать. И он говорит:

— Ты знаешь, Грегор, люди не всегда могут быть откровенны, как им хотелось бы. Ты не думай обо мне лучше, чем следует, но и не думай хуже, чем надо. Я пришел проститься.

— Ты уезжаешь? Надолго?

— Навсегда. И больше мне не задавай вопросов. А слушай, что я скажу. — И он стал говорить, будто диктуя в классе: — Не допускай к себе близко Шитикова из «Саламандры», провизора Мерцаева и приказчика Козлова из магазина Куропаткина. Да хранит тебя бог. О моем отъезде ты ничего не слышал от меня. Так лучше для нас обоих... Прости меня и за то, в чем я не виновен перед тобой, но мог бы быть виновным.

Последние слова были произнесены с такой слезливой сентиментальностью, что Всесвятский на минуту поверил в свою искренность и свое благородство. И ему показалось, что этому благородству, а не чему-то другому обязан Киршбаум и другие, оставшиеся на свободе.

В этот день Антонин Всесвятский покинул Мильву. Искать его начали только спустя неделю.

Лови ветер в поле.

Об исчезнувшем Всесвятском в кружке Комарова говорили как о незаурядном революционере, бежавшем с каторги и скрывавшемся в Мильве. Пристав Вишневецкий хотя и молчал, но, кажется, был такого же мнения.

Деревня, где скучал Маврикий,  
Была медвежьим уголком,  
По праздникам хмельные крики,  
По будням — каша с молоком.

Этими строками начинался роман в стихах, еще не получивший названия. Его автор, уединившись на дальней пасеке, не был уверен, что главный герой романа будет называться Маврикием. Он придумает другое имя, но пока оно не находится. В святцах есть близкое имя Кантидий, но оно слишком неизвестно. Ничего, найдется, когда напишется все, а теперь с черновых листков нужно переписать в тетрадь те строки, которые уже сочинились. И Маврикий переписывал:

Мой дядя самых честных правил:  
Своим хозяйством строго правил,  
Гречиху сеял, лен и рожь,  
Не брал чужого, но — не трожь  
Его мочальное богатство...  
Он почитал за святотатство  
Есть свежий хлеб, коль черствый есть.  
За что хвала ему и честь.

Переписав, а затем перечитав эти строки, сочинитель радовался, что у него уже начало получаться не хуже, а местами лучше, чем у Александра Сергеевича, которого он полюбил во втором классе гимназии окончательно и на всю жизнь.

Теперь нужно найти в ворохе бумаг листок о ферме «мон-пер». Вот он:

А брат его, от вас не скрою,  
Совсем был на другую статью.  
Хотел он ферму здесь построить

И фермером молочным стать.  
Но, боже мой, какая скука  
Сидеть на ферме день и ночь,  
Картошку есть с зеленым луком,  
Не быть в «Прогрессе» и не мочь  
Ее увидеть хоть глазком,  
Убечь отсюда хоть ползком,  
Хоть тараканом, хоть ужом.  
Ужо тебе «мон-пер». Ужо!

Здорово! И главное, французские слова тоже есть. Без них какой же роман в стихах! Не зря у него нынче четверка по французскому языку. Теперь нужно дописать что-то еще о полях, о лесах, о том, как герой романа, взмылив коня, появляется на мельнице, которая может быть и не мельницей, а старинным замком. А потом сразу переходить к этому листку:

На скакуне он прискакал  
И там Огнева увидал.  
Он пел романсы, танцевал,  
Своим хвалился длинным ростом.  
И восхищал легко и просто  
Дворянку столбовую Веру,  
Которая совсем не в меру  
Влюблялась чуть не каждый день,  
Забыв о верности, о долге,  
И вызывала кривотолки  
Среди окрестных деревень.

Маврикий опять перечитывает переписанные строки. Ему не верится, что это он сам мог написать такие стихи, которые заставляют даже его утирать слезы, а уж она-то поймет и оценит, как жестоко было с ее стороны обращать внимание только на рост и на голос. А что рост? Какую роль он играет? Пушкин тоже был маленького роста.

Дальше, дальше... Его, наверно, ждут уже к обеду. Пусть ждут. Ему не до похлебок. В нем горит огонь возмездия. Он ему бросает вызов.

Не торопись рука. Не искривляйтесь строки. Разве ты забыл, что служенье муз не терпит суеты?

Пишитесь же ровнее, строфы:

Перчаткой новой шерстяною  
Был сделан вызов. Трус молчит,  
И за плотиной водяною  
Боится он скрестить мечи...  
Но секундант, моряк бывалый,  
Стыдит Огнева, Иля тоже,  
Такой хороший, славный малый,  
Назвал его... какой-то рожей...  
Огнев трясется и немеет.  
Боится схватки, но не смеет  
Признаться в трусости при Вере,  
И он, в себя совсем не веря,  
Кляня злосчастную судьбину,  
Поплелся тихо за плотину.

В первом замысле своего романа Маврикий Толлин на поединке за мельницей хотел убить Огнева, но потом передумал. Униженный и обиженный Пламеневым, выплакав из-за него столько горьких слез первой мальчишечьей ревности, он все же не мог так жестоко поступить с ним. Его сердце не могло выработать так много зла, а нравственность — допустить лишение жизни одним человеком другого человека, хотя бы и на бумаге. Да и кроме этого, если дуэль будет со смертельным исходом, то нужно дописывать очень много строк. Должна же появиться полиция. Затем суд. Затем пермская тюрьма. И героем получится не он, а Огнев. Не лучше ли, показав свое превосходство, сжалиться над ним, затем наказать его изгнанием?

Так и было сделано:

За мельницей мечи скрестились,  
Маврикий выбил меч Огнева,  
И тот сдался ему на милость:  
— Прости! Позволь сказать два слова...  
Мне не помог мой длинный рост...  
Маврикий страшен был, но прост.  
И он сказал: — Несчастный, встаньте!  
Я объясню вам откровенно.  
От Веры навсегда отстаньте  
И уезжайте непременно  
Куда угодно, мал ли свет,  
А к ней тебе дороги нет.  
Бежал Огнев быстрее лани,  
Мелькали только его длани.

И далее — прямое объяснение в своих чувствах, заполняющих всю его душу, всего его:

О Вера-Лера, я люблю!  
Твой взор невиданный ловлю.  
И ночь не в ночь, и день не в день,  
Брожу, как сумрачная тень.  
Пусть я иссохну, как скелет,  
В мои почти тринадцать лет.

Рыдания душат Маврика, слезы заливают последние строки романа в стихах. И пусть. Даже лучше. Все равно он не будет больше переписывать. Завтра его двоюродный брат Тиша Непрелов отнесет ей эти листы, и она, потрясенная, придет и скажет, как тогда:

— Я уважаю вас, Толлин. Вас нельзя не уважать.

Только этого и хочет он. Даже, может быть, меньше. А то что же получается? Отец и дядя Сидор, да и все Непреловы относятся к нему с усмешечкой. Мать тоже любит его как какого-то неполноценного. Викторин в своей морской форме вообще ко всем сухопутным относится свысока, и Маврик при нем как один из свиты. Санчик хотя

и моложе Маврика на год, но завод сделал его старше чуть ли не на два года. Они не поссорились, а отделились. Илья тоже находит, что Маврик ведет себя неправильно, а он правильно.

Родиться бы ему лучше в обыкновенной кулеминской семье, и работать бы на заводе, и не знать бы Викторина, Леры и вообще... И вообще, эта милая, хорошая гимназия ведет его куда-то не туда.

## II

Варвара Николаевна Тихомирова пришла в Омутиху, чтобы поговорить с матерью Маврика. И, встретившись, она сказала:

— У впечатлительных и одаренных мальчиков иногда бывает ранняя влюбчивость. Она проходит, как и всякое возрастное заболевание, и проходит тем скорее, чем заботливее и внимательнее лечат ее.

Затем она рассказала очень мягко, с доброй улыбкой о том, как Маврик воспылал нежными чувствами к ее внучке, и умолчала о романе в стихах, боясь навлечь гнев вспыльчивой матери.

— Я и сама замечаю, что мой сын сам не свой. Бродит по лесам, прячется от людей. Бормочет во сне. Исхудал. Провалились щеки. Неужели он... Но ему не исполнилось и тринадцати. Тринадцать будет в октябре.

На это рассудительная Варвара Николаевна сказала:

— Природа, нередко бывая торопливой, опережает возраст. В этом я не вижу ничего опасного. Мальчику нужно помочь. Хорошо, если б он съездил куда-нибудь. Отвлекся. Ему нужны новые впечатления. А потом уроки... школьные мастерские, и он вернется в свою колею.

У Любви Матвеевны ум был быстрый. Она, еще не распроставшись с генеральшей, решила, что Маврикий поедет в Елабугу и вернется оттуда с теткой.

Вечером она, приласкав сына, сказала ему:

— А не поехать ли тебе в Елабугу за теткой?

— Одному? — спросил Маврик.

— Ты же перешел в третий класс. Неужели тебе в провозатые нужна какая-нибудь Панфиловна, — вспомнила она старуху, которую

нанимали для него в Перми.

— А когда?

— Да хотя бы завтра. Твоя тетка так будет рада!

Любовь Матвеевна иногда ревновала сына к сестре. Она знала, что Маврик свою тетю Катю любит больше матери. Но она также знала, что, выйдя второй раз замуж, она приблизила Маврика к тетке.

Вот и сейчас, видя, как обрадовался он, Любовь Матвеевна, глубоко вздохнув, прижала к своей груди сына и, целуя его кудри, искала слова успокоения. Они нашлись. И она поняла, что бог, или судьба, или еще какая-то сила вознаграждает Маврикия любовью тетки за отнятое у него.

Как хорошо, когда находятся успокаивающие объяснения.

Самостоятельная поездка в Елабугу — очень серьезное путешествие. Елабуга не Омутиха. Как можно не сообщить Тихомировым о своем отъезде? Нужно же проститься и узнать, какое впечатление произвел на Валерию роман в стихах. Жаль, нет Гарольдова плаща, и неизвестно, каков он, этот плащ. Но можно взять мамину клеенчатую накидку от дождя. Небо, кстати, хмурится.

Приятно быть Гарольдом. Накидка развеивается, шуршит. В страхе убегают в рожь какие-то зверюги из семейства грызунов. Где-то погромыхивает гром. Гроза опять пройдет, наверно, стороной. Явиться бы при свете молний, при дожде. Мокрый плащ изумительно блестит. Но ничего и так. Его заметили на мельнице. Она идет ему навстречу.

— Ты в дорожном? Здравствуй!

— Здравствуйте. Пришел проститься.

— Как?

— Наскучило в деревне. Решил пуститься в странствия.

— И далеко? — спросила, кажется волнуясь, Варвара Николаевна.

— Пока в Елабугу.

— Ничего себе «пока». Да это же почти на край земли...

— Ну что вы, Варвара Николаевна, — не хотел преувеличивать Маврик. За Елабугой еще Казань, а за Казанью Нижний Новгород, а за Нижним Новгородом Ярославль и Рыбинск...

Дальше Рыбинска, конечной пристани, куда ходили камские пароходы, Маврик не знал, что может быть названо.

Оставшись в саду с Лерой, Маврик ждал, что Лера первая заговорит о переданной ей тетради. Но Лера говорила о том, как

хорошо на Каме летом. При чем тут Кама? Что за невежество. Как можно говорить о чем-то постороннем, когда он ждет ее признания, ее восторгов. И он спросил ее:

— Валерия, вы разве не читали?..

— Ах, да... Ну как же не читала? Читали вместе с бабушкой.

— И вам понравился роман?

— Конечно. И бабушке и мне.

— Уйма остроумия, — присоединилась к внучке вернувшаяся Варвара Николаевна. — Бездна каламбуров! Я восторгалась некоторыми строчками до слез. Особенно прелестны те, где бежал Огнев быстрее лани, мелькали только его длани. Милейшие курьезы. Прелестная пародия. Я заучила наизусть.

Но секундант, моряк бывалый,  
Стыдит Огнева, Иля тоже.  
Такой хороший, славный малый,  
Назвал его какой-то... рожей, —

продекламировала Варвара Николаевна. — Это же просто великолепно. Смешить в таком высоком штиле могут лишь очень серьезные люди. Блестящий, тонкий юмор!

— Да, бабушка, да, — сказала Лера. — Это просто очаровательно. Особенно хорошо написано о том, как Вера влюблялась чуть ли не каждый день, вызывая кривотолки среди окрестных деревень.

— О, несомненно, несомненно, — принялась опять расточать свои похвалы Варвара Николаевна. — По-настоящему может смешить лишь тот, кто это делает с серьезным лицом, будто не желая рассмешить. Это дано не многим людям.

Маврик не показал своего негодования на то, что написанное всерьез принималось ими как шуточное произведение. Ему показалось ненужным да и невозможным спорить с ними. Они отрезали все пути для возражений. Поэтому он, снимая дождевую безрукавку матери, сказал, сдерживая волнение:

— Я очень рад, что насмешил вас. Я так люблю смешить. Поэтому, наверное, мой папа Герасим Петрович Непрелов называет



меня петрушкой. Любя, конечно. Он очень любит меня...

Затем Маврик, простившись с Тихомировыми, ушел, не позабыв взять свою тетрадь с романом. Он не накинул на себя плащ, хотя и накрапывал дождь. Варвара Николаевна и Лера провожали Маврика глазами. Его голова виднелась в ржаном поле, через которое шел он по меже.

— Не кажется ли тебе, Лера, — спросила бабушка внучку, — что Воля Пламенев слишком часто бывает у нас на мельнице и неумеренно расширяет круг песен и романсов, которые он исполняет?

— А почему ты спросила об этом, бабушка?

— Я спросила об этом потому, что его романсы производят очень большое и, как мне кажется, преждевременное впечатление на Викторина и на Фанечку Кишбаум...

Варвара Николаевна умела говорить, а Лера умела слушать и понимать сказанное.

### III

Чем ближе к Перми, тем шире Кама. На пароходе тесно, как никогда. В эти июльские, предъярмарочные дни всегда бывает множество пассажиров и грузов. От больших купцов до малых торгашей — все стремятся в Нижний Новгород. Одни — продать, другие — купить. На знаменитую Макарьевскую ярмарку стекаются тысячи всяких и разных людей со всех концов света. Переполненным и шумным становится Нижний Новгород в эти ярмарочные недели неопишуемой пестроты и азартного торга всем, что продается и покупается.

И не придумаешь лучшего места для тайных встреч, нежели нижегородская ярмарка. Попробуй уследи в этом беспрестанном движении тысяч людей, кто и с какой целью приехал сюда. Сумей проверить, кто и зачем встречается здесь в неслыханном множестве ресторанов, трактиров, кабаков, в пригородных селах, где также сдаются приехавшим комнаты, избы, углы, сараюшки. Узнай, о чем говорят уединившиеся там и сям люди. Свершают ли они деловые сделки или сговариваются о недозволенном.

Анна Семеновна третий раз едет на ярмарку, где у нее и в этом году будут встречи с такими же, как и она, прилично и нарядно одетыми господами. Встреча с каждым из них будет похожа на свидание, и никому не придет в голову помешать все еще цветущей женщине очаровывать молодого франта или коммерсанта почтенных лет.

Нынче Анна Семеновна едет с детьми. В Мильве она объяснила это тем, что закупки в Нижнем у нее не столь велики, потому сын и дочь, которым нужно доставить удовольствие, не свяжут ее. В действительности же Фаню следовало остудить на палубе парохода. Она слишком часто виделась наяву и во сне с красавцем в морской форме Викторинном Тихомировым. Помня себя в пятнадцать лет, Анна Семеновна понимала, что эти годы куда опаснее для девушки, нежели последующие. Не кто-то, а она поцеловала впервые Гришу Киршбаума на шестнадцатом году и пообещала стать его женой. Но то был Гриша, стоящий на своих ногах. Наборщик из Петербурга. Старше ее тремя годами. А этот бабушкин любимец — пока еще школяр, стяжающий внимание своих сверстниц. Одним словом, Фаню не следовало оставлять в Мильве. А взяв ее, как можно было не взять сына. Тогда стало бы слишком ясно, почему она увозит дочь.

Маврик, мечтавший о самостоятельной поездке в Елабугу, не мог не задержаться на несколько дней, чтобы отправиться вместе со своим другом. И вот они стоят на палубе и ждут поворота реки, за которым будет видна Пермь. Там они проведут весь день. У Анны Семеновны в Перми дела. Ей нужно побывать у портнихи, что-то купить в магазинах... И очень хорошо. У Маврика с Ильей в городе еще больше дел. Нужно поздороваться с улицами, домами, побывать в музее, пройти мимо здания окружного суда, заглянуть на знакомый двор старой квартиры, сходить на кладбище к отцу, посмотреть в бинокль на окна тюрьмы, — а вдруг там окажется знакомое лицо? От Ивана Макаровича с тех пор никакой весточки. Если останется время, то можно забежать в Богородскую церковь, — может быть, жив старик сторож. У Александры Ивановны Ломовой школа теперь на замке, но не пройти мимо нее нельзя.

И вот она, Пермь. Все та же белизна домов. Все те же пристанские запахи. Все тот же гул набережной. Знакомая пристань, а на пристани, что совсем невероятно, Терентий Николаевич Лосев.

Как он очутился здесь? Зачем он встречает их?

Ильюша и Маврик довольны встречей со своим старым другом. Такой приятный случай. Они не знают, что этот случай готовился с весны. Анне Семеновне трудно да и невозможно везти при себе тяжелый груз. А нанимать носильщиков рискованно для груза и для нее. Терентий Николаевич, выехав неделей раньше, побывал уже в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле. В коробках, залитых халвой, в дуплянках с медом привез он штемпельные подпольные подарки. Вхожий всюду, легко сходящийся с людьми, прирожденный весельчак, не теряющийся в трудные минуты, Терентий Николаевич стал незаменимым экспедитором рискованного багажа.

Здесь им предстоит пересадка на большой, так называемый низовой пароход. Во второй, сравнительно недорогой класс билетов не оказалось. Это не огорчило Ильюшу и Маврика. Они еще не ездили в первом классе, да и Анне Сергеевне спокойнее здесь за свой багаж, доставленный Терентием Николаевичем в хороших кожаных чемоданах.

Анна Семеновна входит в роль пассажирки первого класса, чтобы не выглядеть здесь белой вороной.

Среди пассажиров первого класса Анна Семеновна встречает миллионщицу Соскину с приживалкой. Раскланялись. Наверно, Соскина уезжает от сплетен, которых после исчезновения Всесвятского было предостаточно.

Не наглядится Фаня на свою нарядную мать. Нежно приникает к ней. Дочери так хочется рассказать, как робок был с нею отважный, не знающий страха Викторин. Как послушен он ей. Как он был счастлив, когда она разрешила ему взять себя под руку. Разве можно сказать об этом маме, разве она сумеет понять и поверить, что Викторин и Фаня обручены, не сказав об этом друг другу ни одного слова. Да и зачем им говорить о том, что может быть огрублено словами? Для этого есть сердце, глаза, поступки...

— Ты, кажется, повеселела, моя девочка? — спрашивает мать. — Я так рада, что поездка на пароходе хорошо действует на тебя.

У Ильюши с Мавриком свои дела. Им хочется рассуждать. Они имеют право входить в салон первого класса. Там так все первоклассно, что даже теряешься. А потом, оглядевшись и привыкнув, хочется делать замечания.

— И зачем только, Иль, — спрашивает Маврик, — кресла обивают дорогой кожей, а кожу закрывают чехлами?

— На свете много неразумного, — отвечает развалившийся в кресле Ильюша. — Зачем, например, висюльки на подсвечниках? — указывает он на затейливые бронзовые канделябры. — Для позвякивания, когда идет пароход. А зачем самые подсвечники, когда на пароходе есть электрический свет?

И далее следуют новые «зачем». Зачем, например, белить лицо старой даме, у которой две взрослые дочери. Ведь ей уже не нужно выходить замуж.

Берега Камы ниже Перми не столь сказочны, но зато сама река шире, величественнее, добрее и ленивее.

Неужели может надоест стоять у окна или на палубе и любоваться гладью воды, облаками, которые отражаются в ней, дикими утками, не обращающими внимания на пароход, желтеющими полями, синими лесами, милыми деревеньками, глядячи на которые не верится, что там так же плохо, как в Омутихе, а может быть, и хуже?

#### IV

В июльское безлуние в этих широтах Камы случаются темные ночи. Но все равно приятно выйти на палубу парохода, особенно когда он пристает к берегу.

Было поздно, когда Анна Семеновна рассматривала толпящихся на маленькой пристани ниже Сарапула. В толпе она заметила рыжего чиновника. Память не сразу ответила ей, где она встречалась с ним. Оказывается, в Мильве, в общественном собрании, в каком-то из водевилей. Чиновника играл Всесвятский. Вспомнив об этом, она узнала в чиновнике Антонина Всесвятского. И узнала тем более, когда он поднял глаза, ища кого-то на верхней палубе парохода. Он искал приживалку Соскиной — Калерию.

Анне Семеновне никак не хотелось встречаться с переодетым Всесвятским. Да и он, видимо, не был рад этой встрече. Однако же, надеясь быть неузнанным, Всесвятский появился на пароходе, и его глаза вторично встретились с глазами Анны Семеновны. И когда она

опустила их, Всесвятский понял, что она узнала его. Тогда беглец прибег к прямому разговору. Подойдя к Анне Семеновне, он сказал шепотом:

— Я надеюсь, у вас хватит ума и благоразумия, чтобы не узнавать меня. Я постарался не узнавать подробности заведения Мартыныча и Кулемина на Омутихе... Но вы сами понимаете, если... — Он не успел закончить фразы. На палубе появился низкорослый большеротый человек с редкими зубами. Он и не мог не появиться тут после того, как Соскина стала для него привадой, за которой он следил, надеясь поймать Всесвятского. Желание сбылось. Сцена, которая длилась на балконе палубы несколько секунд, нуждается в предварении, чтобы не выглядеть неожиданной, а стать естественно завершающей цепь событий, которых мы не касались.

Сбежав из Мильвы, самоуверенный Всесвятский, надеясь на свои театральные способности, преувеличенно возомнил себя неуловимым и неузнаваемым. Он полагал, что прошло много времени и что им перестали интересоваться.

Напрасно. Письмо, полученное губернатором, в котором Всесвятский развенчивал самое сокровенное, привело в трепет главу губернии. Его возмущали художества Саженцева, начиная с недоплаты денег агентам и кончая губительным фанфаронством, благодаря которому был упущен ценнейший Аполлон. Губернатор верил, что Аполлон, раскрывший всех своих тайных коллег, располагал редчайшими сведениями, на которые недвусмысленно намекал Всесвятский в своей отповеди. Он писал: «Ослы! Вы пожалели за одну мою свободу получить дюжину революционеров, достойных каторги и виселицы. Кусайте теперь локти».

Саженцева били в кабинете начальника. Он выл и ползал на коленях. Он клялся искупить свой второй грех и обещал добыть живьем Аполлона.

С тех пор Саженцев стал незримой тенью Соскиной. Долгим было хождение по следам, и наконец оно привело к цели. Пассажир первого класса в чесучовой паре, похожий на артиста, в котором Соскина не могла увидеть следователя, знал точно, нюх не обманывал его — любовники встретятся. Если не на пароходе, то на одной из пристаней, где сойдет истомившаяся богачиха.

И он не ошибся. Приживалка Соскиной, гаснущая в девичестве, свела знакомство с артистом в чесучовой паре. Она успела обронить ему те ничего не значащие слова, которые сказали Саженцеву все, что он хотел знать.

И вот перед ним, тончайшим знатоком преступной психики, виднейшим (и ничуть не меньше) анатомом темных душ, снова предстает легкомысленный провинциальный комедиант в чиновничьей форме. О, что сделает с ним оскорбленный следователь. Небо заплачет кровью. Застонут каменные стены тюрем. Он спустит с него семь шкур. Инквизиция средних веков окажется подготовительным классом пыток, которым он подвергнет пойманного. Оба револьвера Саженцева заряжены. Курки взведены. Нужно дать подняться злодею Всесвятскому на палубу. Он пойдет к ней. В ее седьмую каюту. Как стучит маленькое жабье сердце Саженцева. Как дрожат его руки в карманах. Указательные пальцы на спусковых скобах. Не нажать бы только в волнении на одну из них и не выстрелить бы в кармане широких чесучовых брюк. Тогда... Невозможно представить, что будет тогда...

Остаются минуты. Всесвятский подымается на балкон палубы. Он шепчет что-то неизвестной Саженцеву женщине. Ничего. Будет спрошено. Но это потом. А теперь не потерять секунд... Арестовать... Надеть наручники... Вдвоем это сделать было бы куда легче... Ничего, он справится и один. Всесвятский лишится половины чувств от убийственного взгляда глаз, которых он так боялся при встречах в Мильве. А вторую половину чувств выбьет удар рукоятью револьвера по голове.

Они встречаются. Саженцев вынимает из карманов руки. В них по пистолету. Всесвятский подымает руки. В его глазах ужас.

— Ага-а-а!.. Ко мне!..

Трясущийся Всесвятский в жалкой чиновничьей форме, с отклеившимся усом подходит к Саженцеву, встречаются лицом к лицу. Удар! Из рук Саженцева вылетают за борт оба револьвера. После второго удара сильной руки подгибаются ноги Саженцева, искажается лицо. Не дав ему упасть, Всесвятский легко бросает тщедушненькую фигурку за борт под плиты колес. И затем, не теряя секунд, он сбрасывает на ходу и отправляет за борт чиновничий мундир, бежит к корме, чтобы кинуться в темную воду за колесами парохода. И он

нырнул головой вниз, как в Мильве, когда, купаясь, он бросался со свай, ограждающих вешняки пруда, заставляя любоваться собой гуляющих на плотине.

Переполох начался не сразу. Всесвятский успел благополучно выбраться на берег, когда остановили быстроходный, идущий вниз по воде пароход «Анна Степановна Любимова».

— Да кто же где их теперь найдет, — рассудил лоцман. — Тьма же тьмушая, а мы и без того идем с опозданием.

— Но протокол все ж таки надо составить, — посоветовал полицейский чин, ехавший во втором классе.

На этом и покончили.

— Не иначе, что это любовная история, — рассуждал на другой день седой и длинный купец в кругу своих друзей за завтраком.

— Вернее всего, — подтвердил второй.

А Соскина ничем не показала, что вчерашнее происшествие имеет к ней хоть какое-нибудь отношение. Она только заметила:

— На любимовских пароходах всегда что-нибудь случается, — и, зевнув, перекрестила рот.

Это была сильная женщина. Анна Семеновна, наблюдая Соскину, теперь верила слуху о том, что такая могла помочь старику миллионеру, своему мужу, не задерживаться на грешной земле.

Когда же придет конец этому миру убийств, преступности, аферы, купли и продажи самого сокровенного и святого?

Скоро, Анна Семеновна, скоро. Наберитесь терпения! Впереди еще много испытаний, но все равно придет им конец.

Медленно проходят камские берега, слева низменный луговой, справа крутой глинистый. Кругом такое умиротворение, такая благодать и тишина.

Рыбе и той лень возмущать сонливую солнечную гладь.

Хорошо дремлется пассажирам после сытного обеда. Ничто не тревожит их. Никому даже и не снится, что к западным границам России подползает страшная, кровавая война, которая откроет новую страницу истории. И это будет началом конца той жизни, которая многим и очень многим казалась устойчивой и непоколебимой.

А пока тишина... добрая, успокаивающая тишина...

Солнце еще не село за берег Камы, когда протяжный свисток «Анны Степановны Любимовой» известил Елабугу о намерении пристать. Маврик уже разглядел в бинокль свою тетю Катю. Она стояла рядом с какой-то женщиной. Наверно, это и была та самая Валентина Ивановна, которая училась когда-то с тетей Катей кройке и шитью, а теперь она жена старика, который стоит позади нее.

Пароход сделал круг, чтобы, причаливая к пристани, стать носом против течения. Опять все толпятся. Кто-то кому-то кричит: «Здравствуй, Сережа!» Маврику ни до кого нет дела, он видит только свою тетю Катю в нежно-кремовой плетеной косынке, в новых очках с нарядной золотой оправой. Как они ей идут! И вообще лицо тети Кати становится все лучше и просветленнее. Другого слова и не подберешь. Потому что слов не так много, как раньше казалось Маврику.

Терентий Николаевич, Анна Семеновна, Ильюша передают Екатерине Матвеевне пассажира первого класса, знакомятся с Валентиной Ивановной и ее мужем Иваном Прохоровичем Ложечкиным. Глядя на него, Маврик думает: а могло бы случиться и так, что не Валентина Ивановна, ровесница тети Кати, а тетя Катя могла оказаться замужем за этим Ложечкиным. Как это было бы печально! Лучше не думать об этом и не пускать в голову таких дурацких мыслей.

— Такая приятная встреча, — говорит Екатерина Матвеевна. — Очень жаль, что недолго стоит пароход, а то бы...

Все понимают, что ей не до гостей. Она хочет как можно скорее выбраться из пристанской сутолоки, чтобы остаться с племянником, с которого она не сводит глаз.

— Извините, Екатерина Матвеевна, — стала прощаться Анна Семеновна. Фанечка у меня одна в каюте. А во время стоянок случается всякое.

Ильюша и Терентий Николаевич простились на берегу, где Ложечкиных ожидала удивительно красивая черная лошадь, запряженная в сверкающий экипаж.

Возвращаясь, Терентий Николаевич, молчавший до этого, сказал, указывая на Каму:

— Жизнь, Ильюшка, схожа с рекой не только лишь тем, что она тоже течет, но и тем, что виляет, поворачивает куда надо и куда не



надо.

Говоря так, он имел в виду красавицу Валю Токареву, дочь коренного рабочего, за которую сватались хорошие парни. Но девушка мечтала о богатстве и вышла замуж за Ложечкина.

Старик Ложечкин произвел на Маврика в общем-то неплохое впечатление. Сам старый, а глаза молодые, совсем как у Санчика Денисова. Но больше, чем Ложечкин, Маврику понравился Чародей. Этого коня и нельзя было назвать другим именем. Он, чаруя, останавливает каждого. Черный, блестящий. Стройный, тонконогий. Шелковистая грива. Пугливые темные, с синеватыми белками глаза. За этого коня, как узнал Маврик, посыльный от знаменитых елабужских богачей Стахеевых предлагал столько, сколько и во сне не приснится. Но Иван Прохорович ни за что не продаст своего Чародея, особенно Стахеевым, которые разорили множество купцов, таких, как Ложечкин.

Иван Прохорович назывался громким словом «заводчик». У него было два завода: свечной и салотопенный.

Свечной завод представлял из себя сарай с окнами. В нем работали двое стариков и один парнишка. Салотопенный завод находился за городом. Потому что, как сказала тетя Катя, от него идут плохие запахи. На этом заводе вытапливают из кишок, из различных отбросов и даже из «дохлятины» сало для свечей. Работают два незаменимых мастера, потерявшие обоняние.

Валентина Ивановна жила хорошо. Видимо, салотопня и свечной завод давали не такой уж маленький доход. Кирпичный двухэтажный дом. Семь комнат, а живут вдвоем. Кухарка, горничная, конюх. Он же кучер и дворник. Никаких коров, кур, свиней нет. Зато пять лошадей, и все беговые, призовые лошади.

Елабуга город веселый. Но такой он, видимо, только летом. В Елабуге есть что-то от Перми и что-то от Мильвы. Наверно, деревянные дома. Но у Елабуги свое лицо. Это уездный город-купец. Во всяком случае, таков его центр.

Главная фамилия в городе — Стахеевы. И это не просто фамилия, а второе слово после слова Елабуга. Стахеевы здесь имеют ко всему отношение. Они сильнее губернатора. Они почти царствующий дом. Стахеевы могут сделать все. Поднять человека, осыпать его милостями. А могут и разорить, уничтожить, стереть с лица земли.

— У них столько капиталов, — сказал за ужином Иван Прохорович, сколько их нет во всей Елабуге. И если продать Елабугу со всеми ее домами, церквями, лавками, то все равно денег выручишь меньше, чем у Стахеевых.

Оказывается купцы тоже не одинаковы, как и крестьяне. Однако же у всех у них самое главное — мое. Мои мочальные гужи. Моя пасека. Моя салотопня. Мой Чародей. Моя выгода.

Утром на другой день приезда Маврика, когда у Ивана Прохоровича был его приказчик, было сказано:

— Свечи попридержи, а все годное на сало скупай сколько возможно. Не бойся переплатить копейку. Из Казани идет слух, что начинается мобилизация, и все будет в спросе.

Подробности о войне Маврик узнал вечером. На улицах Елабуги было особенно много народу. Говорили, что сыр-бор загорелся от гимназиста по фамилии Принцип, который убил наследника австрийского престола Франца-Фердинанда в городе Сараево.

Как это неожиданно для Маврика! Во-первых, гимназист, во-вторых, город Сараево, почти что пристань Сарайск на старом зашеинском дворе. Наверно, в Мильве тоже знают о войне.

Маврик не ошибался. В Мильве уже бегал по улицам босой Тишенька Дударин и пророчествовал: «Мы их шапками закидаем, а ихнего кайзера валенком пришибем».

Так же примерно говорили и в Елабуге. И говорили не юродивые, а солидные люди. Какой-то и чего-то попечитель специально приходил к Ивану Прохоровичу, чтобы рассказать о войне.

— Наша доблестная армия управится с ними до желтых листьев. Насквозь их пройдут.

Солдаты, проходя строем по улице, пели переиначенную песню. Вместо турецкого царя запевала, выкрикивая, называл царя германского:

Пишет, пишет царь германский,  
Пишет русскому царю:  
Побежду я всю Европу,  
Сам в Расею жить пойду.

В конце песни нахальный царь, имя которого было теперь у всех на устах, получал по заслугам. И это очень радовало мальчишек. Радовало и Маврика.

Спустя еще день из Казани пришли самые свежие газеты. От Елабуги до Казани триста тридцать верст речного пути. Елабуга живет вчерашними новостями. Новости подтверждали, что война будет короткой, что неприятель будет отомщен. Воинственные мужские кличи раздавались и ночью, но вскоре вплелись плачущие, причитающие женские голоса.

Началась всеобщая мобилизация.

— Не забрали бы на войну Герасима Петровича, — сказала за обедом тетя Катя и тут же успокоила себя: — Наверно, таких, как он, не будут брать.

И Маврик думал так же. Какой же может быть солдат из его второго отца, когда он ходит в накидке с бронзовой цепочкой и бронзовыми головами львов? Артемия Гавриловича Кулемина тоже не могут мобилизовать. Он же в оружейном цехе, а ружья будут нужны.

На пристанях стоял рев. Плакали и гармошки, делая вид, что они играют веселое. Наступил какой-то сплошной екатеринин день летом. Мобилизованных отправляли на баржах. Это дешевле и удобнее, чем на пароходах. Гнали в Казань и пешим строем. Особенно из деревень.

Война с первых же дней коснулась всех. По-разному, но всех. И если в первые дни она была как гром среди ясного неба, то уже на вторую неделю с ней примирились, как с чем-то неотвратимым и не зависящим от того, кто бы и как бы в Елабуге к ней ни относился. Изменить ничего было нельзя. И даже сам царь не мог бы сейчас заставить замолчать пушки, начавшие смертельную огневую перебранку. В войну вступили Франция и Англия.

Пожар разгорался нарастающе и неугасимо, но его пламя было далеко от Елабуги. За Москвой, за Смоленском, за Варшавой. Поэтому Иван Прохорович сказал:

— Молиться о даровании скорой победы надобно, а уху съесть на бережке тоже следует.

На берегу веселой речки Тоймы состоялся пикник. Съехались главным образом лошадаики—друзья Ивана Прохоровича. Маврик и его тетка поехали с Валентиной Ивановной, а сам хозяин — на Чародее, запряженном в легкую, похожую на беговую тележку. Нужно было промять коня.

Сначала было все хорошо. Разостлали ковры, постелили скатерти, развели костер. Кучера занялись ухой, а остальные войной. Считали по дням, прикидывали по верстам, и выходило, что германского императора Вильгельма и австрийского Франца-Иосифа привезут в Питер на поклон в сентябре и уж никак не позднее покрова дня. В том, что это случится, из присутствующих никто не сомневался. Неясно было только одно — повесит их русский император царь-государь Николай Александрович или помилует. Все сходились на том, что хотя пленные императоры и порядочные гадины, но все-таки императоры. С них хватит и того, что они лишатся своих тронов и будут жить где-нибудь в Вятской или Вологодской, а лучше в Архангельской губернии на вечном поселении.

— Оно конечно, — рассуждал Иван Прохорович, закусывая икоркой выпитую водочку из серебряного пикникового бокальчика, — им, как бывшим царям, приставят слуг-прислуг и, может быть, сохранят при них каких-то там вельмож, баронов, графьев, а все же жизнь будет окаянная. И поделом. Не воюй! Не зарься на чужую землю.

Когда участь императоров была предрешена и их империи разделены между союзниками, а уха доедена, захотелось дать по кружку на лужку. И ведено было запрячь лошадей.

Валентина Ивановна не советовала этого делать мужу, но Иван Прохорович ее не послушал, и кончилось плохо.

На втором кругу колесо тележки Ивана Прохоровича наскочило на пень, скрытый травой. Тележка перевернулась, Чародей протащил Ивана Прохоровича на вожжах, которые он намотал себе на руки. Кучера еле остановили лошадь.

Ивана Прохоровича отвезли в больницу. Вечером сообщили о переломе трех ребер. Валентина Ивановна осталась ночевать в больнице. Утром она сказала Екатерине Матвеевне:

— Надежд мало, — и в голосе Валентины Ивановны, и в выражении ее лица не было желания, чтобы надежд на выздоровление

старого мужа было больше.

Маврик не произносил скверных слов. Они были у него, но не на языке. И он, глядя на плачущую без слез Валентину Ивановну, назвал ее беззвучно злым словом, которым все называли Соскину.

— Ложечкиным не до нас, — сказала Екатерина Матвеевна Маврику, как только они остались одни. — Да и время теперь не для гощений.

Екатерины Матвеевны не было почти весь день. Маврик слонялся по надоевшим ему улицам чужого города, думал о Мильве, об Ильке, о Санчике. Одному даже хорошее мороженое кажется не таким вкусным.

На другой день племянник и его тетка возвращались в Мильву. Екатерина Матвеевна подолгу просиживала в каюте, не показываясь на палубе. Тягостной была эта поездка. Пароход против течения шел медленнее. Все говорили только о войне и победе. Опять встретила баржа с мобилизованными. Ее тянул дымивший черным дымом буксирный пароход.

Опять на палубе появились пассажиры с платками для приветствия мобилизованных. У одного был даже трехцветный флаг. Они будут махать барже и выкрикивать воинственные напутствия. Пароход опять даст, поравнявшись с баржей, короткие вдохновляющие свистки. Помощник капитана обязательно скажет в рупор: «Возвращайтесь с победой».

Пожилая женщина, похожая на сельскую учительницу, стоявшая на палубе неподалеку от Маврика, тихо сказала:

— Все ли вернутся они к своим семьям? А если и вернутся, то, может быть, без руки или без ноги. Война только на картинках да в песнях удала...

Маврик решил рассмотреть мобилизованных. Он приложил к глазам бинокль и стал разглядывать едущих на барже. Это были люди в лаптях, в сапогах, с котомками, с дорожными сундучками, в плохой одежде. Все равно бросать. Дадут казенную. В бинокль было отлично видно и выражение лиц. Баржа быстро пробегала в поле зрения бинокля, и Маврик вел его за баржей. И когда он разглядывал сидевших на корме, он увидел так отчетливо два таких близких и знакомых лица, что бинокль выпал из его рук и он закричал:

— Папа! Папочка...

Пронзительный крик услышали находившиеся на палубе и в каютах, окна которых были открыты.

— Папа... Папа... Это я... Это Маврик... Григорий Савельевич!.. Это я...

Но разве из-за шума колес и воды Герасим Петрович и Григорий Савельевич Киршбаум могли слышать крики Маврика?

Около Маврика столпились женщины. Они спрашивали, что случилось, что произошло. Появилась и Екатерина Матвеевна.

— Маврушенька, что с тобой?

— Мама опять одна! — выкрикнул он. — Ильюшиного папу тоже забрали на войну.

Он мог бы добавить, что на этой же барже везли Павлика Кулемина, снова отнятого у Жени, так долго ждавшей свое вероломное счастье. Но Павлик сидел за канатами, и его не было видно.

Патриотически настроенные пассажиры первого и второго класса бежали по палубе к корме и махали платками, столовыми салфетками и требовали у баржи с мобилизованными скорейшей победы.

#### ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

### I

Не только елабужским стратегам и мильвенским вершителям судеб из комаровского кружка, но и многим, очень многим, может быть подавляющему большинству населяющих Российскую империю, казалось, что война будет короткой. И уж во всяком случае до белых мух должны были вернуться героями под родные крыши угнанные в армию на отмщение оскорбленной державы.

Искусственно вспененная волна патриотизма пошумела недолго. Народ скоро почувствовал, что дело обстоит сложнее и проще. Не все и не всё могли понять, когда эту войну называли новым разделом мира. Но находились люди в той же Мильве, как из своих, руководимых глубоким подпольем, так и из приезжих, растолковывавшие, что идет борьба за прибыли, за сбыт товаров Германией, Англией и Францией. Русские капиталисты тоже мечтали

урвать в этой войне кусок пирога, желая проникнуть в Турцию, а через Турцию на Ближний Восток.

И без того сложный узел нарочито запутывался правящими кругами. Нелегко было мильвенским подпольщикам разьяснить, казалось бы такой ясный теперь, лозунг превращения империалистической войны в войну гражданскую, то есть в революцию, свергающую классы, начавшие и поддерживающие войну. Трудно было объяснить даже таким, как мастер Игнатий Краснобаев, людям не из темных, что большевики не против своего отечества, а против обмана народа. Чтобы понять и принять эти неоспоримые азы, для некоторых требовались не дни, не недели и не месяцы, а годы. А пропаганда затруднялась день ото дня. Большевики лишались своих изданий, разгонялись даже культурно-просветительные общества, большевиков арестовывали при первом подозрении.

Мильвенских большевиков пока еще не коснулась ни одна репрессия. Новые строгие предосторожности конспирации, введенные Матушкиным, все же не позволяли успокаиваться. Всякое могло случиться. Особенно нужно было теперь оберегать подпольное производство штемпелей.

Анна Семеновна, Кулемин и Терентий Николаевич Лосев хотя и с трудом, но справлялись с делами. В Казань по-прежнему отправлялись стереотипы листовок. Нередко Казань заказывала листки, похожие по внешности и оформлению на патриотические обращения обществ, благотворительных комитетов, объявлений воинских начальников или торговых фирм. Такие листки, начинаясь крупными буквами: «За веру, царя и отечество...», или: «Всем женам нижних чинов...», или: «Дешевая распродажа!», продолжались обычным шрифтом, рассказывая правду о войне. Эти листки не сразу бросались в глаза полиции, зато, попав в хорошие руки, береглись, передавались и оценивались по заслугам.

А обыватели, далекие от политики, жили своей жизнью, своими чаяниями, но и они не хотели войны. Не хотела ее, конечно, и Любовь Матвеевна Непрелова. Она все еще верила, что, проснувшись однажды, услышит, что война кончилась. А она и не думала заканчиваться. Минула осень, пришла зима, наступал новый, 1915 год.

— Тебе, Маврикий, как мужчине, первому произносить тост, — сказала мать тринадцатилетнему сыну.

Тост был кратким:

— Пусть кончится война в этом году.

— Пусть кончится она к весне, — поправила, вздыхая, мать, не очень веря, что это возможно.

Ильюша тоже оказался единственным мужчиной в семье, и это понимала даже Фаня. Григорий Савельевич был контужен. Его перевели с передовой в военную прифронтовую типографию. Анна Семеновна с трудом содержала семью. Ильюша частенько приходил обедать к Екатерине Матвеевне. Якобы за компанию с Мавриком. На самом же деле Иль, как он говорил сам, обладал аппетитом значительно большим, чем бывало на столе еды. Фаня тоже, под благовидным предлогом, что Лерочка невыносимо одинока, по нескольку дней подряд жила у Тихомировых. Фаню любили там, хотя и не хотели, чтобы она, так рано, так ослепительно расцветающая красавица, помешала Викторину закончить образование. Он в каждом письме спрашивал бабушку о Фане, и по его письмам было видно, что Фаня не просто его знакомая. Хотя Викторин теперь выглядел рядом с Фаней юнцом, однако же...

— Если суждено, — говорила внучке Лере Варвара Николаевна, — то я никогда не стану на их пути.

Главенствовали в Мильве, и были на виду, и жили в достатке люди, подобные тем пассажирам верхней палубы парохода, которые махали мобилизованным платками и салфетками, требуя победы. Махали салфетками, чокались рюмками, поражали противника словесными канонадами и мильвенские патриоты. Комаровы. Шульгины. Мерцаевы. Чураковы. Не говоря уже о высшем круге, собиравшемся в доме Турчанино-Турчаковского.

Деятельные и бездельничающие дамы устраивали кружечные сборы в пользу раненых с прикалыванием жетонов — гербов союзных держав, организовывали лотереи, довольно веселые вечера, балы-маскарады с теми же целями облегчения участи пострадавших от войны солдат.

В корону на спине горбатого медведя, как в корзину, были воткнуты союзные флаги с центральным из них трехцветным флагом Российской империи. Это было весьма многозначительно. И доктор Комаров сказал по этому поводу спич:



— Господа! Медведь — это не только фабричная марка завода и герб Пермской губернии, в нем хочется мне видеть гораздо большее... Это русская сила. Пусть темная... Пусть в некотором роде дикая, лесная и даже, позволю себе, звериная сила... И в этом ее преимущество. Она идет напролом... Она, сокрушая все на своем пути, не думая о ранах и не замечая потери крови, пронесит победные знамена.

Этот спич, приукрашаясь, пересказывался другими на вечеринках, именинах, просто в веселых компаниях, и в конце концов горбатый чугунный медведь получил новое звучание, и пристав Вишкевецкий установил на плотине возле монумента полосатую полицейскую будку и почетный пост, а всякому полицейскому чину, проходящему мимо медведя, было приказано отдавать честь.

— Как это мило, смело и мудро! — восторгалась нововведением пристава в кругу своих друзей сама Турчанино-Турчаковская.

Медведь шел и нес победные флаги, а война шла сама по себе... Одни складывали свои головы, вторые боролись с нуждой и лишениями, принесенными войной, а третьи наживались на войне. И этих третьих было не так-то уж мало. Ими были не только капиталисты-магнаты высочайшего, стахеевского ранга. Война обогащала всякого хищника, от перекупщика дорожающих спичек, папирос, сальных свечей до прижимистого Сидора Петровича Непрелова, откупившегося от мобилизации малой пасекой и наживающегося теперь на каждой малости, без которой не сядешь за стол. И те, для кого моление являлось не одним только служением всевышнему, но и хлебом насущным, тоже умножали свои доходы умножением молящихся за убиенных и тем более за сохранение жизней дорогих сынов, отцов, братьев, мужей.

Любовь Матвеевна никогда не была богомольной, а теперь она каждое воскресенье, каждый праздник подает особый листок о здравии раба божьего Герасима, хотя он и не находится на фронте.

Герасим Петрович, назначенный старшим писарем в артиллерийскую батарею, жил в Воронеже. Почерк, оказывается, всюду великая сила. Писарь, особенно старший, — это не солдат. Он очень хорошо выглядел на фотографическом снимке. Ему шла военная форма. Он не терял надежды побывать в Мильве, аккуратно писал Маврику наставительные письма.

Маврик старался не получать троек. Не ладилось только с латинским языком, который преподавал «Аппендикс», или, попросту говоря, «Слепая кишка» — так был назван протоиерей Калужников за то, что его, а не учредителя гимназии Всеволода Владимировича Тихомирова утвердили директором гимназии, ставшей казенной. Причиной этому был не только его сын, живший за границей и выступавший там против войны, но и он сам.

Всеволод Владимирович мечтал создать новую универсальную политехническую гимназию, из которой бы выходили не просто хорошо образованные люди, но и умеющие что-то делать, способные к труду. Поэтому подвальный этаж нового здания был приспособлен под мастерские. С переменным успехом работали столярная, токарная по дереву, сапожная и переплетная мастерские.

Всеволоду Владимировичу очень хотелось купить близкие к гимназии дома и, расширив их, создать там хорошие, светлые мастерские. Но в деньгах было отказано. В учебном округе нашли эту затею ненужной и посоветовали генералу Тихомирову вспомнить свою специальность и передавать питомцам военные знания. Всеволод Владимирович согласился стать командиром гимназических рот, считая, что военные знания при любых обстоятельствах и поворотах жизни не будут лишними.

Мастерские были сохранены на правах необязательных. Но и при этом Всеволод Владимирович не терял надежды. Ему никто не может помешать купить дом у Краснобаевых и переоборудовать его в первоклассные мастерские. Для этого нужны деньги. Те, что были, он вложил в строительство гимназии. На это никто не обратил внимания. Генерала считали богатым. Если уж гимназии строит, значит, есть на что свою охотку тешить. Игнатий Краснобаев искал путей к разделу с братом Африканом Тимофеевичем. Продажа дома была нужна обоим братьям Краснобаевым. Поэтому Тихомиров решил продать Омутихинскую мельницу. Ее когда-то, неизвестно зачем, ставил здесь давний тихомировский предок, один из строителей Мильвенского завода. Эта мельница никогда и никому не давала прибылей, а теперь, когда она остановлена, и вовсе... Расстаться с ней — и вся недолга. Зато какие хорошие будут мастерские, какой доброй памятью они останутся для лучших времен, когда в обучении умственный и физический труд будут неразделимы.

Маврик обучался в столярном классе, куда пришел хороший учитель, добрый человек, пленный чех Ян.

Работа в мастерских по часу два раза в неделю, два раза по часу военные занятия укорачивали длинную зиму. К весне Маврик был командиром отделения первоклассников. Им тоже в оружейном цехе были сделаны деревянные винтовки по росту. И первоклассники любили своего строгого, но справедливого командира и становились во фронт, когда встречали его в школе. Если же они с ним встречались на улице, то, как положено, отдавали честь, прикладывая руку к козырьку фуражки.

Ильюше приходилось помогать матери в мастерской. Он не захотел стать вторым командиром отделения первоклассников и не мог работать в столярном классе.

## II

Патриотическая взволнованность первых недель войны давно сменилась недовольством. О войне задумывались и критиковали войну далекие от политики люди. Санчикова мать, встретившись с Екатериной Матвеевной на улице, говорила:

— А чего ради война? За что люди должны складывать свои головы? Зачем простой народ должен терпеть нужду?

Екатерина Матвеевна молчала. Она не знала ответа на эти простые слова, хотя и были всеобъясняющие слова с первого дня войны: за веру, царя и отечество. Но теперь и эти слова требовали настойчиво объяснения.

Молчаливая, тихая женщина Елена Степановна Кулемина и та за чаем спросила Екатерину Матвеевну:

— А зачем вере нужно столько крови? Чего не хватало отечеству, Екатерина Матвеевна? Чего? Земли, руды, леса или скота? Зачем понадобилось царю губить свой народ?

Пока не многие могли ответить на этот вопрос. А те, кто пробовал отвечать и помочь простым людям разобраться в том, кто заинтересован в войне и кому она понадобилась, брались на заметку, а затем снимались с учета завода и отправлялись на фронт. Но в Мильве появлялись люди, которых нельзя уже было отправить на фронт,

потому что они прибыли с фронта, оставив там свою ногу, руку, или, получив другое увечье, не могли возвращаться в окопы. Этим людям, и особенно тем из них, у кого красовались на груди Георгиевские кресты, невозможно было грубо заткнуть плотку. И они рассказывали правду, которой не было в газетах и, конечно, не было в «вечерних телеграммах», печатавшихся небольшими листками в начавшей процветать типографии Халдеева.

Правдивые вести привез и старший унтер-офицер Григорий Киршбаум, служивший теперь в военной типографии штаба армии.

В кружке доктора Комарова, куда пригласили осведомленного наборщика, узнали, что дела на фронте вовсе не так хороши, как хотелось бы. Осторожный Киршбаум, зная, с кем он имеет дело, зная, что в кругу этих лиц слушают уши специального назначения, не высказывал своих суждений, а лишь говорил то, что есть, и этого вполне было достаточно, чтобы гораздо более широкие круги, нежели комаровский кружок, знали правду.

Приехавший также на побывку старший писарь Непрелов более сдержанно, но не менее определенно подтверждал, что война будет затяжной, что, к его великому сожалению, среди солдат встречаются недовольные и дезертиры.

— Не все, к великому огорчению, — говорил Непрелов в той же комаровской гостиной, — теперь верят в победу нашей армии.

— А вы-то, Герасим Петрович, верите? — спросили в один голос Чураков и Шульгин.

— Какое это имеет значение, господа? — ответил Непрелов. — Я надеюсь. А что еще может делать маленький человек?

Дома маленький человек рассуждал, как большой. Он предупреждал жену:

— Любочка, деньги становятся дешевле и дешевле. Они, если так же плохо пойдут дела, подешевеют совсем и ничего не будут стоить. Что будет с нашими накоплениями, Любочка?

На этот вопрос ответил толково и доказательно старший брат Непрелова. Узнав о приезде Герасима Петровича, он тотчас же пригнал из Омутихи. Малограмотный Сидор Петрович, как оказалось, хорошо разбирается и в денежных и в военных делах. Говорил он степенно и убежденно.

— Как толичко спички заместо копейки за коробок вздорожали на грош и за них стали спрашивать по три копейки за два коробка, я сразу тогда почувал, что бумажные деньги дымят-горят, и тут же поразменял все свои «гумаги» на «рыжики». Золото, Герася, всегда золото, а гумага, она хоть и орленая и гербленая, а все же гумага. Твоей Любви Матвеевне тоже было присоветовано все, что лежит в казне на сохранении, взять да в золото перегнуть и замуровать понадежнее в стене.

— А проценты? Кто за деньги, которые лежат дома, будет давать восемь копеек за рубль? Если купить облигации, так еще больше, — заспорила Любовь Матвеевна.

А Сидор Петрович опять свое:

— Пущай хоть двадцать копеек каждый год на рубль належивает, да полтинник слеживает. Ты хоть по спичкам бери, хоть по муке, хоть по телегам.

— Ты прав. Я только что говорил Любе, что нужно как можно разумнее распорядиться нашими накоплениями. А можно ли, как ты думаешь, — спросил Герасим Петрович, — получить с книжки золотом?

— Чиновники всяко могут. Зря ты их, что ли, поил, кормил. Только и золото, скажу я тебе, Герася, тоже по-разному тянет, — предупредил Сидор Петрович. — Да и какой прок из него, коли оно мертвяком в земле закопано. Не складнее ли, Герася, его не загонять в землю, а перегонять в ее.

Герасим Петрович не сразу понял, что хочет сказать этим брат. А брат, такой всегда тихий, нерешительный, что называется — боявшийся и тележного скрипу, вдруг осмелел, прозрел и стал замахиваться не по лаптям. Он решил купить тихомировскую мельницу, со всеми ее пахотными землями и лесными угодьями.

— А что же зевать, ежели енерал ее за полцены отдает и деньги не сразу.

От этих слов Герасима Петровича слегка зазнобило. Приобрести тихомировские земли с прудом, с готовым домом, с мельницей, которую не столь сложно пустить, могло стать таким невообразимым счастьем и началом свершения самого сокровенного. И как бы ни кончилась война, земля никогда не упадет в цене. И если на ней нет ни кола ни двора, если в нее не брошено ни ржаного зерна, ни льняного

семечка, то все равно и трава, будь она лебедой или пыреем, дает прибыток, а в пруду всегда рыба и в лесу всегда деревья.

Если бы это было возможно!

Это было возможно. Сны Герасима Петровича переходили в явь.

### III

Зная, что рано или поздно Тихомиров купит под кузницу и слесарные мастерские старый полукаменный краснобаевский дом, Игнатий откупился от многосемейного брата Африкана Тимофеевича, и тот переехал на дальнюю улицу, где дома куда дешевле. Теперь Игнатий мог заломить бесстыдную цену.

Игнатий Краснобаев не ошибся. Всеволод Владимирович Тихомиров не терял все это время надежды купить под учебные мастерские краснобаевский дом. Краснобаев в свою очередь приглядел большой дом с огородом и ягодниками на углу Песчаной улицы и пруда. Из окон хороший вид, под окнами своя моторка, а уж про весельную лодку нечего и говорить. Дом продавали солдаты, ставшие теперь вдовами.

Но война войной, смерти смертями, а живые должны жить.

Жалко Игнатию Краснобаеву братьев Филимоновых, убитых на Карпатах. Жаль ему и молодых овдовевших жен. И как-то стыдно покупать их дом. Но что можно сделать — если не купит он, купит другой... Живые должны жить.

Памятуя эту истину, братья Непреловы пришли к Всеволоду Владимировичу относительно мельницы.

Сидор Петрович хотя и был в сапогах, а не в лаптях, все же он не посмел сесть при «енерале» и, стоя, сбивал цену:

— Восподин енерал, восподин барин, мельница только одно звание, а по сути она дрова, да и те прелые.

С этим согласился Всеволод Владимирович и сбавил еще.

Молчавший покорнейше и почтеннейше Герасим Петрович, так как мельница покупалась не им, а братом, все же нашел возможным напомнить о зашеинском доме:

— Когда моя свояченица Екатерина Матвеевна продавала для гимназии наследственный дом, она не попросила за него настоящей

цены, которую ей давали...

Всеволод Владимирович сбросил еще. И наконец было решено — половину наличными и половину векселями с погашением на три года.

Тихомиров был доволен, что на той же неделе начнется переоборудование дома под мастерские и мастерские в безвестной Мильве, перейдя на страницы книги «Практический политехнизм», которую пишет Всеволод Владимирович, станут примером для множества других мастерских. И это было радостью и целью жизни Всеволода Владимировича.

Когда у нотариуса было завершено все, Сидор Петрович сказал брату:

— Герасим, пожалуй, мне уж негоже из сапогов в лапти переобуваться...

Сидор Петрович, числившийся в «справных», теперь вышел в «богатеющие мужики». И так было всюду. Война разоряла одних и обогащала других. Сидор Петрович сразу же навел порядки на мельнице, начав с того, что ее жернова завертелись через неделю после покупки. И то, что было названо им «прелыми дровами», стало давать братьям Непреловым первые доходы.

У Герасима Петровича не хватило бы денег на покупку Омутихинской мельницы, но ему теперь был открыт широкий кредит. После запрета продажи спиртных напитков спрос и цены на пиво необыкновенно возросли. Пивные склады в Мильве были опечатаны полицией. Складами заведовала теперь Любовь Матвеевна. Ее заведование заключалось в поддержании порядка и охране печатей. По приезде в Мильву на побывку Герасима Петровича пристав Вишневецкий посоветовал проверить, не прокисло ли пиво, а затем сказал прямее:

— Зачем погибать тому, что может жить, веселить и приносить радости...

Ростислав Робертович не предлагал красть пиво. На это не пошел бы честнейший Герасим Петрович. Нужно было взять из склада несколько бочек, развезти их по надежнейшим и уважаемейшим адресам, затем опечатать снова склад и, в случае надобности, повторить эту простейшую операцию.

Герасим Петрович добросовестнейше перевел за пиво главе фирмы Болдыреву все до копейки с надбавкой на общий рост цен и падение рубля. Тщательнейше были подсчитаны проценты с оборота приставу, а остатки, составлявшие семь-восемь рублей из каждых десяти, пошли на покупку тихомировской мельницы.

Невольный свидетель происходящего, Маврик молча носит в себе стыд за отчима и за Сидора Петровича. В спешной покупке и торопливом обживании тихомировской мельницы было что-то неприличное. И особенно неприглядна была суетливость захватывания дядей Сидором не купленных им вещей, не принадлежащего ему имущества, вроде брошенных Всеволодом Владимировичем хомутов, дуг, кадочек, старой мебели, чугунов, ржавого шомпольного ружья, бельевой корзины, рваной сети, охотничьих лыж, стожка прошлогоднего сена, куля с овсом, шарабана со сломанными рессорами, линялого байкового одеяла и прочего из разряда негодных вещей. Все они рассматривались, оценивались и прятались. «Вдруг да енерал спохватится и спросит: а где мои старинные енеральские сапоги?..» И это так походило на мышиную возню, на бессмысленное растаскивание по норам и того, что никому не могло пригодиться.

Старый осел Бяшка тоже пошел в придачу вместе с даровым имуществом. Сидор Петрович долго думал, как поступить с ослом. Держать просто так, как он жил у Тихомировых, было невозможно. Это противоречило всему строю мыслей Сидора Петровича. Все должно давать прибыль. И он продал осла мулле на мясо.

Прощай, Бяша! До тебя ли теперь...

Отчим Маврикия беспокоился о скорейшем пуске мельницы, чтобы она давала гарнцы зерна за помол. Его волновал и луг, который никогда не косили Тихомировы, оставляя траву для любования ею, для сохранения полевых цветов и полевой клубники. Какие могут быть тут цветы, когда луг должен дать два добрых стога сена. И если продать это сено поближе к весне, то можно взять за него и вдвое.

Мельница и луг — это еще что... Герасима Петровича беспокоили дикие утки, гнездившиеся в камышах тихомировского пруда. Он внушал непонятливому пасынку:

— И утята теперь тоже наши. Они хотя и дикие, а вывелись на моем... на нашем, — поправился он, — пруду. И так жаль, что из-за



распроклятой войны осенью я их не сумею подстрелить и они улетят... А то и хуже. Забредет сюда кто-то чужой и перестреляет наших уток...

Маврик молчит и думает, что на свете нет силы, которая может расколдовать людей, которые стали мышами.

В этом возрасте Маврик предпочитал делиться своими мыслями с товарищами. Но не все можно было сказать и самым близким друзьям. И только тетя Катя, единственная тетя Катя может понять его. Он снова стал часто бывать у тетки в Замильевье. Она просила не обращать внимания на странности отчима и обещала поехать с ним в Верхотурье.

Это неизвестное Верхотурье, куда они поедут неизвестно зачем — не то на богомолье в монастырь, не то полюбоваться красотами старого города и Урала, — занимало воображение Маврика.

В самом деле, скорей бы уж уехать в это Верхотурье, за Уральский хребет, в Азию, чтобы не видеть, что делается здесь, и не осуждать...

#### IV

Возвращавшегося в армию мужа Анна Семеновна провожала до камской пристани. Ей не хотелось терять и минуты из тех часов, которые они могли провести вместе.

День был таким благодатным, так все улыбалось кругом, что хотелось верить, будто пришел конец войне.

— Гриша, мне кажется, что теперь осталось не так долго, — сказала Анна Семеновна мужу, когда они очутились в прибрежном сосняке выше пристаней. — Наверно, война не протянется и до зимы.

— Война может кончиться и сегодня, — ответил Киришбаум, по привычке осмотревшись вокруг. — Война закончится тотчас, как солдат поймет, что является причиной войны. Понять это так просто и так нелегко...

Григорий Савельевич снова опянулся, взял под руку жену и, уходя дальше по берегу, принялся повторять давно известное о том, что объяснить простейшее бывает подчас труднее, нежели раскрыть очень сложное.

— К примеру, возьми ты, Анни, того же Герасима Петровича Непрелова. Он понимает, что беспроводный телеграф породит беспроводный телефон. Он допускает, что аэропланы впоследствии могут перевозить пассажиров из города в город. Он также не исключает, что машина будет пахать вместо лошади. Но этот же Непрелов категорически отрицает возможность поголовной грамотности. И особенно в деревне. И особенно среди женщин. Потому что грамота им практически не нужна. И это говорит человек, живший в больших городах и входивший в круги образованных людей.

Анна Семеновна, слушая мужа, думает о том, что в их жизни почти не было времени, которое бы принадлежало только им. Ей даже кажется, что они никогда не были вдвоем. В минуты упадка духовных сил Анна Семеновна завидует презренной жизни обывателей. Будь она кассиршей или конторщицей... Или наборщицей у Халдеева. Или такой, как Любовь Матвеевна Непрелова, которой не нужно бояться тюрьмы, обыска, наконец, просто стука. Которой можно не беспокоиться за детей. А ей?

— Гриша, — перебивает Анна Семеновна, указывая на дым за третьим или четвертым поворотом реки, — это, наверно, твой пароход. И, может быть, мы теперь поговорим о наших личных, семейных делах.

Григорий Савельевич остановился, недоуменно пожал плечами, потом сказал совсем просто, не подыскивая слов:

— А я только об этом и говорил. Конец войны, крах монархии стали нашими главными семейными и личными делами.

Сначала в этих словах ей послышался некий налет фразерской бравурности, а потом, проверив еще раз смысл сказанного, она безоговорочно приняла его.

Пароход, дымивший далеко, был уже за первым поворотом. Киршбаумы поспешили на пристань. Там Ильюша и Маврик, не теряя времени, ловили рыбу. Фаня углубилась в чтение. Екатерина Матвеевна, отправляясь с племянником в Верхотурье, предпочла задержаться на несколько дней, чтобы ехать вместе с Григорием Савельевичем.

Предстояло снова расставание. Надолго ли? Кто и что может ответить на это? Но кажется, ждать осталось меньше, чем ждали. Какое-то необъяснимое предчувствие обещает катастрофу...

— Будем надеяться, Анни, на лучшее, — говорит, прощаясь с женой, Григорий Савельевич.

— Больше ничего не остается, — шепчет она.

— Будьте умными, — наказывает Григорий Савельевич детям.

Любящий отец, надеющийся только на лучшее, не знает, какие испытания предстоят его семье...

Разлучник-пароход снова разделяет любящие сердца. Анна Семеновна старается скрыть слезы. Екатерине Матвеевне так жаль ее, но помочь нельзя ничем. Над всем властвует война, которая становится ненавистной и ей, далекой от политики женщине. Кажется, и она, Екатерина Зашеина, боясь своих мыслей, начинает понимать, что царь принес и приносит много зла своему народу. А если это так... значит, он прав. Он — это Иван Макарович Бархатов.

## V

Пермь — узел речных и железнодорожных путей. Здесь перевал грузов, прибывших из горнозаводского Урала, Сибири, Монголии, Кореи, Китая. Здесь перегруз товаров, прибывших с Волги, Нижней и Верхней Камы, отправляемых в Азию.

Прежде Маврику казалось, что Азия где-то там, далеко, а она, оказывается, совсем рядом. Несколько часов езды на поезде, и ты в Азии. Пермская губерния — европейско-азиатская. Об этом он знает из учебника географии. Но учебник — одно. Это карта. А увидеть своими глазами, ступить на землю Азии своими ногами — это совсем другое.

По приезде в Пермь Екатерина Матвеевна хотела побывать с племянником в памятных местах. Но поезд отходит через два часа, а следующий пойдет только завтра. Посоветовавшись, они решили побывать в городе на обратном пути.

Билеты куплены. На станции Гороблагодатская у них будет пересадка на Верхотурье. А теперь остается более часа, и можно сходить хотя бы в Козий загон, купить по старой памяти маленький пятикопеечный фунтик жареного миндаля, вафлю трубочкой, хотя это теперь и не так интересно. Куда интереснее, где давным-давно и совсем недавно два маленьких мальчика Ильяша и Маврик — играли

в козла и загонщика. Жива ли та скамейка, где сидела и любовалась ими тетя Катя?

Знакомые и родные места во все годы жизни зовут к себе человека. Какая-то мелочь, деталь, скамья, калитка, камень или что-то самое неожиданное вдруг возвращает в прошлое, и оно, переживаясь, воскресает хотя бы на минуту.

Подымаясь в гору от вокзала Пермь-1, Маврикий Толлин на исходе своих тринадцати лет шел довольно солидно под руку со своей теткой, разглядывая встречаемых, среди которых так много попадалось прапорщиков. Этот первый офицерский чин военного времени давался всякому, кто был способен окончить краткосрочную школу прапорщиков, и теперь их, щеголявших золотыми погонами с одной звездочкой, встречалось чуть ли не более, чем безруких, безногих калек в солдатских шинелях.

По булыжной мостовой громыхали ломовые телеги, проносились извозчичьи лошади, развозя все тех же прапорщиков, катили за собой и перед собой легкие двуколки доставщики мелкой клади, гарцевали конные полицейские, тащились с поклажей на спине прирабатывающие пристанские грузчики... И в этом пестром, разномастном потоке, стекавшем с горы и медленно втекавшем в гору набережной, Маврик увидел маленького серенького конька, запряженного в синюю тележку, нагруженную бочонками. Сердце Маврика сжалось. Крохотная лошадка так походила на того самого пони Арлекина, снившегося так часто, запомнившегося до каждого пятнышка, и особенно памятными были одна над другой две звездочки на его лбу. Маврик хотел и боялся поверить встрече с Арлекином. Не помня себя, он бросился наперерез мостовой, лавируя между ломовиками и телегами.

— Куда ты? Что с тобой? — послышался позади него теткин голос.

А он уже у конька. На его лбу те же самые звездочки. Тот же цвет грустных глаз и те же длинные белые ресницы.

— Арлекин! Неужели это ты, Арлекин? Как ты исхудал! Какие печальные у тебя глаза.

Удивляя прохожих, возниц и старика в белом фартуке, который шел рядом с синей тележкой и в руках которого были вожжи, опрятный гимназист в белой фуражке и в белой рубашке обнимает

посреди мостовой маленькую лошадку, а лошадка, будто узнав его, тоненько, радостно ржет, помахивает хвостом и обмазывает слюной хорошую чистую рубашку с форменными пуговицами.

— Что случилось, Мавруша? — спрашивает Екатерина Матвеевна, с трудом перейдя дорогу.

Маврик мог сказать всего лишь:

— Это Арлекин... На нем я катался в детстве... Почему же ты такой несчастный, заброшенный конь? — спросил он коня, задавая тем самым этот вопрос старику в белом фартуке.

— Так ведь уж старый он, господин молодой человек, — тихо ответил старик. — Когда я купил его, ему уже было порядочно годков.

Хотелось выяснить все, узнать больше, и старика попросили съехать с проезжей части ближе к тротуару.

— Пожалуйста, пожалуйста, — попросила Екатерина Матвеевна старика, расскажите все о вашей лошадке.

Рассказ был недолог. В год отъезда Маврика из Перми старик, продающий вразвоз пареные груши, устал катать свою тележку и купил Арлекина, которого он теперь называет «Сермяжкой» и развозит по улицам Перми садовые парены дули, груши и грушевый квас.

— И ежели угодно испробовать, милости прошу, для знакомства.

Старик нацедил из бочонка, заткнутого деревянной затычкой, в кружечку грушевого кваса. Маврик выпил и поблагодарил. А серенький Арлекин, ставший теперь Сермяжкой, стоял понуря голову, не замечая, как с его отвисшей нижней губы стекала тоненькая струечка слюны.

Разговаривать со стариком далее было трудно. Маврик подал ему рубль и попросил купить Арлекину сахару.

— Он очень тогда любил сахар...

— Так кто не любит его, — сказал старик, пряча рубль за пазуху в холщовый кисет, висевший на том же засаленном гайтане, что и медный старообрядческий нательный крест.

— Но-но! — дернув вожжами, понукнул Арлекина старик.

Конь понуро тронулся.

Маврик отвернулся. Ему было тягостно смотреть на уходившего маленького конька, который вызывал множество сравнений, и каждое из них оказывалось печальным.

На вокзале все покупают в дорогу газеты и журналы. Маврикий купил для солидности «Ниву», «Синий журнал» и «Биржевые ведомости».

Рассматривая в вагоне «Ниву», Маврик увидел вложенный между страницами розовый листок. Заголовок листка довольно крупными буквами спрашивал: «НУЖНА ЛИ РАБОЧИМ ВОЙНА?» — а ниже помельче отвечалось: «Нет, эта война не нужна ни рабочим, ни солдатам, ни крестьянам и никому из тех, кто живет своим честным трудом, не наживаясь за счет труда других людей...»

В это время вошел кондуктор. Маврик перевернул лист журнала и закрыл им листовку. А то, что эта была листовка, Маврик не сомневался. Листовок он хотя и никогда не видел, но знал их по описаниям.

Оттиск на этой листовке походил на штемпельный, и Маврик невольно вспомнил Ильюшу и штемпельную мастерскую Киршбаума. Он вспомнил об этом не потому, что знал или догадывался о происхождении этой листовки. Всякий штемпель напоминал ему Ильюшу.

Как был бы удивлен Маврик, узнав, кем сделан большой штемпель, оттиснутый на этом рыхлом, легко впитывающем краску розовом листке. Да и не менее удивился бы Ильюша, узнав, что это дело рук Артемия Гавриловича Кулемина и Мартыныча — Дизеля. Он еще до покупки Непреловыми мельницы ушел в сторожа Завозненской церкви. Живет при ней в сводчатой, глухой, с одним окном комнатке. В длинные ночи, запирая кованые двери храма, Мартыныч продолжил, хотя и в меньших размерах, свою работу по вулканизации подпольных каучуковых штемпелей-стереотипов. В церковь, стоящую при большой дороге, приходили всякие и разные молящиеся. И те, кто приносили матрицы формы для стереотипов, и те, кто уносили готовые стереотипы.

Наведывался сюда и мастер оружейного цеха Артемий Кулемин. Было бы странно, если бы рыбак забыл рыбака, своего давнего друга Мартыныча.

Об этом Маврикий узнает значительно позднее. А теперь он хотел как можно скорее прочитать розовую листовку. В листовке очень ясно говорилось, почему эта война нужна богачам, в скобках называвшимся незнакомым словом «буржуазия», и какие прибыли она им приносит. Некто, подписавший ее инициалами, подписал не двумя, как обычно, буквами и не тремя, как тоже иногда подписывают, а пятью — РСДРП, призывал разъяснить всем труженикам, что такое война и почему она ненавистна народу.

Маврик хотел сохранить листовку, но, вспомнив, что за это арестовали токаря Шамшурина из механического цеха, модельщика Пермякова, решил избавиться от нее. Это было просто. Но Маврику было жаль расставаться с листком, в котором говорилось то, что никто не смел сказать, и он снова решил перечитать напечатанное, а затем бросить в окно, чтобы она была прочитана еще кем-то. Листовку подхватил и умчал ветер, а он принялся смотреть в окно. Чем дальше от Перми, тем интереснее и красивее становилась дорога.

Старая горнозаводская дорога, полудугой соединяющая Пермь с Екатеринбургом, может быть без преувеличения названа стальной нитью богатейшего ожерелья, нанизавшей на себя многие десятки больших и малых заводов. Начиная с прославленного Мотовилихинского завода, Чусовского, Лысьвенского, затем Бисертского, Кушвинского, Баранчинских заводов и далее, где дорога круто поворачивает к югу, заводы встречаются чаще, дымы гуще. Лайские, Тагильские, Невьянский, и нет им числа до самого Екатеринбурга. И все они, стоящие близ горнозаводской железной дороги, плавят железные и медные руды, варят сталь, прокатывают железо, производят тысячи различнейших металлических изделий от болта до машин, от проволоки до мостов и котлов, составляющих гордость края.

И в каждом из заводов, что бы он ни производил — прокатывал рельсы или клепал фермы мостов, отливал колеса или отковывал валы, — Маврикий видит свою Мильву. Что из того, что у одних вместо железных кирпичные трубы или у цехов иные крыши, — в каждом из них найдешь Мильву. И Маврику кажется, что они, все эти заводы, отдали Мильве кто фасон труб, кто голос свистка, кто фасад цеха, кто рисунок ограды — и из всего этого составилась Мильвенский завод, похожий сам на себя и на все заводы Урала.

Хорошо думается, когда идет поезд и открывается все новое и новое за окном. Недалеко уже до станции Европейская. За станцией Европейская стоит столб, и на столбе написано с одной стороны «Европа», а с другой — «Азия». Горы уже круче. Поезд идет медленнее. Паровоз часто, шумно дышит, выбрасывая из трубы дым и пар.

Скорей бы уж. Самое трудное в жизни — ждать. А ждать приходится все и всегда. Прихода поезда, парохода, звонка на перемену. Рыбу, когда она изволит пролотить крючок. Войну, когда она кончится.

Поезд останавливается. За окном станция Европейская. Поезд стоит здесь недолго. На этом краю Европы, так же как и в Мильве, пахнет полем и лесом. Растет иван-чай и, конечно, кислица. Не прозевать бы столб. Не прозевать бы границу двух частей света. Приходится то и дело высовываться в окно и смотреть вперед, чтобы увидеть столб. И вот, кажется, он. Да, это он. И уже различима надпись — «Азия».

Поезд оказывается таким предупредительным, таким вежливым, замедляя ход до самого тихого. И вот паровоз уже идет по Азии, а вагон, в котором стоят у окна Маврик и его тетка, все еще находится на Европе.

— Ну почему же ты так волнуешься. Мавруша, ведь там же за столбом все равно та же наша русская земля...

— Нет, нет, — заикается Маврик, — там Азия...

Маврик не замечает, что за ним наблюдают, им любуются два добрых глаза незнакомого пассажира в сером пыльнике, с русой бородой. Этот человек сел на станции Пашия. Но Маврику не до пассажиров. Ему нужно найти хоть какое-то отличие азиатской земли от европейской, чтобы на уроке географии, по которой у него почти всегда пятерки и которую преподает удивительная Тамара Афанасьевна, рассказать, как он путешествовал в Азию.

И так обидно, что в Азии те же ели и сосны, та же трава, такие же увалы и горы и такой же иван-чай.

И зачем только и кому понадобилось ставить этот столб и разделять единую землю на Европу и Азию?



Поезд прибыл на станцию Гороблагодатская. Здесь сошло немало пассажиров. Потому что многим предстоит пересадка на ветку, которая идет через Верхотурье в Надежинский завод, название которого написано почти на всех рельсах уральских железных дорог.

Сошел с поезда и пассажир с бородой, в светлом пыльнике. Он прошел в буфет. Екатерина Матвеевна тоже предложила подкрепиться. Багаж сдали в камеру хранения. До поезда в Верхотурье часа четыре, нужно куда-то убить время. Не сходить ли после обеда на знаменитую гору Благодать? На ее вершине памятник человеку, который открыл эту гору и которого за это сожгли его сородичи-язычники, потому что гора была священной. Она притягивала все железное. И на ней молились идолопоклонники. И это не сказка, а историческая быль, рассказанная той же Тамарой Афанасьевной. И ей будет приятно, если ее ученик Толлин пополнит коллекцию минералов. А здесь их должно быть много.

Сказав тетке о своих намерениях, Маврикий отправился к горе. К ней ведет ветка дороги. С первых же шагов на насыпи дороги попадаются редкие камни. Из них состоит то, что железнодорожники называют балластом материалом для подсыпки верхней части насыпей. Гранит нельзя спутать с известняком, а уж с малахитом-то или яшмой — тем более. Маврик знал по той коллекции, какая есть в гимназии, до двадцати различных пород камней. А тут попадаются и неизвестные. Он их берет и кладет в узелок, завязанный из носового платка. Трудно поверить, но тут попадаются и обломки горного хрусталя. И никто не запрещает брать это. А в Мильве каждый такой камешек с радостью возьмут в коллекции товарищи. Среди них тоже есть мышата. Им мало общей школьной коллекции — они хотят свои.

Разговаривая с самим собой, он и не заметил, что идущий за ним бородатый пассажир в пыльнике тоже собирает камешки.

— Вот это находка, — услышал Маврик позади себя приятный голос. Кварц с крупными золотыми вкраплениями. Полюбуйтесь, молодой человек.

— Вот бы мне найти такой, — сказал со всей непосредственностью Маврик.

— Зачем же находить, коли я уже нашел! — Сказав так, незнакомец преподнес камень.

— Нет, я не могу взять у вас. В нем же золотые крупинки.

— Да полно, полно. Их тут на два гроша с полушкой. Берите.

Прежде чем взять, Маврик сказал:

— Вы знаете, я ведь не для себя собираю камни, а для мильвенской гимназии. Для коллекции Тамары Афанасьевны.

— Тем более нужно взять. Особенно мне приятно, что моя находка и это все пойдет для такой хорошей гимназии.

— А откуда вы знаете о ней?

— Из газет. Я много читаю. Эту гимназию, кажется, создал некто Тихомиров?

— Не некто, — поправил Маврик, — а очень передовой и благородный человек, хотя и... Но директором сделали другого.

— Наверно, еще более хорошего и еще более передового человека?

— Нет... директором назначили Аппендикса. Что в переводе с латинского означает — слепая кишка. Он протоиерей.

— Значит, неважный человек, коли его прозвали Слепой кишкой, хоть и протоиерей.

— Ерундовый, — подтвердил Маврик. — Может быть, я этим оскорбляю ваши религиозные чувства? — вдруг спохватился Маврик. — Может быть, вы едете на богомолье в Верхотурье?

— Да нет, — с легкой усмешечкой ответил незнакомый. — Я отмолился лет в четырнадцать... А вы?

— А я? — задумался Маврик. — Я, кажется, еще нет... А почему вы любопытничаете?.. Об этом же нельзя разговаривать с первым встреч... ну, в общем с незнакомым человеком. За безбожие могут исключить... Или еще хуже. Причислить к политическим.

— Да-а... это ужасно.

— Хотя... хотя я не из трусливых. Я уже всякое повидал на своем веку.

Маврик вдруг сделался солидным. На лице его изобразилась таинственность. Ему даже почему-то захотелось сказать: «Какая жалость, забыл в шинели папиросы». Но это было бы уже чересчур. И он ограничился тем, что почти шепотом сообщил незнакомцу:

— Вы не думайте, в Мильве тоже случаются разные происшествия, ничуть не менее страшные, чем на этой горе. Хотите со мной на эту гору, и я расскажу про нее одну страшную историю.

— С превеликим удовольствием... — согласился человек с приятным лицом. — Я безумно люблю всякие истории.

Они не торопясь подымались на гору Благодать по деревянной лестнице, которая зигзагами вела от площадки к площадке.

Когда же они поднялись к чугунному памятнику, который представлял из себя чугунную вазу с пылающим в ней тоже чугунным огнем, то Маврик сказал:

— Этот памятник хотя и попроще нашего горбатого медведя с короной на спине, но лучше...

— Чем?

— Тем, что этот памятник прославляет что-то хорошее и возвышает, а не придавливает и не устрашает... В нем хотя и не настоящее пламя, но оно все равно как бы горит и не затухает...

— Ты прав, бараша-кудряша, горит и не затухает...

Маврик вздрогнул:

— Как вы назвали меня сейчас?.. Как вы назвали, повторите...

— Как всегда, — тихо ответил Иван Макарович Бархатов, Бараша-кудряша.

## VIII

Как много нужно было Маврикию сказать Ивану Макаровичу и еще больше услышать от него. Только Иван Макарович мог прямо ответить на те вопросы, которые все остальные обходили молчанием или ограничивались туманными полуответами.

За час-полтора, проведенные на горе, Маврикию открылось куда больше, чем за все эти годы недомолвок, намеков и догадок. Бархатов понимал, что сейчас он сеет зерна в хорошую почву. И пусть не все из этих зерен дадут скорые всходы, но не пропадут в его душе, не засоренной никакими мельницами, салотопнями, ни особым его положением гимназиста по сравнению с другими юнцами, выросшими в рабочих семьях, где нужда, нехватки, недоедания оказывались хорошими учителями суровой школы жизни.

Маврик, ничего не утаивая, ничего не боясь, говорил с Иваном Макаровичем еще более откровенно, чем с Ильей, Санчиком и, уж конечно, с такими, как Коля Сперанский, как Митя Байкалов.

Правда, и Артемий Гаврилович Кулемин говорил, что жизнь будет не всегда такой, а какой именно — умалчивал.

И столяр школьной мастерской Ян-чех на примере доски показывал, что люди делятся по слоям, а не по тому, как их хотят расчертить и распилить. И наконец, Емельян Кузьмич Матушкин, учивший ребят в ближнем лесу ставить петли на зайцев, обещал какую-то большую «весну-красну». Не ту, что приходит каждый год... А какую, он тоже не договаривал. А теперь Иваном Макаровичем все недосказанное было собрано воедино и разъяснено. Будто он взял и дорисовал недорисованное, в котором было много непонятого, которое нужно было соединить какими-то линиями, чтобы все остальное ожило разумной и понятной картиной.

Было ясно, кто и почему начал войну и во что она превратится. Стало бесспорным, что судьбы создают сами себе люди, как и своих богов. Стало понятно, почему богаты одни и бедны другие. Выяснилось, наконец, почему несправедлив и жесток царь и почему он не может быть иным, даже если бы и хотел. Было сказано, почему друзей называют врагами, и наоборот — почему поработителей, хищников, кровопийц, узаконенных грабителей стараются показать хорошими, добрыми и чуть ли не посланными самим богом.

Как много оставит Маврикий здесь, на вершине горы! Еще больше отшелушится потом, когда он, раздумывая, примется настойчиво открывать крепко запертое царем, церковью, богатеями. Связку волшебных ключей подарил Бархатов своему любимцу. Теперь скоро. Теперь очень скоро жестокая война обернется против тех, кто хотел нажиться на ней.

С горы открывается вид на котлован рудника. Работает множество рудокопов и возчиков. Они в синих, красных, желтых, белых рубахах. Лошади вороные, карие, пегие, гнедые, рыжие, сивые, запряженные в тележки, спускаются и поднимаются по уступам котлована, доставляя добытую железную руду. Бархатов, указывая на эту кишашую пестроту, говорит медленно, терпеливо, убежденно:

— И всё руки да лошадь. Ни одной машины. Дело не только в том, что народ возьмет это себе... Народ должен переустроить все от основания. Создать машины, которые добывают руду, которые дробят ее, сортируют и отвозят на, доменные печи. Должно быть много машин. Всяких машин. Машины будут пахать и копать. Рубить и

ковать. Строгать и пилить. Машины должны будут делать все, что делают сейчас руки. Строить, изобретать, конструировать машины — будет всенародным делом. И будет очень хорошо, если ты, — сказал совсем ласково Иван Макарович, — придумаешь хоть одну из них.

Потом он посмотрел на часы. Потом кивнул на Кушву.

Кушва — большой заводской поселок Гороблагодатского рудника и металлургического завода. Деревянные дома и серые тесовые крыши.

— Тоже как в Мильве, — сказал Бархатов, — живут своими дворами. И в каждом дворе свои заботы и свои задачи. Ничего, ничего. Ни один двор не уйдет от решения общей задачи. И ты это скоро тоже поймешь, Кудрикий. А теперь тебе время на станцию. — Он протянул руку. — Ты, пожалуй, не сообщай, что встретил меня. Екатерине Матвеевне лучше, я думаю, меньше знать. И для меня спокойнее. Ну, а на тебя-то я, товарищ Толлин, надеюсь, как на себя. Если, как ты говоришь, в те годы умел язык за зубами держать и никому не сказал, что узнал меня на Омутихинском пруду, то теперь-то уж и колом слова из тебя не вышибешь. Так, что ли?

— Так, Иван Макарович. Только вы все равно обнимите меня, как прежде... И я обниму вас на прощание...

И они обнялись там же, у чаши — памятника Степану Чумпину. У чаши, в которой горел хотя и чугунный, но огонь.

— Мне туда, — указал Иван Макарович на синюющую за рудником гору. — Адреса постоянного пока еще нет. Так что писать мне, Маврикий свет Андреевич, некуда. А твой адрес я знаю. Пока...

Бархатов направился по склону горы. Маврикий стал спускаться по лестнице. Вскоре Бархатов скрылся в кустах. Как жаль, что встреча была короткой, но нужно быть благодарным и за это. Они могли и не встретиться.

Не спешит торопливый Маврикий, шагая по шпалам ветки на станцию. Боится растерять услышанное...

## IX

Где-то в этих местах начинаются красоты Северного Урала. Было на что посмотреть Маврику. В Мильве отроги, увалы, а здесь

встречаются большие скальные образования. Лес тут строже, выше и деревья крепче стоят на своих разлапистых ногах. Очень много кедров и много белок. Их можно увидеть из окна вагона.

Верхотурье предстало не таким, как представлялось. Это очень маленький деревянный городок. Куда ни посмотри, виден конец улицы. Главное здесь — монастырь. В монастыре всё из камня. Храмы, службы, дома для приезжих, ворота и стены.

— При монастыре половина города живет, монастырем и кормится, — рассказывал Екатерине Матвеевне Петр Тихонович Мальвин.

Петр Тихонович тоже кормится монастырем. Возит богомольцев с вокзала в монастырь. Некоторые по рекомендации останавливаются у него. Маврик с теткой приехали по рекомендации, поэтому Мальвин и подал им лошадь, а тетя Катя до этого посылала ему телеграмму. Мальвин, как и Яков Евсеевич Кумынин, прирабатывает конем. Извозом. А вообще-то он мастер — гнет сани, делает коромысла, обода для тележных колес.

Дом у Петра Тихоновича — комната и кухня. Можно сказать — изба, но, конечно, с городской начинкой. Кровать с никелированными шишками. На окнах тюль. За тюлем герань и столетники. Посреди горницы комод с зеркалом. На комодe свинка-копилка, соломенная шкатулочка и каслинского литья конь.

Хозяйка была рада гостям.

— Одни мы живем, — сказала она. — Был сын, да угнали на позиции. Теперь-то его, слава богу, ранили. Живым приедет наш Сереженька, хоть и без ноги... Без ноги не без головы, — рассудительно добавила она.

Судя по всему, Петра Тихоновича нельзя было отнести к людям верующим. К монастырю и к монахам относился он явно плохо. О Симеоне Праведном, на поклонение мощам которого в Верхотурье съезжается множество богомольцев, Петр Тихонович говорил так:

— У нас на Урале два святых — Стефан Великопермский и Симеон Праведный. Стефан из высокого роду-племени, в больших церковных чинах, а наш Симеон из простых. Стефан в церкви знаменит, а этого нашего и в народе знают. За своего считают. Он вроде как бы портным был. По домам ходил шил. А денег не брал. Шьет, шьет — нашьет ворох всякого-разного, какую-то малость не

доделает, и нет его. Исчезал. Святой очень любил рыбку ловить. Поэтому на иконе его рисуют на берегу речки с ведерком и удилищем... Ну, а потом... потом нетленные мощи обнаружались, — сообщает Петр Тихонович. Насколько они тленны, насколько нетленны — сказать не могу. Не видел. А те, кто поближе это всё знают, по-разному говорят.

Екатерина Матвеевна отворачивается к окну. Ей не хочется слушать о мощах. Маврик замечает это. Она не верит в святость мощей. Это ясно. Но зачем же она ехала сюда, зачем она идет на моления в монастырь? Неужели для того, чтобы ближе увидеть, лучше понять и разувериться во всем этом? Невероятно! Не может быть.

Нет, это так и есть.

— У монастыря какой-то торговый, ярмарочный дух, — делилась она своими впечатлениями за обедом. — Торгуют всем и берут за все. Церковные службы неприлично торопливы... Монахи слишком толсты. Видимо, они очень мало постятся.

К наблюдениям Екатерины Матвеевны Петр Тихонович добавлял свое:

— Наш монастырь — это фирма. Притом жадная и безжалостная торговая фирма. Возьмите вы, к примеру, Екатерина Матвеевна, целительное масло из лампы Симеона Праведного. Сколько продается этого масла? Многие тысячи флаконов. Бочками привозят его. Работает целый маслоразливочный цех. При чем тут лампада?

И перед глазами Екатерины Матвеевны предстали вчера виденные полки, уставленные флаконами с целительным маслом. Невольно ей вспомнились флаконы с зингеровским швейным маслом. На тех и на других этикетки. На одной рекламируется русская красавица, шьющая на машине «Зингер». На другой — Симеон Праведный. Он, молитвенно сложив руки на груди, стоит на берегу реки, подле него ведерко и удилище. В данном случае это не икона, а именно этикетка на флаконе с целительным маслом, которое до разлива называлось обычным деревянным маслом. Теперь оно возросло раз в десять — пятнадцать в цене, оказавшись в фирменной монастырской посуде.

Екатерина Матвеевна не боится впасть в ересь, называя подлость подлостью. А это подлость, как и торговля землей, и опять же целительной, из могилы Симеона Праведного. По логике, за многие

годы богомольцы превратили бы эту могилу в огромный котлован, если бы каждый из них уносил только по горсточке земли. Некоторые норовят захватить по пять и по десять горстей. У каждого из них дома родня, соседи. Говорят, земелька помогает от золотухи, от ревматизма и опухолей. И торгующим землей из могилы ничего не остается, как ночью, когда богомольцы засыпают, доставлять землю в телегах-грабарках.

— Привозят хороший желтенький песочек, — рассказывает Петр Тихонович. — Примерно пятак за горсть. Теперь, в войну, само собой надбавка. Вот и посчитайте, какие рубли берутся за воз самого обыкновенного песка.

Не оставляется в покое и промышленное производство икон. Сюжет тот же. Старик. Удилище. Ведерко. Берег реки. Но сколько бы иконописцев понадобилось, чтобы снабдить иконой каждого богомольца! Где их взять? Поэтому в Верхотурье возник едва ли не первый в мире конвейер производства икон. Столярный цех заготавливает дощечки и грунтует их. Дощечки поступают в мастерскую, которую тоже лучше назвать цехом или хотя бы производственной линией. Один через трафарет наносит абрис иконы. Другой наносит механически заученные первые штрихи. Затем появляются также затвержденные облака, блики на реке, на ведерке. Далее окрашивается одежда Симеона Праведного и все, что подлежит окраске данным цветом. И так, переходя из рук в руки, дощечка становится иконой, поступающей к мастерам-отдельщикам, дополняющим недостающее, пропущенное теми, кто, не имея никакого отношения к живописи, научен делать три мазка, два штришка с тем, чтобы передать поделку дальше своему соседу.

Это все между строк. В строках оказалось другое...

## X

Прежде Маврик ничего не скрывал от своей тетки, а теперь оказалось, что не все можно спрашивать у нее и не все рассказывать ей. Ну как, например, расскажешь ей про то, что он слышал от своего нового знакомого на берегу Туры?



Быстрая холодная Тура текла в каменистых берегах. Дно ее было тоже каменным. На купание нечего и рассчитывать. Однажды на одном из прибрежных камней Маврик встретил удильщика, которого почему-то сразу же назвал для себя «монашенком». Он был в каком-то маленьком подрясничке и в скуфейке. Ему, видимо, очень хотелось познакомиться с Мавриком, и он первым начал разговор:

— А я в монахи не пойду. Я как подрасту, в живописцы уйду. У меня страсть как ловко краски играют. А ты из мира?..

— Из мира, — ответил Маврик.

— Мамынька у меня тоже мирская была. А тятка, говорят, из чернецов. Хочешь, удь! На! А я потом наужусь.

«Монашенок» подал Маврику немудрое удилишко, насадил червя, посоветовал не давать ершам «загланывать» крючок до хвоста. И Маврик принялся таскать ершей, а разговорчивый «монашенок» — рассказывать о себе. Видимо, ему было нужно поделиться с кем-то.

Как оказалось, мальчик был одинок и жил в «куфне» при иконописне. Его взяли туда учеником, как сироту. «Мирские» ребята с ним не водятся и «прозывают» его «скуфейкиной милостью» и «Адамкой Матреновичем». И это ему очень обидно. А в монастыре ребят нет, потому что все чернецы холостые начисто.

— И ежели есть у которых зазнобы, то тайные, — сообщил по секрету «монашенок», — и ребят они топят в Туре или душат подушками, а потом закапывают в лесу. А у меня мамынька хорошая была. Не утопила, сама утопилась...

Как обо всем этом расскажешь тетке? Для чего? Зачем? Чтобы огорчить ее и признаться ей, что вот уже три дня, как он перестал верить в бога?

«Монашенок», не думая, не желая, очищал душу Маврика от последних сомнений и от последних страхов быть наказанным за безбожие.

Однако же от бога нельзя было отойти втихомолку, как от кладбищенского отца Михаила. Не стал кланяться — и все. Нужны были какие-то действия, поступки или хотя бы заявление о своем отрицании бога. Но нелепо же заявлять об отрицании тому, в существование которого ты не веришь. Это значит утверждать отрицаемое, признавать его существующим, объявляя ему о его несуществовании.

Как все не просто. Но все равно нужно смело и прямо заявить не кому-то, а самому себе, что все кончено. И Маврикий отправился в главный храм. Он пустовал в часы трапезы. Тихо, пусто и прохладно под сводами. Только послушник обирает с подсвечников огарки.

Кому и что нужно сказать? Всем! Всем этим ликам святых, составивших иконостас. Маврик направился к амвону и, не дойдя несколько шагов до его ступеней, объявил почти вслух:

— Я не верю в вас, потому что вы только иконы, и больше ничего...

Оставаться далее в храме было незачем. Сказано все. Да и как-то мрачнее стало вокруг. Может быть, послушник, обирая огарки, погасил последние? А может быть, нахмурились святые?

— Нет, нет! Хватит тебе напридумывать, трус, — сказал, тоже почти вслух, сам себе Маврик и пошел, топая гулко по плитам пола, к выходу.

Уходя, он все же немного, совсем немного, буквально чуть-чуть, побаивался, не бросит ли кто ему вдогонку камнем. Нет. Обошлось благополучно.

Выйдя к Туре через монастырские ворота, Маврик стыдил себя. Если он мог подумать о камне, брошенном ему в спину богом, значит, он еще не окончательно расстался с ним.

Думая об этом, он не заметил, как оказался за городом, там, где Тура делает излучину и где скальные образования берега причудливо красивы. В этой излучине за скальными образованиями Маврик увидел двоих, идущих под руку. В мужчине он сразу и безошибочно узнал Ивана Макаровича Бархатова. А тетю Катю ему не нужно было узнавать. Ее никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя было принять за другую.

Маврик присел от неожиданности. Потом спрятался за камень. Потом, когда сердце стало биться как всегда, он понял, что не имеет права знать о тети Катиной тайне. И он никогда не подаст виду, что ему известно и чему он несказанно рад. Однако же эту радость он должен носить в себе, как счастливый, но нелегкий и чем-то обидный камень.

Как все не просто...

Кроме «монашенка», нашлись и другие верхотурские ребята. Начались лесные походы, ловля большой рыбы, охота на диких уток петлями из конского волоса... Мало ли увлекательного в окрестностях Верхотурья! Маврик всячески старался освободить от себя тетю Катю. И она то уезжала в Меркушино, где спасался, постился и укрощал свою плоть Симеон Праведный, то ездила в другие места, где Маврику тоже могло быть скучно и неинтересно. А Маврик радовался, что к тете Кате пришла хотя и поздняя, но чистая и очень возвышенная любовь. Ему давно уже наскучило в Верхотурье и хотелось в Мильву. Но нетерпеливый племянник даже не напоминал об этом тетке — наоборот, удерживал ее здесь, находя воздух полезным и продукты дешевыми.

Иногда он читал в глазах тети Кати: «Извини меня, Маврушечка, но я не могу, я не имею права тебе сказать всего, потому что это не только моя тайна». Маврик тогда старался не глядеть на нее, чтобы она не прочитала в его глазах того, что не нужно ей знать.

Но пришло время, когда Екатерина Матвеевна, вздохнув, сказала: — Пора уж...

Этого только и ждал Маврик, хотя и сказал для приличия, что можно бы денечек пожить еще.

Думая, как всегда, о Мильвенском заводе, радуясь встрече с ним после разлуки, возвращающиеся домой не знали, что там произошло большое несчастье.

Как ни далека Казань от Мильвенского завода, а все же след привел на Песчаную улицу в штемпельную мастерскую. Началась слезка, грубая и нетерпеливая. В мастерскую повадился Шитиков, делая заказы на явно ненужные штемпеля. В один из приходов Шитиков заказал крупноформатный рекламный штемпель страхового общества «Саламандра».

Анна Семеновна сразу поняла, что ему нужно, и объяснила ему невозможность выполнения такого заказа.

— Во-первых, Никандр Анисимович, — сказала она, — у меня нет такого количества шрифтов, чтобы набрать такой большой текст. Во-вторых, если бы шрифт и был — допустим, я бы позаимствовала его в типографии Халдеева, то и в этом случае штемпель не мог бы

пригодиться, так как нужна огромная сила, чтобы сделать мало-мальски отчетливый оттиск. Это исключено технически.

Шитиков сделал вид, что поверил этому, не стал спорить, боясь насторожить свою жертву. Он не понимал, что им была выболтана цель его появления. Теперь оставалось ждать обыска. Найти в мастерской уже было нечего. Шрифты из подвала флигеля давным-давно были переправлены на лесной кордон, близ села Медвеженка.

Но и там теперь ничего не нашла бы полиция. Артемий Гаврилович Кулемин после первых подозрительных визитов Шитикова перепрятал шрифты и вулканизационные прессы. Подготовилось к обыску и подполье. Матушкины сожгли все не представляющее ценности, закопав остальное на берегу речки Медвежки.

Следователь из губернии, потеряв терпение и надежду на успех слежки, решил арестовать Анну Семеновну, убежденный, что на допросе будут выяснены все подробности. И вскоре Анна Семеновна была арестована. В штемпельной мастерской был произведен тщательнейший обыск. Простукивались стены. Вскрывались полы. Обороняясь, Анна Семеновна заявила протест. Но кто мог ей внять? Кто мог заступиться за нее, названную немецкой шпионкой? Это было страшное, отпугивающее клеймо, которым пользовались, когда подозреваемому нельзя было предъявить обвинение при отсутствии улик. Но следователь верил, что улики будут. Он не пренебрегал ничем, даже допросом детей. Пригласив Фаню, затем Ильюшу, он рекомендовал им рассказать правду. Но ни тот, ни другой ничего не знали. Да если бы и знали, то разве бы кто-то из них предал мать?

Анну Семеновну вскоре отправили в Пермь. Кулемин был уверен, что следующая очередь его или Терентия Николаевича Лосева. Однако вместо них арестовали наборщика из типографии Халдеева. Наборщик некогда работал штемпельщиком и числился в подозрительных. Это дало возможность подпольщикам сделать заключение, что жандармы не имеют точных сведений о производстве подпольных штемпелей.

Терентия Николаевича Лосева никто не считал революционером. Поэтому он, не настораживая шпииков, мог появляться в квартире Киршбаумов и как-то помогать Ильюше и Фане.

Нестерпимо тяжелое положение детей, разлученных с матерью, становилось все хуже и хуже. Удар обрушивался за ударом. Оказавшись без средств к существованию, если не считать скудных сбережений, оставленных матерью, Ильюша и Фаня не могли содержать, оплачивать квартиру, где они жили. На первое время можно было продать кое-что из имущества для самых необходимых расходов, а что потом?

— Ты должен поступить на завод, Иль, — очень серьезно и решительно сказал Санчик Денисов. — В снаряжном цехе есть очень простая и денежная работа. А Фаня пусть доучивается.

Санчик не подумал, что учиться в гимназии — это значит платить за обучение. И платить не так мало. Но не в одной плате было дело.

Возникла новая трудность. После ареста Анны Семеновны всплыло то, что до этого спало в бумагах. Немногие, в том числе пристав Вишневецкий, знали, что Григорий Савельевич Киршбаум и Анна Семеновна Петухова не состоят в церковном браке. И никто не упрекал их за это. Наоборот, было что-то высокое, стоящее над предрассудками, когда не обряд, а любовь венчала эту на редкость дружную пару. А теперь?

А теперь все обернулось против арестованной. Если она пренебрегала религией отцов, если она поступилась таинством брака, то что ей стоило стать немецкой шпионкой? Этой «логики» придерживался не один провизор Мерцаев, но и нотариус Шульгин, и купец первой гильдии Чураков, и, конечно, протоиерей Калужников.

Когда это все стало известно в женской гимназии, то там нашлись девочки, которые называли Фаню внебрачной, незаконнорожденной и еще более худшим словом. Ходить в гимназию теперь стало трудно. В глазах каждой девочки она сможет читать и то, что в них не написано. Это страшно.

Но у Фани оказались друзья, о которых она не знала. Подпольщики не могли открыто вмешаться в ее судьбу, но у них была возможность действовать скрытно. И это сделали Матушкины. Они, состоявшие в родстве с Тихомировыми, обратились к Варваре Николаевне.

И вскоре во флигеле на Песчаной улице появились бабушка и внучка Тихомировы.

— Фанюша, — сказала Варвара Николаевна, — ты поживешь у нас, пока не оправдают твою маму.

Лера назвала Фаню милой сестричкой, что нужно было правильно понять и не пытаться объяснять.

Покровительство Варвары Николаевны много значило в женской гимназии. Обидеть Фаню теперь — значило обидеть уважаемую и почтенную женщину. Как-никак генеральша.

Для слухов и пересудов нашлось достаточно домыслов. Имя тихомировского внука Викторина теперь прочно стояло рядом с именем, красавицы Фани. Подтверждением этому была телеграмма из Кронштадта, в которой Викторин благодарил свою бабушку за благородное великодушие.

Варвара Николаевна ничего не отрицала, равно как ничего и не утверждала. Кому как хочется, тот так пусть и судит.

Позаботились и об Ильюше. Для него нашелся хороший опекун Самовольников. Тот самый Ефим Петрович Самовольников, у которого шесть лет тому назад по приезде из Перми жили Киришбаумы. Кулеминым в разговоре с Ефимом Петровичем было сказано:

— Ты, Ефим, не бойся. Мальчишка тебе не будет в тягость. На свете есть люди, которые не дадут пропасть Ильюшке.

С устройством на завод теперь было просто. Брали всех. Лишь бы руки. Ильюшу приняли в снарядный цех. Там тоже нашлись опекуны. Кулемин делал все, что мог, не разглашая и ничем не показывая своей заботы о сыне арестованной Анны Семеновны.

Конечно, Кулемину очень хотелось определить Илью в семью Маврика. Но этого сделать было нельзя. Любовь Матвеевна ни при каких обстоятельствах не согласилась бы пустить к себе мальчика из опасной семьи.

Ждать, когда вернется Екатерина Матвеевна, и насыпать ей заботу об Илье, Артемий Гаврилович тоже не находил удобным, хотя и знал, что по приезде она сделает все возможное. Так и случилось. Она, как перед богом, мысленно поклялась перед Иваном Макаровичем заботиться об Ильюше.

Маврик вернулся из Верхотурья, когда квартира Киришбаума была пустой. Ильюша уже работал на заводе. Маврик встретил своего друга вечером у проходной. Они обнялись, стараясь изо всех сил сдержать слезы.

— А как же теперь гимназия? — спросил Маврик. — Ты ушел из гимназии?

— Нет, — ответил Ильюша. — Я хотел уйти, но мне этого не дал сделать Аппендикс. Он сказал, что я отчислен им из гимназии как неблагонадежный... Словом, меня выгнали.

Маврик сжал кулаки.

— Иль, ты можешь мне не верить! Но мне сказал один человек, которому нельзя не верить. Верь не мне, а ему. Скоро все это кончится! Верь!

Ильюша верил вместе с Мавриком. Ждал. Надеялся. А время шло, и ничего пока не изменялось. Пришла осень. Осень сменилась зимой, и все оставалось по-прежнему.

Но все равно они ждали, они верили, они знали, что конец близок. Надежда сбывалась.

Наступало то, что не могло не наступить. Сбывалось предсказанное Лениным. Солдат прозревал. Война лишалась важнейшего и обязательного условия, без которого она не могла продолжаться. Война лишалась подчинения солдат, покорности армий. Без этого ничего не стоили роды и виды оружия, гениальные стратегические планы и даже самое страшное принуждение оружием продолжать военные действия, не говоря уже о призывах от имени бога и тем более — царя.

У правительства не было идей, не было целей, которые хотя бы ложно могли воодушевить, а затем подчинить солдата, чувствующего себя так подло и так бесстыдно обманутым.

А у таких, как Григорий Киршбаум, Павлик Кулемин, у тысяч большевиков, мобилизованных в армию и отправленных в окопы, были ясные, бесспорные взгляды на войну. Истина, сказанная двум-трем солдатам, становилась достоянием роты, батальона, полка...

Малочисленная, но уже великая ленинская партия сделала все, чтобы империалистическая война могла превратиться в гражданскую.

## **ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ**

Февраль, будто ошалев, пуржил круглые сутки, подымая на мильвенских улицах легкий снег, подсыпал новый так обильно, что вся земля выглядела подобием дна белого снежного бушующего океана.

— Злится коротышка февраль на то, что ему мало дней дадено, — говорил про бунтующий месяц Емельян Кузьмич Матушкин. — Не хочет кончаться и в марте криводорожное путало-шатало, а приходится уходить.

У Емельяна Кузьмича сегодня счастливый день. Серым солдатом на костылях принес ему радостные вести большевик из Петрограда. Если вести верны, так лучшего и желать нечего...

За ночь вероломный февраль наметал такие сугробы, что в них утопали по самую крышу невысокие дома, в каких жило большинство рабочих. Приходилось разгрести траншеи не к одним лишь воротам, но и к окнам, чтобы не сидеть в темноте.

Никогда еще в Мильве не было таких снежных дней, и многие считали, что дикие метели и обильные снегопады приходят неспроста.

— К чему бы это, Любонька? — спросила Васильевна-Кумыниха, ночевавшая у Непреловых. — Не к концу ли войны?

Люди давно, с незапамятных времен ищут в явлениях природы таинственные предзнаменования, и они обычно оправдываются, потому что в большой жизни, как и в малой Мильве, всегда что-нибудь случается. Поражение на фронте. Увечье на заводе. Пожар дома. Нехватка муки. И даже новое подорожание сахара можно будет объяснить тем, что «не зря, бабоньки, так пуржило-кружило».

На этот раз суеверная молва в снежной буре увидит куда более серьезное «предсказание», и все старые и пожилые люди будут твердить, о чем «упреждали» несусветные бураны. И, в частности, о том, что во многих рабочих домах курицы запели петухами, а самовары тревожно выли, как в пятом году, а коровы телились сплошь одними бычками.



Любовь Матвеевна Непрелова тоже с тревогой смотрела на ошалевший снег. Она не предполагала, не догадывалась, что значит это все, а точно знала о происшедшем, хотя и не полностью верила услышанному. Когда же она увидела, что казавшийся неистощимым снегопад вдруг оборвался, будто какая-то сила, какой-то нож отрезали его, и над Замильевым как-то особенно оранжево-красно запылало рано всходившее теперь солнце, — в этом она, не лишенная предрассудков, нашла подтверждение услышанному от почтового чиновника. Он сообщил ей первой потрясающее телеграфное известие, перехваченное им.

— Значит, правда, — сказала она, расчесывая волосы перед окном и разглядывая красное солнце. Решила предупредить сына.

Маврикий проснулся, разбуженный ярким светом, и хотел порадоваться вслух концу метелей, но мать подала ему знак:

— погоди, не вставай. Я должна сказать тебе очень важное и предупредить тебя под большим секретом не говорить об этом никому.

— Что такое, мама? Что случилось? — приподнялся Маврик.

— Я это говорю тебе потому, чтобы ты, услышав от других, не вздумал сожалеть или радоваться, потому что еще неизвестно, что нужно делать и как себя нам вести, — наказывала она сыну, закалывая последние шпильки в прическу.

— Ну говори же, мама... Я обещаю...

Любовь Матвеевна помедлила несколько секунд, ища интонацию и самые слова, чтобы по ним сын не определил его отношения к сказанному.

— Ты знаешь, Маврикий, нашего царя, то есть нашего бывшего царя, Николая Александровича Романова, не стало.

— Его убили?

— Ну что ты, право! Откуда у тебя такие предположения? Царь отрекся от престола и добровольно передал его своему брату Михаилу. Но и Михаил Александрович тоже не захотел быть царем. Пристав об этом еще не знает. Он только что, расфуфыренный и веселый, промчался мимо в своих новых санках с медвежьей полостью.

— При чем тут, мама, медвежья полость и пристав? Царя арестовали и посадили в тюрьму.

— В тюрьму? Царя? — Любовь Матвеевна даже изменилась в лице. — За что?

— За войну! За убитых и раненых! За каторжную работу на заводе. За Анну Семеновну... За ее детей... За это мало тюрьмы. За это нужно заковывать...

Бледная мать, с дрожащими губами, силилась и не могла прикрикнуть на сына. А он, выпрыгнув из-под одеяла, не думая одеваться, подбежал к царскому портрету, купленному вместе с другими вещами у Дудаковой, спросил:

— Отрекся, вампир? Струсил?

— Маврикий! — остановила его мать и стащила со стула, когда он хотел снять портрет царя. — Василий Васильевич, может быть, еще ошибается. Может быть, он неправильно прочитал телеграмму, и нас причислят к политическим, арестуют и посадят в тюрьму. Ты что?

Маврик отошел от портрета не потому, что усомнился в свержении царя, ему было жаль испуганную мать, со слезами на глазах умолявшую не губить себя и ее.

— Ради меня, ради твоей маленькой сестры, которая, как дочь Анны Семеновны, может быть выброшенной на произвол судьбы, ты ни с кем не будешь говорить в гимназии о царе... Ты ничем не покажешь, как ты относишься к этому, если кто-то будет заводить с тобой разговор, особенно Юрка Вишневецкий, который все передает своему отцу. Поклянись перед иконами, — потребовала мать.

Маврик, быстро одеваясь, заявил:

— Клясться не буду. Мое честное слово сильнее клятв. Я не буду ни о чем говорить. А тебе бы уж лучше молчать, мама...

За окном белым-бело и солнечно. По улице бредут с мочальными сумками женщины. Проходит в камчатских бобрах Чураков. Он идет в свой магазин. Появились мальчишки с подвязанными к валенкам дощечками от старых селедочных бочек вместо лыж. Неторопливо передвигает ноги старый соборный священник отец Самуил. С ним раскланивается тоже никуда не спешащий урядник Ериков.

Может быть, в самом деле ничего не произошло? Неужели они ничего не знают? Наверно, следует пока попридержать язык.

За столом, когда пили чай с дорогим белым хлебом и с очень подорожавшим сливочным маслом, Любовь Матвеевна сказала:

— А может быть, тебе в такой смутный день не стоит ходить в гимназию?

— Не стоит, — послышался из-за перегородки голос Васильевны-Кумынихи. — Сегодня с обеда начнет бастовать завод. Якова нашего пристрашали забастовщики-комитетчики: если, дескать, в обед не бросишь работу, пеняй на себя. А в Питере-то, Любонька, в Питере-то черным-черно забастовщиков, и не одной прибавки да восьми часов требуют, продолжала Кумыниха, — но и царя грозятся согнать.

— Потом, Васильевна, расскажешь, — предупредила Любовь Матвеевна, указывая глазами на сына. — Лучше подумай, что сварить на обед.

Забастовки давно уже не бывало в Мильве. Бастовали отдельные цеха. И если сегодня забастует весь завод, то Маврик увидит Илью до вечера. Уж они-то с Санчиком первыми бросят работу.

— Да, мама... Я, пожалуй, пропущу сегодня день. Диктовок нет. География, закон божий, русский и пение... По ним я не отстаю. Схожу к тете Кате, а потом в земскую библиотеку.

— И очень хорошо...

На улице стояла тишина. Ничто не подтверждало свержения царя. Проходя через плотину, Маврик невольно задержал свой взгляд на медведе. Он по-прежнему шел по гранитной глыбе, попирая крамольное чудище, держа в своем горбу позолоченную корону, которая блестела больше, чем всегда, в лучах солнца.

Возле медведя, у полосатой полицейской будки, как всегда, стоял важничавший постовой.

Неужели все останется по-прежнему?

Нет, этого не может быть.

## II

В обед послышался заводской свисток. И не такой, как всегда. Тревожный. Зазывный. С отсвистками. На башне завода ударили в набат.

Маврик, успев рассказать тете Кате то, что было сказано матерью, опрометью бросился к проходной. Когда он прибежал туда, то рабочие уже покидали свой завод. Широкой темной рекой они

текли по белой, заснеженной плотине. Впереди двое несли красное полотнище, и на нем наскоро было написано белилами: «Долой самодержавие!» А на других полотнищах требовали восьмичасовой рабочий день и прибавку оплаты за работу.

Пели незнакомые песни. Многие не знали слов. Но слова песен раздавались на листках, отпечатанных фиолетовыми чернилами. Маврику не удалось получить такого листка с песней. Но слова одной из них он запомнил:

Вставай, подымайся, рабочий народ.  
Иди на врага, люд голодный.

Только пока ему не до песни. Нужно найти Ильюшу и Санчика.

— Толлин! — вдруг послышался голос Ильи. — Давай к нам!

Маврик побежал на голос и увидел среди молодых рабочих Илью и Санчика.

— Становись, становись в наши ряды, зашеинский внук, — громко приглашал Маврика незнакомый голос, а другой рабочий спросил:

— Разве ты зашеинский внук, а не гимназист?

Маврик не знал, что ответить на это, как будто зашеинский внук не мог быть гимназистом. Он стал в ряд подростков между Ильюшей и Санчиком. В ряду оказался и Кега с братом. Маврик не сразу узнал Яктынку и Сактынку с Ходовой улицы. Они поздоровались как старые друзья.

Кассирша из земского склада громко спросила Маврика:

— А ты зачем тут, Маврик?

Ответил Санчик:

— Отойдите, а то затопчем...

Освоившись, Маврикий уже подпевал. И ему так приятно было считать себя забастовщиком. Он здесь не просто так, а вместо дедушки. Дедушка хотя теперь и не смотрит на него с облачка, потому что Верхотурье рассеяло все небеса, но все равно, если бы он был жив, ему было бы очень приятно увидеть внука в рядах рабочих родного завода.

Забастовка кончилась, не успев начаться. Еще не все цеха подошли на соборную площадь, как на ступенях дома управления завода появился сам господин Турчанино-Турчаковский. Он сказал:

— Господа!.. Господа рабочие, мастера, техники... господа члены стачечного комитета и председатели цеховых комитетов!.. Слышите ли вы меня?..

— Слышим, слышим, — ответили передние...

— Говори громче, — послышалось в задних рядах.

Турчаковский стал выкрикивать, срываясь с голоса:

— Я только вчера... только вчера вернулся в Мильву... И ночью... Сегодня ночью... прочитал ваши требования... Ваши требования, господа... Они приемлемы, господа... Я их принимаю, господа...

В ответ послышалось шумное одобрение. Кто-то закричал «ура». Турчаковский поднял руку, он просил тишины.

— Прошу пожаловать ко мне сегодня выборных от стачечников. Выборных от стачечников... Вы слышите?..

— Слышим, — ответили голоса.

— И мы вместе, господа... — выкрикивал он, повторяя фразы. — Мы вместе, господа, сделаем все возможное... Все возможное, чтобы дать вам еще больше... Еще больше, чем вы требуете... и не дать остановиться цехам, работающим для победы... для победы над врагом.

Бастовать больше было не за что. А что касалось требования «долой самодержавие», то этого вопроса управляющий да и никто в Мильве не решал.

Часть забастовщиков вернулась на завод, часть отправилась ходить с флагами по улицам, а остальные пошли домой. А три верных друга решили уединиться на кладбище. Там-то уж никто не услышит. Но все было выяснено по дороге.

— Говорят, что в Петрограде, — сообщал Санчик, — прогоняют царя.

— А по-моему, его уже нет, — очень солидно и очень уверенно сказал заметно выросший и раздавшийся в плечах Ильюша.

— А почему ты так думаешь? — осторожно спросил Маврик, боясь не сдержать слово, данное матери.

— Разве вы не заметили, — стал отвечать Ильюша, — как разговаривал сегодня с балкона Турчак? Сколько раз он сказал слово «господа»? И кому? Господами же всегда были они, а не мы — рабочий класс. И я думаю, что Турчаковский-хитряковский знает, что царя нет.

Маврик не мог далее молчать. К тому же он обещал матери не говорить о свержении царя в гимназии, а это же не гимназия, а завод. Это же «мы, рабочий класс». Как можно скрывать правду? И он твердо и определенно заявил:

— Царя нет, Иль. Он отрекся... — Далее Мавриком было рассказано все, что знала Любовь Матвеевна от телеграфиста.

— Так сказал телеграфист? — переспросил Ильюша. — Он читал телеграмму?

— Да, — твердо ответил Маврик.

— Значит, правда. Значит, все будет по-другому. Мама вернется.

Молодой представитель рабочего класса Ильи Киришабаума хотя и жил теперь революционными идеями и мечтал о гибели старого мира, все же свержение царя для него было, во-первых, возвращением из тюрьмы матери, которая ему была нужна, как никогда. Ильюше было гораздо меньше лет, чем хотелось бы ему, так рано испытавшему первые горести, остающемуся все еще мальчиком, которому так трудно без матери. Может быть, даже труднее, чем Фане.

### III

Монарх больше не правит страной. Самодержавие свергнуто. В Петрограде и в Москве уже созданы Советы рабочих и солдатских депутатов. На зданиях красные флаги, а здесь, в царстве горбатого медведя, сегодня арестовали семерых рабочих за то, что они возмущали спокойствие и призывали к свержению царя.

Мильвенским властям от губернатора пришла телеграмма, требующая не проявлять робости, не обращать внимания на слухи, которые идут из столицы. И все следовали этому указанию, кроме Турчанино-Турчаковского, который лучше других понимал, какие события произошли в стране и как нелегко будет даже ему, искуснейшему мастеру лавирования. Не забежать ли вперед? Не

предупредить ли кое-кого, например старика Тихомирова, что царь свергнут? Что ни говори, Тихомиров — отец известнейшего революционера, скрывающегося за границей. Да и сам «женераль» достаточно красен... Не худо позвонить и доктору Комарову. Этот разблаговестит сотням болтунов. И все скажут, что не кто-то, а Турчанино-Турчаковский первым сообщил по телефону радостную весть.

Он так и делает. Подходит к телефону. Крутит рукоятку и говорит:

— Центральная... Хеллоу... Прошу соединить и отойти потом от коммутатора... Квартиру Тихомирова...

От коммутатора, конечно, телефонистка не отходит и подслушивает то, чего не хочет Турчаковский оставлять в секрете.

Утро в гимназии, как всегда, началось с молитвы в большом, но теперь тесном зале. Дежурные классов, после введения военного обучения, командовали: «Взво-од, становись!» и «За мной, шагом марш!».

В зал входили сначала младшие классы, становясь впереди, начиная с первого, затем старшеклассники.

Маврик, как и обещал матери, о царе в гимназии не говорил ни с кем. И кажется, никто не начинал этого разговора. Наверное, со многими из них был предупредительный родительский разговор.

На молитве, как всегда, перед образами, висевшими в правом переднем углу, появился маленький гимназистик, от которого пахло несвежим бельем, и ему, сухонькому, маленькому, как нельзя более подходила фамилия Сухариков. Он, сын сельского торговца из дальней волости, знающий хорошо молитвенные распевы, был назначен кем-то вроде регента.

Ударив, как всегда, о косточку левой руки камертоном, затем для «близиру» послушав его, Сухариков приподнял руки, а затем, взмахнув ими, начал первым, и все подхватили тягучую молитву. «Царю небесный». Когда она была пропета, маленький дирижер снова ударил камертоном о косточку руки, и снова зазвучала вторая молитва. И когда были пропеты все пять молитв, надлежало сделать полуоборот направо и повернуться к портрету Николая Второго.

— Полуоборот напра-во! — пискливым дискантом скомандовал Сухариков. И все повернулись.

Но вдруг послышался звонкий голос вбегающего в зал Всеволода Владимировича:

— Отставить! — А затем: — Полуоборот нале-во! — И совсем тихо: Стоять вольно, господа...

Его глаза блестели. Блестели, как тогда, на открытии гимназии. Всеволод Владимирович волновался.

— Внимание, господа, внимание, — начал он. — Царь, ныне бывший царь, отрекся от престола в пользу своего брата Михаила. Но отрекся и Михаил. Монархия в России низложена...

— Позвольте, позвольте, досточтимейший Всеволод Владимирович, послышался голос стремительно появившегося протоиерея Калужникова. — Меня, как исполняющего обязанности директора гимназии, об этом не уведомили... И я запрещаю в стенах вверенной мне гимназии...

— Слушаюсь! — совсем по-солдатски сказал Всеволод Владимирович и, не выслушав Калужникова, вышел из актового зала, не закрыв за собою дверь.

— Петь «Боже царя храни»? — спросил Сухариков.

— Петь! — приказал Калужников. — Петь!

Сухарикову из задних рядов строили рожи, угрожали, но этот мальчик из торгового звания, видимо, готов был, а может быть, и рад был пострадать за царя.

— Полуоборот напра-во! — уже не пискливо, а визгливо, как-то по-синичьи скомандовал он.

Повернулись не все, но большинство. И вдруг совершенно несвойственно для священнослужителя была подана повторная команда протоиереем:

— Полуоборот напра-во!

Кто-то еще сделал поворот. Но многие не подчинились команде. Калужников почему-то обратил внимание не на кого-то, а на Толлина. Может быть, потому, что тот стоял ближе к протоиерею.

— Толлин, почему ты не повернулся?

Маврик хотел было сказать «не я один», но в этом была какая-то трусость, какое-то прятание за других. К тому же вдруг вспомнился кладбищенский поп Михаил и толстовские дни. Протоиерей в эту минуту чем-то напоминал кладбищенского попа, и Маврик сказал:



— Отец Михаил... извините, отец протоиерей, я не могу прославлять царя, которого... которого низложили.

По рядам пробежал шепот. Потом наступило молчание. Протоиерей, собрав бороду в кулак, сказал:

— Кто не желает петь гимн, тот может покинуть этот зал.

Воля Пламенев, Коля Сперанский, Геня Шумилин, Митя Байкалов вышли из рядов первыми. Затем еще пять-шесть человек. Затем большая группа из тех, кто колебался и стоял, повернувшись к портрету царя. Остальные запели «Боже царя храни», но запели глухо, боязливо, а некоторые только открывали рот.

Все ждали, что начнется исключение из гимназии. Сегодня же. Сейчас же. Но этого не случилось. Протоиерей уехал. В шестом классе не было урока латинского языка. Зато в актовом зале было происшествие, которое заставило протоиерея возвратиться в гимназию.

Кто-то запустил чернильницей-«непроливашкой» в портрет царя. Чернильница, угодив выше головы царя, разбила стекло, и темно-фиолетовые чернила растеклись по портрету. Актовый зал было приказано закрыть, а портрет снять.

Никого не боявшийся семиклассник Бржицкий, выгнанный из трех гимназий и еле принятый в мильвенскую гимназию, сделав невиннейшее лицо, беспокойно спросил Калужникова:

— Отец протоиерей, а кому же мы теперь будем петь «Боже царя храни»?

Калужников ничего не ответил, потому что управляющий заводским округом Турчанино-Турчаковский сообщил ему по телефону:

— Государь император изволил временно сойти с престола, поэтому формируется Временное правительство из достойных, мудрых и благонадежных, — подчеркнул он, — государственных мужей.

#### *IV*

А спустя день, один лишь день, Мильву нельзя было узнать. На домах, над воротами домов рабочих красные флаги. Флаги у

проходных завода и у входа в гимназию. Большой флаг на здании управления завода и поменьше — на доме управляющего заводом Турчаковского.

Люди, встречаясь, обнимаются, а иногда целуются, как на пасхе, и поздравляют друг друга с великим праздником.

Доктор Комаров одним из первых появился с красным бантом на шубе. И в гриву его лошади тоже были вплетены две красные ленты.

В окне магазина «Готовое платье» Куропаткина большое объявление о приеме заказов на знамена любых партий, организаций и обществ без ограничения, с вышивкой различных эмблем, знаков и девизов. Ниже сообщалось, что в продаже имеются готовые красные флаги, а также красная материя различного качества и со скидкой.

Маврик ходит по улицам и удивляется, как все и всё очень скоро поняли. Еще несколько дней тому назад его мать запретила касаться царского портрета, а потом сама сожгла его вместе с рамой в русской печке, приговаривая:

— Ты разлучил меня с мужем... Ты принес дороговизну... Вот и гори за это, рыжий...

Еще позавчера протоиерей готов был исключить всех, кто не захотел петь «Боже царя храни», а сегодня просвирненское полудурье Тишенька Дударин бегаёт босой, в красной опояске и плумится над Николаем Вторым, выкрикивая:

Колька-Миколка,  
В холке иголка,  
Шьет, смердит,  
Колесом вертит.

Типография Халдеева, такого рьяного цареобожателя, ходившего каждый царский день в собор и вывешивавшего не один, а целых три царских флага на своей типографии, теперь тоже с красным флагом. Теперь тоже печатает со скидкой объявления и афиши политического содержания. И на улицах Мильвы пестреет множество больших объявлений о выборе в рабочий Совет депутатов, в солдатский Совет депутатов. И они, не успев повисеть, заклеиваются решениями объединенного Совета рабочих и солдатских депутатов.

Еще вчера «политических» почти не было в Мильве, и только некоторые подозревались в «политиканстве», а теперь их оказалось так много, что даже трудно представить, сколько их. И все они носят разные названия. Большевики. Меньшевики. Максималисты. Анархисты. Трудовики. Кадеты. Левые эсеры. Правые эсеры. И особо союзы. Союз металлистов. Союз фронтовиков. Союз потребительских обществ. Союз приказчиков... Возник даже союз нищих. Им-то зачем особый союз? Оказывается, нужен. В среде нищих тоже произошел переворот. Была свергнута верхушка привилегированных нищих, в которую до последнего времени входила бабка Санчика — Митяиха. Это сделали солдаты-калеки, вернувшиеся с фронта и пополнившие ряды нищих.

Если у всех союзы, то, может быть, нужен союз учащихся? Всех учащихся гимназий, городского училища и технического.

В голове такая карусель, что Маврикий пока даже приблизительно не может разобраться в случившемся. И Артемию Гавриловичу не до него. Он и Матушкин весь день в Совете депутатов. Кулемин в один из вечеров едва выбрал час, чтобы поговорить с Ильюшей Киришбаумом о матери. Ее ждали со дня на день. Уже вернулись трое мильвенских заключенных.

Илья надеялся, мать придет вместе с отцом, который, по его глубокому убеждению, не пропал без вести, а скрывался все это время.

В гимназии кто в лес, кто по дрова.

Коля Сперанский называет себя социал-демократом. Его брат объявил себя левым эсером. Димка Булочкин, сын колбасника, и Генька Турчаковский, внук управляющего, создают лигу юных кадетов. Юрка Вишневецкий уже создал «союз альпийских стрелков». Волька Пламенев объявил себя большевиком. А Митька Байкалов ищет программу анархистов-синдикалистов, произнося вместо «синдикалисты» — «скандалисты». Наверно, это и привлекает его. А Казька Бржицкий уже заявил всем, что он убежденный анархист, и в доказательство этого ходит без ремня, с расстегнутым воротом. Он обещает явиться в гимназию, как только станет потеплее, без рубахи. Наверно, явится. И это очень глупо. Кроме того, что он дубина, ничего не будет доказано.

Правильно, что на стене в раздевалке под словом «долгой» нарисован отросток слепой кишки. Но зачем пририсована рука с

ножом, срезающая этот отросток? Это же не горнозаводская больница, а гимназия. Разве нельзя прийти и сказать: «Господин протоиерей...» — или лучше официальнее: «Господин Калужников, мы надеемся, что вы, чувствуя себя ненужным отростком, отречетесь от должности и передадите ее Всеволоду Владимировичу Тихомирову, не дожидаясь Учредительного собрания».

Вообще, не применяя никаких ножей, правильнее всего заставлять отрекаться, как это сделали с Николаем Вторым.

Сейчас даже в первых классах гимназии и в простых школах все играют в свержение царя. Уговорят мальчишку стать царем. Посадят его в кресло. Наденут на него корону. Начнут ему кланяться. А он сидит на троне, в короне и кричит, кого расстрелять, кого повесить, кому голову отрубить... А его упрасивают. Не казни. Не руби. Не вешай. Поют ему «Боже царя храни». А он ни в какую. Потом вдруг лопаются терпение у ребят. Запевают: «Отречемся от старого мира...» И начинают требовать у царя: «Отрекайся... отрекайся...» А он упирается. Тогда раздается клич: «Вставай, подымайся, рабочий народ...» — и начинается свержение.

Второклассника, сына смотрителя завода, свергали до синяков. Его в буквальном смысле сбрасывали с престола, а престол стоял на довольно высокой кафедре. Будь бы Маврик в их возрасте, наверно бы, и он играл так же. Но ему пятнадцатый год. В эти годы нужны настоящие свержения. Пусть мало значит гимназия в большой жизни, но и она требует изменения. Для чего же тогда революция, если все останется так, как было при царе, вплоть до утренних молитв, на которые по-прежнему звонок призывал в актовый зал?

Как нужна встреча с Иваном Макаровичем! Хотя бы на час. Даже на пятнадцать минут, чтобы спросить — что ломать, а что оставить. И не один он хочет знать об этом. Все в какой-то неопределенности. И сама революция похожа на большую руку, на громадную ручищу, которая замахнулась и остановилась в замахе. Замерла. Как будто ее какая-то сила заговорила, заколдовала... Обессилила.

Не посоветоваться ли с Ильей? У него на заводе как-то все яснее. И Маврик мог бы работать там вместе с Илем и Санчиком. Маврик не очень уверен, нужна ли ему гимназия, где нет технических предметов. Мастерские не в счет. Стоит ли терять столько времени на изучение того, что никогда не пригодится? Например — закон божий. А его все еще преподают. А нужна ли ему история, которая не история, а рассказы о доблестях царей и королей, а не народов. Об этом говорят и сами учителя. И вообще — по дедушке и всему своему древнему зашеинскому роду он принадлежит к рабочему классу...

Маврик пугается своих мыслей. Ему не дадут бросить гимназию и не пустят работать на завод. Пусть пока все идет, как шло, а потом будет видно. А сегодня он пропустит учебный день и сходит поговорить с Ильюшей.

В проходной Маврик сказал волшебное слово:

— Я внук Матвея Романовича Зашеина, мне нужно в цехе посоветоваться о забастовке.

Его пропустили. И вообще теперь в завод пропускали легче, нежели раньше. Маврик решил прежде пройтись по цехам, а потом отправиться к Ильюше.

Совсем недавно Мильвенский завод восхищал его и все было новым и удивительным. А теперь он, повидавший хотя и не так близко другие заводы, зная по картинкам иностранных журналов и рекламным изданиям, как там, как у них, слышав не раз суждения приезжих инженеров, знакомых рабочих и мастеров о том, что Мильвенский завод стар и отстал, мог судить о недостатках своего завода. Пусть незрело, поверхностно, а иногда и наивно, все же верно по целеустремленности.

На шихтном дворе человек пятнадцать чернорабочих били чугуновой бабой железный лом для мартеновских печей. Они хрипло пели: «А ну, тянем-потянем...» Чугунная баба медленно ползла кверху по направляющим бороздам копра, потом срывалась и производила ничтожную работу.

Пятнадцать чернорабочих. Пятнадцать поденщин. Во что же обходится только одна разбивка железного лома? И без подсчетов видно, как безжалостно расходуется сила человеческих рук.

А судовой цех, где некогда работал его дед Матвей Романович, по-прежнему крыт небом. Это площадка, на которой все делают

только руки. Тяжелыми большими ножницами руки подрезают железные листы корпуса судна. Руки сверлят по краям листов отверстия для заклепок. Руки молотом расклепывают заклепки, соединяя лист с листом. Руки срубают зубилом заусеницы.

Так строили суда и в прошлом столетии.

В листопрокатном цехе железную болванку в лист превращает прокатный стан. Но и тут главную работу производят руки, сующие длинными клещами в промежутки валов раскаленное железо, прокатывая его взад и вперед до тех пор, пока оно не станет листом.

Жара. Пот льется не градом, а ручьем. Взмокли просолонелые рубахи. На ногах рабочих лапти, потому что в них устойчивее стоять, да и не напасешься сапогов. Огромных усилий стоит прокат листа, но и при этом лист не всегда идет в дело. То он слоист. То губит его окалина. То середина листа оказывается толще краев, так как прокатные валы, на плазок остужаемые, не всегда сохраняя свою цилиндричность, губят и лист и труд рабочего.

Маврик не замечает бега стрелок часов. Он внимательно смотрит, как рука движет суппорт токарного станка, как вьется синяя стружка и как потом, сопровождаемый бранью, корпус трехдюймового снаряда летит в брак.

— Откуда же быть на фронте снарядам, — говорит никому и всем токарь, — если ось бьет и все хлябает, все ходит ходуном, и летят резцы.

Токарный станок очень стар. Его станина в зазубринах и вмятинах. Наверно, этот станок не был молодым и в те годы, когда дед этого токаря стал к нему учеником.

— Какое же наследство нам оставил царь? — спрашивает всех и никого молодой токарь. — Наверно, сидит он у себя в Царском Селе и пьет романею, а ты тут и ловчись, и страдай за то, что он прожег, прогулял наши новые станки.

Заправляется новая заготовка для нового стакана снаряда, Маврик идет дальше, в конец снарядного цеха, где Ильюша точит медные пояски-кольца для трехдюймовых, самых требуемых фронтом, орудийных снарядов. Маврикий хорошо подгадал. К обеду. До свистка пять минут. Он смотрит издали на своего друга. У него тоже старый станок, но работа проста, и дело спорится.

Свисток. Ремни станков переводятся на холостые шкивы. Затихает гул.

— Здравствуй, товарищ Киршбаум.

— Здорово, товарищ Толлин...

Как взрослые, так и они.

— Ну как?

— Жду маму. Артемий Гаврилович говорит, что она все еще в Перми.

— Наверняка уже скоро придет Анна Семеновна, — уверенно говорит Маврик. Ильюша верит его взволнованному голосу.

— Хорошо бы, Мавр. Спасибо тебе. А ты зачем здесь?

— Посоветоваться насчет забастовки. Нужно бастовать.

— Кому?

— Нам. Гимназистам.

— А за что?

— Согласились бы только бастовать, а за что — найдется.

Илья уселся возле станка на ящик. Подставил такой же своему товарищу. Постлал на него газету, чтобы тот не испачкал шинель. Затем достал бутылку с молоком и два ломтя ржаного хлеба.

— А хозяйка у меня очень хорошая, — сказал он. — Я, конечно, плачу за все и помогаю ей как могу. А бастовать, не зная за что, лишь бы бастовать, — это езда на пароходе за старым сараем по зеленому лугу.

— Как ты можешь сравнивать забастовку с игрой?

— Могу. Я ведь работаю на заводе. И мне отсюда виднее гимназия.

— Кирш! — послышался голос на весь цех. — Иль! Где же ты? Мы собрались.

— Сейчас, сейчас, — отозвался Ильюша. — Вечером я зайду, а теперь у нас разговор. Хотим создавать союз рабочей молодежи... Извини.

И Ильюша, которого теперь называют Кирш, ушел в своем замасленном гимназическом кительке с обтянутыми серой материей светлыми пуговицами, будто их нужно стыдиться и прятать.

Что-то разделяет их теперь. И вообще здесь, за оградой завода, другая жизнь, чем там. А бастовать все равно нужно. Илька Киршбаум неправ, что не за что бастовать. Разве нельзя бастовать за то, чтобы

он, Илья Киршбаум, был восстановлен в гимназии, чтобы Аппендикс принес ему свои извинения?

## VI

Вся Мильва, все слои ее населения признали свержение самодержавия правильным и бесспорным. Оно было ненавистно всем, за исключением разве горстки беспросветно и безнадежно темных людей, верящих в возвращение царя. Даже такие невежественные господа, как купец Чураков, и те видели в падении монархии расчистку путей к процветанию.

В комаровском кружке досужие и сытые люди по-прежнему между сменой блюд или пятой и шестой рюмками решали судьбы отечества и его правительства.

— А я скажу вам, милостивые государи, — говорил, повязавшись салфеткой по-господски, Чураков, — у нас будет «президент» на манер французского, который станет как бы выборным царем на три или там четыре года. И в случае неподходящести этого правителя, — продолжал купчина, размахивая вилкой, — его не надо свергать. Переизбрал, как волостного старшину, — и никакой амбиции.

Другому мильвенскому тузишке, Куропаткину, президент представлялся человеком с деньгами.

— И не сомневаюсь, господа, — присоединился Куропаткин к предыдущему стратегу, — у президента капиталу будет никак не меньше двух-трех десятков миллионов в устойчивых деньгах. Иначе как можно ему доверить империю? Такой воровать не будет, потому что своих денег невпроворот...

Доктору Комарову президент виделся человеком образованным. И он на ужине, посвященном заре революции, в том же зале, где он предсказывал войну, просвещал своих гостей:

— Да не оставит нас мудрость... Да не покинет благоразумие в нашем предвидении. Лицо, как бы оно ни называлось, которое станет во главе нового правительства, во-первых, будет человеком просвещеннейшим, не только лишь читающим, но и сочиняющим книги по экономике и политике. Я вижу его многосторонне



эрудированным и осведомленным, вобравшим в себя самое главное и передовое...

Говоря так, доктор Николай Никодимович Комаров не исключал себя на посту главы правительства.

— Да, да, да, — еле слышно подтверждал Турчанино-Турчаковский, спустившийся теперь до комаровских ужинов.

Демократия. Ничего не поделаешь. Приходится.

Еле слышно соглашаясь с Комаровым, про себя Турчаковский знал, что президентом изберут подставное лицо, которое провозгласит императора. Не обязательно из дома Романовых. Мало ли хороших родов в России? А может быть, императора предложат немцы. Тоже неплохо. Матильда Ивановна — немка. Это примется во внимание. И еще как.

А что думали, как рассуждали другие, такие, как, например, Яков Кумынин, который представлял значительную, хотя и не передовую, часть населения Мильвы?

— О чем шумят, — спрашивал Кумынин, — о чем спорят на митингах, когда черным по белому яснее ясного сказано: «Вся власть Учредительному собранию». Соберется оно и учредит, какой власти быть, каких законов слушаться.

Яков Евсеевич, свято веря в непогрешимость Учредительного собрания, не допускал, что оно может оказаться в руках буржуазных и соглашательских партий. И когда ему об этом говорили тот же Африкан Краснобаев и другие большевики, Кумынин только посмеивался:

— Как же это может случиться... Нас, рабочих, нас, крестьян, нас, простого народа, больше. Значит, и депутатов от нас в Учредительное собрание будет поголовное большинство. А их?.. Попов?.. Купцов?.. И прочих богатеев, которых по пальцам можно пересчитать, сколько от них изберут? Одного или двух депутатишек... А что могут сделать два голоса против тысячи трудовых голосов? Да ничего! Ясно?

Судьба России, ее нового правительства в представлении многих и должна была решиться простой арифметикой. У кого голосов больше, тот и у власти. Доверчивые и честные люди, такие, как Кумынин, и не представляли всех парламентских сложностей,

предвыборной игры, соглашательства и прямого предательства партий.

Слепота Кумынина, каких было не так мало, еще даст себя знать не в одной только Мильве. Эти добросердечно, от широты души, от бесконечной доверчивости заблуждающиеся люди принесут еще множество страданий себе и другим. И тоже — не в одной только Мильве.

Пока рассуждали одни, прикидывали другие и молчали третьи, Временное правительство требовало подчинения, соблюдения порядка, чтобы кайзер Вильгельм не воспользовался суетой и разногласиями и не нанес урон державе.

Об этом говорил на митингах доктор Комаров, так призывал бывший зашеинский сосед Игнатий Краснобаев. Считавшийся всегда тихим, теперь вдруг оказавшийся шумным меньшевиком, поссорившийся с братом Африка-ном, он становился заметной фигурой.

К всеобщему единению всех призывали в проповедях и священники, молившиеся за Временное правительство и о даровании ему победы.

Так много произошло и так мало свершилось. Во главе завода стоял избранный деловой совет, в который вошел и Турчанино-Турчаковский, носивший теперь, как и многие, красный бантик. Турчаковский по-прежнему управлял заводом, хотя и в строгой согласованности с деловым советом, избранным рабочими.

Трехцветный царский флаг был перебит на древках белой полосой вниз и красной полосой кверху, что, по разъяснению знатоков, обозначало громадную победу народа и революции, олицетворяемых плавенствующей красной полосой, и низвержение монархии, униженно представленное на флаге белой полосой. Что же касалось средней синей полосы, то ее толковали по-разному. Она, видимо, олицетворяла нечто среднее: торговцев, ремесленников, священников, всяких бывших и тому подобное «ни то и ни се».

Видимо принадлежа теперь к этой средней полосе, пристав Вишневецкий поэтому и ходил в синей бекеше, отороченной серой мерлушкой, и в сером треухе. Трогать его тоже не следовало по той же причине коварства кайзера Вильгельма, который жаждал беспорядков. И если уж не тронули губернатора, то зачем же сводить счеты с

мелкой сошкой, тем более что уже есть выборная народная милиция. Пусть себе ходит в своей синей бекеше и охотится на зайцев. Придет время, и Учредительное собрание решит, как поступить с Вишневецким.

На бесчисленных митингах говорили о неслыханных переворотах, о величайших нововведениях, но это были только слова или внешние изменения. А по сути дела «оставалось то же в новой коже», как говорил Терентий Николаевич Лосев. И сказанное им трудно было опровергнуть.

Правда, ввели восьмичасовой рабочий день, но продукты и товары подорожали так намного, что большинство рабочих оставались на сверхурочные «вечеровки», а некоторые работали и по две смены.

Избрали Совет рабочих и солдатских депутатов, но управляли комиссары, наделенные губернаторской властью, назначаемые Временным правительством. Действовали в старом составе городские думы, губернские и уездные земства. У власти опять оказались люди, объединяемые теперь уже всем понятным словом — буржуазия.

Наивным, непосредственным и чистым глазам человека, если он даже очень юн, чаще видится жизнь такой, как она есть. Разве не мальчишка в бессмертной сказке Андерсена «Новое платье короля» увидел его голым, каким он был?

Толлин и его товарищи находились еще в том возрасте, когда глаза невозможно уговорить видеть не то, что есть, а то, что нужно, необходимо или хотя бы желательно благополучия ради.

Гимназия им была ближе всего. А в ней ничего-ничего не изменилось, если не считать замены некоторых слов в молитвах, замены гимна «Боже царя храни» гимном «Коль славен наш господь в Сионе» и замены портрета царя картиной лихой битвы казака Кузьмы Крючкова, посадившего на пику сразу чуть ли не семнадцать солдат вражеской армии.

— Разве только для этого свергли монархию? — резонно спрашивал Коля Сперанский у своих единомышленников, собравшихся в раздевалке нижнего этажа. — Нужно не ждать Учредительного собрания, а добиваться того, чего можно добиться.

Коля Сперанский едва ли сам по себе говорил это все. Он часто бывал у Аркадия Викентьевича Грачева, одинокого учителя рисования,

который никогда не выступал и, ни с кем не пререкаясь, имел свои суждения.

— Нужно ли ждать Учредительного собрания, чтобы заставить уйти из гимназии Слепую кишку, чтобы вернуть в гимназию сына подпольщиков Киршбаумов, чтобы сделать необязательным предметом закон божий, чтобы сделать обязательным предметом изучение одного из ремесел, чтобы назвать гимназию общеобразовательным политехническим училищем? Ведь такой же ее хотел сделать Всеволод Владимирович.

В раздевалке Колю Сперанского слушали до десяти гимназистов из разных классов. Тут были Волька Пламенев, Митька Байкалов, Бату Мухамедзянов, второй брат Сперанский, Геня Шумилин, и все они одобряли Сперанского.

— Тебе и быть председателем стачечного комитета, — сказал очень серьезный Федя Кравченко, сын хорошего и любимого в заводе инженера.

Программа требований и все ее пункты были приняты с восторгом. Добавлений оказалось немного. Только два. Воля Пламенев предложил:

— Если мы требуем, чтобы убрали Калужникова, так должны же мы кого-то и провозгласить — я настаиваю на слове «провозгласить» — нашим директором.

И был принят новый пункт: «Требуем провозгласить директором учредителя нашего учебного заведения Всеволода Владимировича Тихомирова».

Предложенное Мавриком не прошло. Он хотел сбросить в пруд ненавистного медведя. Все сказали, что в гимназии этого не решить, однако все нашли требование правильным и революционным.

## VII

Был выбран стачечный комитет. Маврик вошел в него кандидатом. Зато его выбрали делегатом для вручения ультиматума и требований.

На другой день, до начала уроков, Толлин, с красной повязкой на правом рукаве, что должно означать — революционер, и с белой

повязкой на левом рукаве, означающей — парламентар, вошел в учительскую.

Там собрались почти все учителя, даже те, у которых не было первых уроков. Они знали о забастовке, и многие хотели ее, хотя и скрывали это.

Толлин вошел, остановился, сделал общий глубокий поклон и сказал, как было велено, очень вежливо:

— Прошу извинения. — Затем, чтобы не заикнуться, он сделал паузу вдох и выдох — и подошел к протоиерею, подал хорошо переписанные, без единой пропущенной запятой, листы и сказал без обращения, как было велено старшеклассниками: — Ультиматум.

Калужников, не прикоснувшись к положенным перед ним листам, не взглянув на них, сказал:

— Читением не удостою. Перешлю при случае в округ. Пусть решают там. Затем, повернувшись спиной к парламентару, отошел к окну.

Это было слишком оскорбительно. Толлин еще раз поклонился всем и, не удержавшись, объявил, не заикнувшись:

— Забастовка начинается сегодня.

Стачечный комитет, стоявший у дверей учительской в полном составе, слышал, а кто-то и видел в щелочку, что происходило там.

Вместо ожидаемого звонка затрубил охотничий рог. Его принес Байкалов. Затем послышался бой ротного барабана гимназии. Он бил тревогу. Дежурные выстраивали свои классы в коридоре второго этажа. Председатель стачечного комитета объявил:

— Наши требования не стали даже читать. Забастовка начинается сегодня. Сейчас. Организованно и спокойно идите в раздевалку. Пикетчики, по местам!

Забастовка началась.

Митька Байкалов, довольный своим избранием на пост начальника пикетов, успел дать по уху толстомясому Левке, оставшемуся в классе, и замахнуться на Сухарикова. Ударить такого, у кого «еле-еле душа в теле», было невозможно. Это все равно что бить ребенка.

Учащиеся младших классов, которые не должны были участвовать в стачке, не могли не воспользоваться ею. Это два, а то и

три свободных дня. Там тоже оказался свой стачечный комитет. И они тоже ринулись, хотя и менее организованно, в раздевалку.

В этот же день сестра и брат Киришбаумы, сидя у Матушкиных, обсуждали, что можно предпринять, чтобы вызволить Анну Семеновну. И когда было решено, что в Пермь с письмами от Мильвенского Совета депутатов поедет Илья, раздался тихий стук в ставню окна.

Емельян Кузьмич вздрогнул. Это был очень знакомый и точный условный стук.

— Неужели он вернулся?! — крикнул побледневший Матушкин и побежал к двери.

Не прошло и минуты, как Емельян Кузьмич завопил, запел, захлопал в ладоши:

— Господи, да святится имя твое... Сто чертей и одна ящерица! Да неужели ж это вы?

На пороге стояли сияющие, смеющиеся, исхудавшие и, судя по всему, голодные Григорий Савельевич в солдатской шинели и Анна Семеновна в чужом стареньком пальто.

— Мамочка!

— Папа!

Дети повисли на шее родителей. Шум, визг, слезы и крики...

— Теперь все позади... Теперь все позади, — успокаивает Григорий Киришбаум не то детей, не то жену, а может быть, свои пошаливающие нервы.

## VIII

В Мильве все говорили об ученических забастовках. Женская гимназия забастовала в знак солидарности с мужской. Чтобы не дать выгядеть забастовке «пустой», были предъявлены требования не обязывать гимназисток появляться только в форменных платьях и разрешать носить прическу с шестого класса, а также не ограничивать цвет чулок только черным и темно-коричневым. Требовалось также отменить внеклассный надзор, хотя такового и не было, да и некому его было вести.

Городское училище не могло не забастовать хотя бы потому, что какие-то гимназисты-трубочисты бастуют, а «городские» не участвуют в революции. Учащиеся городского училища требовали для детей солдат бесплатную одежду, учебники и завтраки. Требовали пятого класса, в котором было бы можно по желанию получать специальность: чертежника, разметчика, табельщика, конторщика, делопроизводителя и нормировщика.

Всеволод Владимирович считал забастовку неизбежной потребностью возраста и своеобразным откликом на события, происходившие в стране. Видя, как его питомцы с деланно серьезными лицами разговаривали друг с другом, он находил закономерным и это подражание взрослым. Он знал, что бастующие, устроив себе такие необычные каникулы, непременно возместят пропущенные дни удлинением учебного года и укорочением летних каникул.

С Калужниковым после истории на молитве с отменой пения гимна Всеволод Владимирович старался не разговаривать. Тихомиров знал, что в учебном округе сидят те же лица, что и при царе, и там та же косность, что и была. И что Калужников как был, так и останется исполнять обязанности директора. Однако Всеволод Владимирович ошибался. Старым чиновникам приходилось лавировать и приспособливаться к времени, делать хотя бы вид, что происходят решительные перемены.

Неожиданно для всех явился чин из учебного округа. Его не послали бы сюда через снега и леса, но забастовка гимназии звучала политическим протестом. И требования гимназистов были составлены настолько солидно, что за ними чувствовалась та сила, с которой нужно было ладить.

По приезде чина из округа, человека обходительного, приветливого, вкрадчивого, носившего благозвучнейшую фамилию Алякринский, через пикеты была передана покорнейшая просьба к учащимся собраться в актовом зале и поговорить по существу требований бастующих.

А накануне уже пронесся слух, что по причине присоединения к Мильве двух новых церковных приходов отец протоиерей вынужден отдать бразды управления гимназией, которые он держал временно, другому лицу.

Это уже можно было назвать уступками, которые удивили учителей и Всеволода Владимировича.

На другой день Алякринский выступил перед учащимися и начал с того, что его, как поборника новшеств и сторонника реформ на ниве народного просвещения, приводят в неопиcуемый восторг и священную зависть не только лишь слог ультиматума и умение лаконичнейше выразить свои требования, но и само существо манускрипта.

Раздались шумные аплодисменты. Он и рассчитывал на это. Много ли нужно безусым забастовщикам, если усатых и старых, выдавших виды рабочих ловко умели обводить вокруг пальца подобные мастера усыпительного обмана, каких теперь появилось так много, и не только в чиновных кругах, но и в рабочей среде, называющих себя священными именами социалистов, демократов, революционеров, а на деле оказывающихся соглашателями, примиренцами, прихвостнями и слугами тех, с кем нужно бороться и кого нужно досвергать.

— Учебный округ поручил мне поздравить, — продолжал Алякринский, провозглашенного вами, благодарные питомцы, выдающегося и бескорыстнейшего учредителя вашей родной гимназии ее директором и вручить уполномочивающие на директорствование манускрипты. — Он, видимо, любил это латинское слово.

Теперь кричали «ура» все. И учащиеся, и школьный сторож, и два истопника, стоящие в коридоре.

— Далее по пунктам, — продолжал он все так же галантно и всепочтительнейше. — А разве ваша гимназия не является политехнической, коли в ней свои мастерские?.. Разве она не будет политической, коли учебный округ рекомендует ввести обязательным предметом изучение политической экономии?.. Что касается переименования... В названии ли дело? И если вы назовете меня не Алякринским, а Мараклинским, изменюсь ли от этого я?

Шутка очень понравилась всем, и особенно преподавательнице немецкого языка Нинели Шульгиной, которая тотчас же опустила глаза, изобразив своим ртом маленькую-премаленькую букву «о», и принялась мять свою сумочку.



Видя свое отражение в сердцах, душах учащихся и прехорошенькой учительницы немецкого языка, Алякринский заговорил о законе божием:

— Что же касается изучения этого учебного предмета, то я бы от себя лично позволил заметить, что это дело совести, благоразумия и дальновидности каждого из учащихся и главным образом родителей...

Опытнейший оратор возвращение в гимназию Киришбаума приберег напоследок.

— Меня поражает, — воскликнул он, — как можно просить о восстановлении исключенного круглого пятерочника Ильи Киришбаума, коли его восстановила сама революция, сметающая все несправедливости!

Снова взрыв радости.

Алякринский, сняв пенсне, касаясь белоснежным платком глаз, прочувствованно сказал:

— Как поразительно... как трогательно совпадают наши мысли...

Забастовка кончилась. Учащиеся с революционными песнями разошлись по домам, чтобы рассказать родителям и всем, кому можно, как они выиграли забастовку.

Вечером Алякринский был зван к нотариусу Шульгину. На другой день к доктору Комарову. Тут и там была прелестная Нинель, которую в гимназии, как учительницу немецкого языка, называли Ниной Викторовной. На третий день был большой званый вечер у того же Шульгина. А на четвертый день в гимназии не было уроков немецкого языка. Засидевшаяся в старых девах Нинель сбежала с Алякринским, и нужно было подыскивать новую учительницу.

## ВТОРАЯ ГЛАВА

### I

Наш добрый знакомый Терентий Николаевич Лосев был прав, поучая в прошлое лето молодых грибников:

«Если ты хочешь собрать в свою корзину хорошие грибы, не бери в нее крошливых синявок, горьких свинарей и всякую шушеру-

мушери. Их потом будет трудно выбирать и выбрасывать, а хорошие грибы будут не во что класть».

Руководствуясь этим правилом, мы не должны бы брать в нашу корзину таких мухоморов, как, например, Алякринский.

Между тем он и Всесвятский, будучи поганками различной ядовитости и несхожей окраски, представляли собою не единичные экземпляры, а грибные колонии ведьминых колец, окружающих благородные по своей идее государственные и общественные учреждения. Например, Советы рабочих и солдатских депутатов, деловые советы заводов и фабрик, комитеты общественной безопасности.

Особым грибом был доктор Николай Никодимович Комаров. Он говорил:

— Я, наверно, и сам не знал, что во мне жили подспудно социалистические идеи. А теперь они прорвались с такой силой, что я готов целиком отдать себя революции.

Кулемин и Киршбаум, разговаривая с доктором за чашкой чая в его домашнем кабинете, понимали, что этот хорошо обеспеченный человек, почти единственный в Мильве доктор с большим окладом и еще большей практикой на дому, может позволять себе строить убыточные кумысолечебницы, вроде пустующей сейчас Комаровки, субсидировать постановку спектаклей общества любителей драматического искусства, широко принимать и щедро угощать гостей... А теперь у него новое увлечение. Он выступает на митингах, читает лекции по медицине, истории, народному просвещению, по театру. Комаров образованный человек, и его приходят слушать многие. Говорит он ярко, вдохновенно и вообще-то правильно. Но говорит он не для других, а для себя. И вся его бурная деятельность — это самоуслада. Ему хочется нравиться, как и Алякринскому. Он также из тех пустых грибов, у которых приятный цвет, тонкий запах, солидная внешность, а внутри — ничего.

Артемию Гавриловичу Кулемину хочется спросить, надолго ли Комаров намерен целиком отдавать себя революции, но зачем обижать в общем-то безвредного, а сейчас даже в чем-то полезного человека. Другое дело — Игнатий Краснобаев. Он тоже пожаловал на воскресный чай к доктору Комарову и, несколько задержавшись, приносит сейчас свое «прошу покорнейше простить».

В Краснобаеве революционная одержимость прорвалась тоже неожиданно как для него, так и для окружающих. Зато Игнатий Тимофеевич сразу очутился на больших ролях. Второе лицо в Совете рабочих и солдатских депутатов. Непременный кандидат делового совета по управлению заводом. Сам Турчанино-Турчаковский советуется с ним более, чем с кем-либо, и зазывает его к себе на демократические пельмени.

Сейчас Краснобаев назначен зауряд-техником механического цеха. Подобное инженерно-техническое звание придумал Турчаковский для лиц, не получивших технического образования, но имеющих богатый практический опыт.

Турчанино-Турчаковский, как вскоре оказалось, тоже, не зная сам, носил в себе идеи революционного преобразования. И одним из них было присвоение звания заурядтехника Краснобаеву и освобождение его с сохранением жалованья от посещения цеха ввиду несения им тяжкого бремени выборных должностных обязанностей.

— Всего ничего, пять кварталов до вас пройти, Николай Никодимович, — начал объяснять свое опоздание Краснобаев, — да на каждом квартале желающие поговорить о делах.

Краснобаев уже встречался с Киршбаумом и не расспрашивал более его. Он знал, что увечье левой руки Григория Савельевича дало ему освобождение от воинских обязанностей по чистой. Он знал теперь, что Артемий Кулемин, работавший в глубоком подполье, будет открыто бороться с меньшевиками. Поэтому, кроме внешней «обходительности», у него с ними ничего не могло быть.

Теперь и внешне Краснобаев был другим. Он вживался в новый френч с четырьмя накладными карманами, сшитый по совету Турчаковского, сказавшего, что и одежда должна соответствовать новому высокому положению Игнатия Тимофеевича, который, может быть, и даже не может быть, а наверняка, будет избран в Учредительное собрание от Мильвенского завода.

— У кого восьмичасовой рабочий день, а мне шестнадцати мало, — рассказывал Краснобаев о своей работе. — Ну да на это грех жаловаться. Революция требует жертв. Не так ли, Артемий?

— Откуда мне знать, Игнатий? — отозвался, опуская глаза, Кулемин.

— Зачем же такая скромность? Ты пострадал за революцию. Конечно, если б плаже да тише, так можно было бы и миновать тюрьмы.

— Кто как умеет, Игнатий, — сказал Кулемин, не подымая глаз на своего давнего соседа, с которым когда-то он делился сокровенными мыслями, находя в его душе живой отклик. Мог ли думать он, что этот Игоня Краснобаев окажется соглашателем, прислужником Турчаковского, зовущим терпеть, доводить войну до победного конца и повиняться во всем Временному правительству, правительству буржуазии.

Но это еще что... Не пройдет и двух лет, как Краснобаев будет искать большевиков — родного брата Африкана и Артемия Кулемина, чтобы покончить с ними на месте без суда и следствия. А теперь они пока пьют чай за одним столом, борются всего лишь словесно.

— Говорят, Игнатий Тимофеевич, вы купили недавно резвую лошадку? — спросил, не скрывая улыбки, Киршбаум.

— Купил. А почему бы и не купить, когда теперь так много езды? — ответил Краснобаев. — К тому же мы ведь, как говаривал старик Зашеин, «не какая-нибудь пролетария, а коренной рабочий класс». И лошадь у нас, и дом, и все прочее — обязательное обзаведение.

— Да-а... Вы ведь и новый дом купили. Кажется, у вдов. У солдаток.

— А что?

— Ничего. Я вот не купил, а даже потерял квартиру. — Произнеся эти слова, Киршбаум без умысла положил на стол изуродованную руку.

Краснобаев отвернулся, умолкнув. И все умолкли. Теперь разговаривала только левая рука Киршбаума. Она говорила примерно так: вот ты просидел всю войну в тылу, ловчился, зарабатывал на военных заказах, купил новый дом, а теперь оказался у власти и пользуешься за счет завода привилегиями, грешишь против своей рабочей совести, ищешь оправдания своему примирению, ладишь с отъявленным притворщиком Турчаковским, следуешь его советам, обманываешь хотя и вынужденно, но все же обманываешь, рабочих, произнося успокоительные речи...

Неприятную правду говорила рука фронтовика. Нужно заставить ее замолчать.

— Ты опять, Григорий Савельевич, будешь штемпельную мастерскую открывать? — спросил Краснобаев.

— Кому она теперь нужна?

— Есть-то ведь надо.

— А разве ты не поможешь мне найти работу на заводе? У меня же осталась правая рука. И сам я полон сил.

— Нет, почему же не помочь, — ответил Краснобаев. — Я всем помогаю. Но свое-то дело открыть было бы надежнее для тебя. Живо бы в твердую колею вошел и одежонку бы справил... И сына бы доучивать стал. О революции помни, но и о себе не забывай...

— Игнатий, — громко спросил Кулемин, — читаешь ли ты хотя бы изредка наши газеты?

— Нет. А что?

— Сильная статья там была нашего земляка Тихомирова Валерия Всеволодовича.

— Жив?

— И не думал умирать. Таких бесстрашных людей смерть боится.

— А о чем он пишет?

— Статья называется: «Одна правда на свете». Начинается эта статья такими словами: «Кто старается понравиться и угодить всем, становится для всех противен и ненавистен...» — отчеканив так каждое слово, Кулемин поднялся и откланялся. — Просим прощения, нас с Григорием Савельевичем ждут у Матушкиных, так что имеем честь...

## II

В скучную, одинокую жизнь Любове Матвеевны недавно пришло приятное известие, а за ним другое. В первом сообщалось, что ее Герасим Петрович теперь уже не нижний чин. Он произведен. Он зауряд-военный чиновник. Почти офицер, но не строевой.

«Почти техник, но не техник», — говорил себе Маврик, зная, что Игнатий Краснобаев теперь стал тоже «зауряд».

Во втором известии говорилось о приезде отчима Маврика. Любовь Матвеевна вынула из сундуков ковры, приобретенные на пиво, покрыла кровати плюшевыми одеялами, расставила все добытое в отсутствие мужа, чтобы он сразу же по приезде оказался в уюте не худшем, чем у людей.

Новые шторы. Новые занавесочки. В буфете три сервиза. Новая оленья доха и новое штучное ружье. Уже ждет примерки костюм для визитов.

Хотя Вишневецкий теперь и не тот гость, которого можно звать, однако же, если бы не он, так умно подсказавший ей, как нужно распорядиться пивом, обреченным на слив в снег, то было ли бы у нее это все? Пристава, наверно, все-таки следует пригласить. Конечно, без гостей и поздно вечером.

Герасим Петрович приехал раньше, чем его ждали. Он появился в офицерской шинели. В серой каракулевой папахе. На погонах по звездочке. Ириша дичится отца. Она не помнит его. А он не спускает ее с рук. Раздаются подарки. Маврику преподносится фотографический аппарат фирмы «Ернеман» со всеми принадлежностями.

Пусть с запозданием, но пришел аппарат. Теперь можно накапливать повествовательные фотографические альбомы. И Маврикий готов сделать первые снимки. Но...

Отчим говорит:

— Еще не кончился учебный год, Андреич. Аппарат может отвлечь тебя. А кроме того, я купил эту дорогую и серьезную вещь на будущее... Когда ты подрастешь.

Аппарат и принадлежности собираются и складываются в сундук. Мать молчит. Она, конечно, всем сердцем хочет отдать сыну аппарат. Он так был нежен с ней все это время. Мать видела в нем свою опору. Она знала, что из него получится хороший человек. Кем он станет, было трудно предположить. Она не исключала увидеть его учителем, сочинителем пьес, начальником типографии или почты. Кем бы он ни стал, мать может положиться на него как на кормильца. Эти мысли пришли в голову, потому что Герасим Петрович приехал удивительно красивым. Форма так шла к нему. А она за эти годы изменилась не к лучшему.

Все бывает в жизни. К тому же... он моложе ее.

Приезд отчима вернул оскорбительное прошлое. Маврика не называли петрушкой, но это прозвище так недвусмысленно подтверждалось подаренным и тут же отобранным аппаратом.

Чтобы не уронить себя, чтобы скрыть свои страдания, Маврикий, сказав, что послезавтра трудная диктовка и ему нужно готовиться к ней, ушел из дому, еще раз поблагодарив отчима за дорогой подарок.

Маврик направился к тете Кате в Замильеве через плотину и, как это бывало часто, задержался у медведя. Все привыкли к тому, что на его горбу оставалась корона. Даже кто-то из просвещенных людей сказал, что эта корона никому не мешает и ничем не угрожает, как и все цари и царицы, остающиеся жить памятниками в Петрограде и в других городах.

Маврик не соглашался с этим. Каким памятником, чему памятником может быть царь, восседающий на коне посреди площади? И если он не колебался относительно памятника Петру Первому, то для остальных царей в его душе не было исключения. И тем более его не могло быть для этого зубастого зверя с короной на горбу.

Разглядывая с младенческих лет знакомый монумент, Маврик думал о шестиглавом чудище, которое он топчет и которое совершенно определенно еще в прошлом году называли крамолой, то есть революцией. Какая же еще могла быть бóльшая крамола против царя? И с этим нужно мириться?

Маврику вдруг захотелось пойти к Киршбаумам, и он направился к ним. Всю дорогу он думал о медведе и, придя к Киршбаумам, продолжил свои мысли вслух.

Григорий Савельевич был очень весел. Сегодня он узнал, что с каторги возвращается старейший мильвенский революционер, организатор первого нелегального кружка «Исток» — Родионов. Теперь прибавится еще один большевик. И может быть, его можно будет провести в Совет.

Киршбаум, соглашаясь с Мавриком относительно медведя, сказал: — Едва ли можно придумать более злую сатиру. Российский капитализм был горбат от рождения. И он сгорбился еще больше, когда стал матерым зверем. Таким он остается и теперь. Горбатого может исправить только могила.

Для Маврика стало непреложно, что горбатый медведь олицетворяет капитализм и что такое олицетворение терпеть на плотине завода нельзя. И Маврик предложил:

— Хорошо бы его сбросить с камня в пруд. Тут очень глубоко. Леска в семнадцать колен не достает до дна. Это больше пяти саженей. Со дна пруда никто и никогда не поднял бы медведя.

— Кому нужно, Маврик, возиться с этой махиной? В нем же, наверно, пудов двести. А то и больше, если он отлит не пустотелым. Хорошо, если б с него хотя бы свинтили корону.

Об этом тоже думал когда-то Маврик. А теперь он твердо решил отвинтить корону и сбросить в пруд.

Этим планом он поделился с Ильюшей.

— А что ты думаешь, Мавр, и свернем. Нужно только узнать размер гаек и подобрать ключ.

Залезая мальчишкой на медведя, Маврик точно помнил, что корона привинчена четырьмя большими гайками, но каков их размер — он не знал. Ему на память пришел раздвижной французский ключ. Тот самый французский ключ, что изображен скрещенным с молотом на фуражках техников. Если бы достать такой ключ!

Оказалось, что можно достать и не такой, а цепной, с большим рычагом.

— Перед таким ключом не устоит никакая гайка, — заявил знающий Илья. — И такой ключ есть у Терентия Николаевича.

Услышав это дорогое имя, Маврик вспомнил, как он всегда потакал их затеям. И уж если кому-то можно было довериться без опасений, то только ему, верному другу детства. Захотелось взять в компанию по свертыванию короны и Санчика Денисова.

— Решено?

— Решено!

### III

А дальше все было как в сказке. Санчик, конечно, немедленно согласился раскороновать медведя. Терентий Николаевич тоже сказал:

— В чем дело, рабочий класс? Только керосинчику все ж таки нужно захватить. Вдруг да прикипели, приржавели гайки к болтам.



Ночь была мглистая и теплая. На счастье, не горели на плотине дуговые электрические фонари. Полицейского поста не было и в помине.

Три друга благополучно отвернули три гайки. Четвертую заело.

— Значит, и на мой пай осталась гаечка. Спасибо, не обошли своего старого дружка.

Терентий Николаевич полез на памятник, и гайка с первого же рывка отломилась вместе с изоржавевшим болтом.

Самое легкое оказалось самым трудным. Корона была литой и тяжелой. Ее нужно было, во-первых, снимая с анкерных болтов, приподнять, а потом скатить с горба по хребту к хвосту, не дав ей сползти по боку медведя.

Нашлась доска. Доску подвели под корону. Затем протащили по доске к хвосту и скинули в пруд. Корона будто сама рвалась в воду. Покатившись, она не упала на кромку, а булькнула в промежуток отбитого от кромки плотины льда. Так что не пришлось и спускаться на лед.

— Теперь скорым ходом-пароходом по домам! — скомандовал Терентий Николаевич.

Дуговые фонари зажглись до того, как Маврик пришел домой.

О похищении короны с горбатого медведя стало известно ночью. Утром об этом узнали рабочие, идущие в завод через плотину, а затем и весь завод.

С наступлением дня по плотине нельзя было ни пройти, ни проехать. Всем хотелось посмотреть на медведя без короны. И всех это страшно потешало. Медведь с болтами, торчащими из горба, выглядел дурашливым зверем из балагана. И кто-то уже потешался, заметив это:

— А как, Миша, мильвенские молодайки по воду ходят?

И казалось, что медведь подымет на дыбы и начнет услужливо паясничать.

Побывал на плотине и доктор Комаров. Он сказал:

— И очень правильно сделали... Если он нес на своей спине эмблему, не соответствующую времени, ее нужно было сбросить, как сбрасываем мы все противоречащее нашему революционному духу...

А на обратном пути, едучи в своих легких санках, доктор пожалел, что не было торжественного церемониала сбрасывания

короны. Как бы это могло быть театрально... Корону можно было бы осквернить, а затем отправить в печь для переливки на оборону.

Турчанино-Турчаковский тоже имел суждение по этому поводу на деловом совете:

— Я и сам думал об этом, да постеснялся выглядеть слишком левым. Мне давно казалось, что корону следует заменить якорем.

— А почему именно якорем? — играя в некоторую оппозицию, по крайней мере интонационно, спросил неперемный кандидат делового совета и зауряд-техник Краснобаев.

— Якорь, Игнатий Тимофеевич, — мягко принялся отвечать Турчаковский, — помимо того, что является давнейшим изделием нашего завода, еще аллегорично олицетворяет собою надежду! Это символ надежды.

— А на что? — спросил снова с наигранной ершистостью Краснобаев.

— Все люди во все века надеялись на что-то! — с той же мягкостью разъяснил Турчаковский. — А теперь, после революции, мы живем столькими надеждами! И такими, — он простер руки, — великими надеждами.

— А как же насчет крамолы, которую попирает медведь?

— Игнатий Тимофеевич, это не крамола, а са-мо-дер-жа-ви-е... Ненавистный царизм растаптывает русский народ в образе проснувшегося после вековой спячки могущественнейшего исполина леса, которого из черного нужно перекрасить в... во всяком случае, подсветлить.

И всем это понравилось. Было велено подыскать четырехлапый якорь или отковать новый по размеру.

#### *IV*

В Мильве каждый день что-нибудь да случалось, и ничего не происходило существенного, изменяющего жизнь, становившуюся день ото дня труднее.

Из несущественного, занявшего некоторое время внимание узкого круга лиц, была продажа дома приехавшей Мильву Соскиной. Она вышла замуж и уезжает в Питер. У нотариуса Виктора Самсоновича

Шульгина, всегда восторгавшегося особняком и парком Соскиной, никогда не хватило бы денег на покупку дома Соскиной, а теперь их оказалось более чем достаточно. Соскина просила очень немного, но золотыми монетами. А они были у дальновидного нотариуса. Он взял свой вклад из казначейства на другой же день объявления войны. И взял золотом.

Придя к Соскиной для завершающего разговора, Шульгину предстояло познакомиться с ее мужем. Он не сразу, но и не так долго узнавал в важном господине с шелковистой бородкой Антонина Всесвятского.

— Извините, если мне показалось, что мы были знакомы. И если мне это действительно показалось, то давайте знакомиться.

— Как вам угодно, Виктор Самсонович. Я человек свободный и независимый во всех отношениях.

— Чем же вы изволите заниматься? Уж не состоите в какой-либо из партий?

— Да. Я представляю собою партию анархистов-индивидуалистов.

— Не слышал-с такой.

— Это новейшая партия. Она легко умещается в одном пиджаке. Мне кажется, вы тоже представляете из себя такую же партию, хотя, может быть, не зная того.

Сделка не заняла много времени. Соскина умчалась в Петроград, где ее ждет полное разорение. Всесвятскому понадобились соскинские миллионы на подкуп охраняющих бывшего царя, который должен быть выкраден и перепродан тому из союзных правительств, которое дороже заплатит. Главное — выкрасть, а продать не трудно. Царя могут купить и частные лица, чтобы в свою очередь нажать баснословные суммы. Это стоящая афера. Дело не только в деньгах, но и в мировой славе. Не так часто в истории мира воровали и продавали царей. Не предали бы только сообщники и не погубили бы гениальную затею, дав маху или струсив в последнюю минуту. Что ты ни говори, хоть и бывший, но император...

В России давно, а может быть, и никогда еще не было такого разновластия, такого многопартийного ералаша, и если не теперь, то когда же выходить на большую арену.

А в Омутихе, на мельнице, в бывшем тихомировском доме, строились свои планы. Они были несравненно мельче и благовиднее, хотя суть их была той же самой — воспользоваться «неразберихой», добыть, приумножить то, что обесценилось в сумятице войны и нетвердости в управлении, чтобы потом, когда все войдет в свою норму, когда появится новый царь, или президент, или какая-то разумная коалиция, обесцененное сказало свою настоящую цену. Поэтому, если мужики под шумок рубят казенный лес и продают почти даром за посевное зерно отличные бревна, бери их, Сидор Петрович, складывай, укрывай. Есть-пить не просят. Брошенный овдовевшей солдаткой клин земли будет стоять подороже золота. Покупай, да делай вид, будто ты это жалеючи соглашаешься взять маловажную землю.

Глупо скупать скот. Он требует ухода, а медь, листовое железо, сортовой прокат, что тащат с завода недоедающие люди, тоже подымется в цене, как только люди, прикончив войну, начнут латать свои прорехи.

Кому теперь нужен тот же гвоздь? Кто строится теперь? А как понадобятся гвозди, когда вернутся уцелевшие на войне?

На горбатом медведе нет короны, но медведище царствует. Он ведет за собой еще многих людей, и ему еще очень многие поклоняются.

Как же сломать это все и можно ли сломать? Как выправить горбы людям? Горбатых много. Нельзя же их всех исправлять могилами. Это жестоко до невозможности.

И однажды, задумавшись у окна в квартире тети Кати, где поселилась она вместе с тишиной, Маврик спрашивает:

— Правда ведь, тетя Катя, я стал серьезнее?

— Ты всегда был серьезным мальчиком. Серьезным и жизнерадостным.

— Нет. Это неверно. Я никогда не был серьезным. И может быть, никогда не буду. Вообразив себя поэтом, я написал глупый роман в стихах. Вообразив себя взрослым в восемь лет, я поверил, что Лера влюбилась в меня. Это же глупо.

— Почему же? Если б я была Лерой, то разве бы я взглянула на кого-нибудь?

— То ты, тетя Катя. В любовь играть нельзя, как и в революцию. А я играл... Забастовка в гимназии разве не была игрой? Разве эта игра не продолжается?.. Тетя Катя, не перебивай!.. Мне пятнадцатый год. И если бы не мой низкий рост, я бы походил на мужчину.

— Да ты и сейчас походишь, Мавруша. Очень походишь!

— Нет. Я хочу походить. Я играю в мужчину. Тетя Катя, когда же, когда из моей жизни уйдет игра, уйдет детство, которое не отстает от меня? Ведь отвинчивание короны с медведя на плотине — это тоже было мальчишеством.

— Это ты отвинтил ее, Мавруша?

— Тебя это пугает, тетя Катя?..

— Нет, нет. Мне почему-то хотелось думать, что это сделал ты. И, конечно, Ильюша. И, конечно, Санчик.

— И, конечно, Терентий Николаевич. Это он разболтал тебе.

— Нет, Маврик, я могу поклясться, мне этого никто не говорил.

— Как это удивительно! Наверное, ты и я — это почти что одно.

— Наверно.

— А с папой я, кажется, на разных политических позициях.

Екатерина Матвеевна не отозвалась на это. Тогда Маврик спросил прямее:

— Так много партий, что не запомнишь их всех. Какая, ты думаешь, лучшая?

— Я так далека от всего этого и даже не знаю, как ответить.

— И не можешь посоветовать мне, какую лучше выбрать?

— Зачем же тебе советоваться со мной? У тебя столько хороших и умных друзей. А я скажу тебе, что ранний и торопливый выбор партии тоже может оказаться игрой...

— Это верно, — согласился Маврик, — но нацеливаться и разбираться в политике нужно уже сейчас...

## V

Тетка и племянник теперь сдружились по-новому. Как взрослый с взрослым. И тем более было странным то, что в разговорах они почти не касались Ивана Макаровича Бархатова.

Они скрывали друг от друга то, что потеряло всякий смысл держать в тайне.

На другой же день, когда в Мильве стало известно о падении монархии, счастливая Екатерина Матвеевна хотела рассказать своему самому близкому человеку о том, как с первой встречи в Перми у нее проснулись добрые чувства к Бархатову и как потом, после его приезда в Мильву, она поняла, что любит Ивана Макаровича. Боясь этого чувства, уходя от него, она приближалась к нему. А потом, когда она поняла, что этот прекрасный человек достоин большего счастья, чем она может принести ему, пренебрегла всем. Богом, который тогда еще был в ней сильнее всего. Церковным браком. Боязнью быть сосланной, ославленной, осмеянной. И она встретилась с ним в маленьком уездном городе Оханске.

Она нашла бы слова для племянника, чтобы тот не осудил свою тетку. Она сумела бы раскрыть перед Мавриком душу ее мужа и показать, как богата и как щедра эта душа человека, отдавшего себя людям. Екатерина Матвеевна рассказала бы о встречах с ним в Елабуге, в Верхотурье, не утаив ничего.

Прошлое в ней не было сильнее ее большой любви, но все же оно давало себя знать. И что скажет соседка, как отнесется к этому родная сестра, для нее не было безразлично. И тем более очень важна была для нее оценка Маврика. Так уж была устроена Екатерина Матвеевна.

Откладывая со дня на день разговор с племянником о своем замужестве, она в конце концов пришла к заключению, что будет правильнее, если обо всем этом расскажет ему сам Иван Макарович. От него все это время не было никаких известий. И это удерживало Екатерину Матвеевну от разговора с племянником.

А почему же Маврик, зная все, не подсказал тетке счастливого для них обоих разговора?

Прежде всего, как и раньше, он считал неуместным вмешиваться в тети Катины тайны. Может быть, все на самом деле не так, как ему хочется думать и верить? Может быть, как случается с самыми хорошими людьми, они разонравились друг другу? Ведь почему-то от него нет никаких известий, хотя теперь он и мог бы написать открыто. И это тоже заставляет думать, что в их отношениях произошли не очень хорошие изменения. Зачем же напоминать о нем тете Кате и ранить ее, заставляя стыдиться, раскаиваться. Нет, он этого никогда

не сделает. Другое дело, что он никогда не сумеет плохо относиться к Ивану Макаровичу. И он не сумеет обвинить его, даже если... Ну, правда же, тетя Катя не так уж красива, хотя и очень цветуща для ее лет... Правда, что она довольно далека от революции, от его борьбы...

Нет, Маврик не будет винить его. А виденное им в Верхотурье на берегу излучины Туры он забудет для всех и для себя.

Но, как бывает обычно, сложные узлы, запутанные истории развязываются нередко просто и быстро. На другой день Екатерина Матвеевна получила от своего мужа письмо и не раздумывая показала его Маврику. И Маврик прочитал:

«Родная моя! Прости меня за молчание. Там, где я был, оттуда не доходят письма. Сегодня с гордостью могу сказать, что выполнил очень большое поручение, такое большое, что даже не могу поверить в то, что было. В ближайшие недели буду на Урале и, конечно, в Мильве. Следующее письмо пошлю завтра, оно будет подробнее. Целую тебя и барашу-кудряшу...»

Тут Маврик прервал чтение и, прикинув к тетке, сказал:

— Я очень счастлив, тетечка Катечка...

Не будем давать волю розовым сентиментальным строкам, которые готовы занять несколько страниц; скажем только, что этот день для Маврика был днем многих и неожиданных развязок.

## VI

Не зная, куда деться от счастья, заполнившего всего его, Маврик решил пробежаться по плотине, плюнуть на ходу в морду горбатому медведю. И это было сделано. А потом ему захотелось побывать на Мертвой горе, где самые ранние проталины. Там начинается весна раньше, чем где-либо в Мильве.

Идя через кладбище, Маврик никак не предполагал, что здесь произойдет драматическая сцена, и даже не одна.

Надо сказать, что кладбище в Мильве вовсе не такое уж мрачное место. Огромные разлапистые сосны, могучие лиственницы в сочетании с лиственными деревьями делают кладбище похожим на парк.

И весной, когда еще всюду снег, здесь немало гуляющих. Были они и сегодня. И среди них Маврик встретил Леру Тихомирову и Волю Пламенева. Они шли медленно по широкой, как улица, аллее. Лера выглядела совсем взрослой. Ей семнадцать лет. Она всегда будет старше Маврика на два года и несколько месяцев.

То ли почувствовав за собой шаги, то ли глаза Маврика, Лера оглянулась.

— И ты здесь, Маврик? Здравствуй!

— Здравствуй, Лера, — ответил на «ты» Маврик. Зачем же он ей будет говорить «вы», когда она говорит «ты»?

Они бы, наверно, как все эти годы, раскланявшись, разошлись, но глаза Леры смеялись, а глаза Воли Пламенева насмехались. Он спросил:

— Уж не назначил ли ты кому-нибудь здесь свидание? — Его глаза насмехались еще более.

В это время, неожиданно до невероятности, меж могил и новых крестов появилась девушка. Это была Соня. Та самая Сонечка Краснобаева, которая шутливо прочилась в невесты Маврику. Соня, не ожидая и, конечно, не желая такой встречи, на секунду замерла, потом спряталась за памятник, похожий на часовню. Лера, заметя это, сказала:

— В самом деле, Маврикий Андреевич, вы, такой влюбчивый молодой человек, наверно, здесь не просто так...

Этого оказалось достаточно, чтобы «завести» Маврика. И он стал говорить не заикаясь, не ожидая от себя таких точных слов. Может быть не только обида, но и прочитанное письмо от Ивана Макаровича придавали ему и силу, и красноречие, и смелость. Он сказал:

— Нет, я никому не назначал свиданий с тех пор, как в вашем доме, на мельнице, посмеялись над моей ребячьей любовью, которую ты, Лера, заставила зажечься во мне под рябинами на Ходовой улице, когда я был ребенком.

Лера заметно смутилась. На ее щеках появился румянец.

Соня Краснобаева не хотела слушать далее их разговор, но какая-то сила удерживала ее.

— Ну что ты, право, Маврик, — сказала тихо Лера. — Это все было милой шуткой...



— Милая шутка стоила мне горьких слез, — сказал Маврик. — Это было первое безутешное горе...

— Но теперь-то, когда все прошло и забылось, зачем вспоминать об этом? — негромко и наставительно сказала Лера.

— Откуда ты можешь знать, Лера, что все забылось и прошло?

Соня снова попыталась покинуть свою засаду и не могла. Хотела и не могла.

— Послушай, ты забываешься! — прикрикнул на Маврика Пламенев, как старший на младшего. — Я запрещаю тебе...

— Запрещаешь? Ты запрещаешь? А разве это в твоих силах? — спросил Маврик. — Разве можно запретить мечтать, верить, надеяться, любить... Этого не может запретить никто... Никто, кроме смерти... — Так он сказал, наверно, потому, что кругом были могильные кресты, надгробные плиты и сама гора называлась Мертвой. — Ты, может быть, запретишь Лере встречаться со мною во сне? Попробуй уведи ее из моих снов!

Пламенев подошел к Маврику и хотел приподнять его за воротник шинели и тряхнуть, как это делают с озорными мальчишками, а затем наподдать коленом, но пронзительный голос Леры остановил его:

— Не смейте, Пламенев! Это бесчестно. Вы хотите воспользоваться своим превосходством?

— Превосходством? — переспросил Маврик. — Каким? Мускулы превосходство быка, но не человека... По-латыни это изречение звучит выразительнее, — сказал он только Лере и затем, поклонившись тоже только ей, заметил: — Какая сегодня хорошая погода. Прошу передать поклон от меня и от тети Кати Варваре Николаевне... Всего хорошего.

Маврик еще раз поклонился Лере и ушел. Удивленная Лера осталась посреди главной аллеи. Обескураженный Пламенев поднял вытаявший сосновый сук и пустил им в удаляющегося Толлина. Сук не долетел до цели. Маврик не оглянулся.

— Тоже мне... — сказал Пламенев. — Щенок, наторевший тявкать трагическими монологами. Доморощенный стихоплет...

Лера не отозвалась, провожая Маврика виноватыми, широко раскрытыми глазами. Она искала слова и взвешивала их. Слов нашлось много, и хороших слов, но почему-то не сказалось ни одно из

них. Наверно, Лере было жаль обидеть Волю Пламенева, который так неожиданно померк, а затем умер в ней и для нее. Как будто ничего не произошло, но что-то случилось непоправимое. И Лера сказала Пламеневу:

— Воля, вам лучше всего сейчас молча оставить меня, если вы хотите на что-то надеяться. Идите же, — сказала она, свернув на боковую просеку.

Маврик был уже далеко. Он не слышал и не видел, что происходило за его спиной. Но все же ему пришлось опянуться. Его догнала Сонечка Краснобаева.

— Мы так давно не виделись и не говорили.

Перед Мавриком стояла тоненькая гимназистка с темными печальными и взрослыми глазами.

— Да, Соня, мы так давно не виделись...

— Какой ты стал большой-пребольшой и умный-преумный. Я всегда верила, что будешь таким, и гордилась тобой.

Маврик, остановившись, настороженно спросил:

— А зачем тебе нужно гордиться мною?

— Не знаю, — тихо сказала Соня. — Только ты все это время жил в моих глазах. Стоило только мне их закрыть, и ты тут. — Соня закрыла глаза, повторяя: — И ты тут. Где бы ты ни был и кто бы ни был с тобой, я никогда не отпускала и не отпущу тебя из моих глаз... Этого мне тоже никто не может запретить, как и тебе видеть во сне ту, которая не стоит ни одного твоего сна, ни одного колечка твоих волос, ни одного лучика твоих глаз...

— Это неправда! — крикнул Маврик.

## VII

Ранняя влюбленность не похвальна, но если она чиста, то за что же ее хулить?

Соня, признавшись Маврику, стремглав умчалась, счастливая, веселая, окрыленная...

Маврик, желая осмыслить события, направился было к бабушке с бабушкой, но его привлек стон и храп.

Меж могильных холмов лежал оборванный, с грязным лицом, заросшим свалывшимися седыми волосами, очень дряхлый старик. Он был смертельно пьян. И смерть сторожила его здесь, на кладбище, где было сыро, а ледяная земля и не думала оттаивать. Маврик не сразу узнал лежащего. Это был изгнанный законоучитель кладбищенской церковноприходской школы отец Михаил. Маврик слышал, что просвирня Дударина очень плохо обращается со своим старым спившимся сударем. Бьет его. Отбирает у него довольно большую пенсию благочинного, ушедшего на покой. Старик, страдающий неизлечимым алкоголизмом, был вынужден просить милостыню или, появляясь у казенки, молить о плотке водки.

Как ужасно, как жестоко поступила с ним жизнь! Но должен ли быть жестоким он — порядочный человек Маврикий Толлин? Не безнравственно ли пройти мимо, не оказав помощи? Маврик побежал за церковным сторожем. Нашелся и другой человек, прирабатывавший на кладбище. Они согласились за предложенные Мавриком деньги стащить пьяного в просвирнин дом, находившийся напротив кладбища.

Просвирне Маврик сказал, что ей придется отвечать перед судом, если она не позаботится о своем гражданском муже.

— Теперь не старое время, — напомнил Маврик, обещая поговорить с протоиерем Калужниковым об устройстве отца Михаила в богадельню.

Что было и сделано Мавриком. Однако же скажем, чтобы не возвращаться к личности кладбищенского попа, что он, попав в режим богадельни, без алкоголя не прожил и двух недель. Но все же умер он по-человечески, не под забором и в трезвом виде.

Покойника никто не провожал до могилы. Даже не пришла с ним проститься просвирня Дударина. Он канул бесславно в черном забытии, как жалкая крупица того мира, которому оставалось доживать не так много дней.

Но этот мир еще существовал, действовал и не собирался уходить.

Он еще верил в себя.

После свержения самодержавия в России возникли две власти: Советы и Временное правительство. А в Мильве их было даже три.

Третья — заводская, управительская, самая сильная власть неувличимейшего Турчанино-Турчаковского и такой же неуязвимой его свиты.

Трудно приходилось большевикам.

Такие, как Игнатий Краснобаев, пагубно влияли на рабочих и вели за собой нередко и тех, у кого не было ни кола ни двора и уж тем более коровы.

Об этом времени Владимиром Ильичем Лениным впоследствии было сказано:

«Гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула все, подавила сознательный пролетариат не только численностью, но и идейно, т. е. заразила, захватила очень широкие круги рабочих мелкобуржуазными взглядами на политику».

В Мильве свой двор, свой скот, свое благополучие дурно сказывались на людских душах, примиряющихся или добронамеренно и добросовестно заблуждающихся.

Были нередки случаи, когда травили большевиков, лгали на них, обливали грязью, придумывали обвинения, распускали самые подлые слухи.

Комитет большевиков, находившийся в Замильвье, приходилось охранять. Пугали разгромом. Подбрасывали анонимные угрожающие письма. Задерживали почту. Не всегда доставляли большевистские газеты. И все же чем больше травили, третировали большевиков, тем слышнее был их голос. С большевиками можно было не соглашаться, но невозможно было опровергнуть того, что они говорили. Потому что это было правдой. Неоспоримой правдой.

Как опровергнешь спокойные, неторопливые речи Емельяна Матушкина, который говорил, что пока в Мильве все перемены свелись к замене на горбу медведя короны якорем. И далее нитка за ниткой разбирает все узоры, которые навывшивали искусники из Временного правительства и их пособники. Он говорил на собрании представителей цехов:

— Торговля была в руках купца, в руках барышника и осталась в его руках. Сидел у власти чин имярек при царе, сидит и при Временном правительстве. Революция, — говорил он, — это не смена

вывесок и названий, а смена хозяев. Что из того, что Турчанино-Турчаковского не титулуют теперь его превосходительством и не называют барином, а он остался им. Да еще усиленным всякими зауряд-соглашателями и освобожденными от работы болтунами, оплачиваемыми заводом, то есть за счет всех вас, товарищи рабочие, — и это правда.

Неоспоримая правда.

Правда и в словах Артемия Кулемина. Он спрашивает, какие изменения произошли на заводе, какие облегчения в труде ожидаются там? Улучшили ли работу в каторжных прокатных цехах? Не по-прежнему ли настоящий хозяин завода гнет спину, работая у станка, у печи, оставаясь бесправным и подчиненным, опутанным красивыми, но пустыми словами.

И снова нечем возразить, но не свергать же новую власть. Она и без того временная даже по названию. Надо все взвесить, обдумать, подождать.

Соглашались и с фронтовиком Григорием Савельичем Киршбаумом, соглашались и тоже чего-то ждали, боялись, медлили. Обдумывали.

Киршбаум говорил:

— Царь начал войну. Это понятно. Теперь нет царя. Зачем же продолжается война? Во имя чего убивают людей? Для чего зовут воевать до победного конца? Чем же Временное правительство, правительство Керенского, отличается от царского?

И снова нет двух ответов. Ясно, что войне должен быть положен конец.

А как?

В Мильве этого не решишь. Не решишь и в самой Перми.

А где же?

Кто же должен решать, коли правительство за войну?

И так, изо дня в день терпеливо разбирая все стороны жизни, в Мильве начинают понимать, что революция, которая произошла в феврале, всего лишь начало великих свершений. Несомненно, крушение царизма — величайшее событие в истории родной страны и населяющих ее народов. Рухнула ненавистнейшая тирания. Низвергнут и развенчан культ монархов, управлявших народами

великой страны по самому нелепому из всех нелепых прав — праву семейно-родовой наследственности.

Этому с трудом будут верить потомки.

Понимая все это, люди также начинали понимать, что власть, отнятая у царя и его приближенных, не перешла к народу. И если где-то были сильны Советы рабочих и солдатских депутатов, то все равно правил тот, кто владел. Как могли распорядиться заводом Советы, если он принадлежал хозяину-капиталисту?

То же и с землей. Невелик землевладелец Непрелов, а он хозяин, и закон охраняет его луга, леса, воды. Значит, кто владеет, тот и правит.

И чтобы изменить этот оставшийся от монархии уклад жизни, нельзя надеяться, что капиталисты добровольно, безропотно отдадут свои фабрики и заводы, свои земли, поместья и все, что принадлежит им и охраняется законом как священная и неприкосновенная частная собственность.

Значит, начатое в феврале должно быть продолжено и доведено до конца. А это было вовсе не так-то просто, когда одна часть населения с трудом читала, а другая значительная часть и вовсе не знала грамоты.

## IX

Работать было чрезвычайно трудно. Мильвенские большевики просили помощи в ЦК. Писали и Якову Михайловичу Свердлову, хорошо знавшему Урал. На большую помощь рассчитывать не приходилось.

Для работы в Мильву посылались два питерских рабочих и выдающийся организатор многих партийных ячеек, близкий к Якову Михайловичу Свердлову, прошедший длительную суровую школу подполья, — Прохоров.

О приезде Прохорова в Мильву стало известно в день открытия обновленного памятника на плотине. После того как были произнесены примелькавшимися ораторами помпезные речи, после того как театрально сполз белый полог, закрывавший перекрашенного под цвет старой бронзы медведя, который нес теперь на своем горбу

четырепалый символ надежды — позолоченный якорь, слово было предоставлено товарищу Прохорову.

У Маврика, стоявшего в толпе вместе с Ильюшей и Санчиком, замерло сердце. На трибуне появился Иван Макарович Бархатов. Хотелось крикнуть. Хотелось побежать к нему. Но разве это возможно? Иван Макарович, может быть, теперь не только не Бархатов, но и не Иван Макарович. Но все равно это тот человек, который навсегда записан в сердце Маврика Иваном Макаровичем. Нужно взять себя в руки и слушать его.

— Товарищи! Граждане! Господа! — начал он. — Якорь, олицетворяющий надежду, лучше, чем корона, олицетворяющая власть царя. Однако же не всякая надежда достойна того, чтобы в честь ее возводились памятники...

В толпе пришедших на открытие перекрашенного медведя, слышавших до этого заумные, высокопарные и расплывчатые речи, возникло оживление.

Люди почувствовали, что этот оратор с короткой бородкой, седеющими висками, с большими глазами, которые горят не жадной похвал, а простым сердечным желанием вскрыть суть, тверд и непримирим.

Так он и говорил:

— Если кто-то, открывая этот памятник, надеется, что царя свергли для того, чтобы расчистить путь к власти капиталистам и помещикам, это — напрасная надежда.

В толпе послышался шумок одобрения.

— Кому кажется, что все уже произошло, — продолжал он, — тот ошибается. Свержение самодержавия — это громадное завоевание нашего народа. Громадное, но не единственное и не самое большое. Главное впереди.

— На что вы намекаете? На что надеетесь? — послышался голос.

Этот голос принадлежал Игнатию Краснобаеву. И он получил ответ:

— На лучшее. На большее. На величайшее. И мы можем надеяться на это. В Россию вернулся Ленин. Вернулся Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

— А много ли вас с ним? — опять крикнул Краснобаев.

— Не очень много, — спокойно ответил Прохоров. — Но все же вполне достаточно, чтобы разоблачить соглашателей, вывести на чистую воду предателей и повести за собой рабочий класс, трудовое крестьянство, всех передовых и честных тружеников.

Слова находили дорогу к сердцам. Маврикий тоже кричал «ура», и «правильно», и «поддерживаем». Но его хватило ненадолго. Ему нужно было как можно скорее побежать в Замильеве к тетке. Но ему в то же время хотелось знать, что будет дальше на трибуне.

А на трибуне приезжий все более и более овладевал вниманием слушающих. В его самых обыкновенных словах звучала большая правда, которую нельзя не понять и не принять.

Так уж ли много мильвенцев в апреле семнадцатого года слышали имя Ленина? А теперь они слышат, как с его голоса говорит встречавшийся с ним этот задушевно простой приезжий человек. И ему невозможно не верить.

Даже Игнатий Краснобаев, заранее, еще до приезда, ненавидевший этого присланного вожака мильвенских большевиков, и тот вынужден заставлять себя напрягать свои силы, чтобы не соглашаться с ним. Духовно противостоять ему. И в висках у него стучит: а вдруг в самом деле такие, как он, поведут за собой народ? А вдруг?!

Торжество открытия памятника неожиданно для организаторов превратилось в митинг, посвященный возвращению Владимира Ильича.

— Так вот, — продолжал Прохоров, — в Россию вернулся Ленин. Он вернулся не для того, чтобы оставаться равнодушным к буржуазии, захватившей власть в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата... Но пролетариат наращивает свое могущество, свою организованность и свою решимость!

Снова пронесся гул одобрения. Это еще более воодушевляло оратора, и он сказал:

— Власть должна принадлежать тем, кому принадлежит все — от этого старого завода до этой трибуны. Все, созданное трудовыми руками народа. Народ будет владеть и управлять всем не через посредников и заместников, а сам. Сам! — повторил Прохоров. — Это значит, что к управлению должны быть привлечены самые широкие слои народа... И такие, как Яков Евсеевич Кумынин, как Терентий



Николаевич Лосев, и, уж конечно, такие, как Африкан Тимофеевич Краснобаев, — называя их, Прохоров указывал рукой на знакомых, известных всей Мильве рабочих.

Сеня, Толя и Сонечка Краснобаевы стояли неподалеку от трибуны рядом с отцом. Они мысленно благодарили оратора, который при всех так ясно дал понять, что у их отца и у всей их семьи общего с Игнатием Краснобаевым только фамилия.

Только фамилия!

Слушающим Прохорова хотелось верить, но еще не верилось, что к власти придут простые, совсем простые люди, составляющие большинство населения Мильвы, и не только Мильвы, но и всей огромной страны.

Если бы это все так и было...

Будет!

В наши дни, спустя столько лет, с высоты пройденного и достигнутого, легко говорить о величии ленинского гения, о значении памятного апреля семнадцатого года, но тогда, в дни, предшествующие первой социалистической революции, тогда, в пору брожения идей, кипения страстей, поисков правды, фальсификации истин, в пору организованного Временным правительством обмана миллионов тружеников, в пору появления и рекламирования сотен имен крикунов, наглецов, выскочек и прохвостов, претендующих на господство, — тогда нелегко было Ленину стать услышанным своим народом.

И такие, как Иван Макарович Прохоров — Бархатов, подымали народ, утверждая в нем великое коммунистическое становление.

Для многих уже не было сомнения, что партия Ленина станет главной движущей силой страны и времени.

Верили в это и три друга — Иль, Маврик и Санчик, — слушавшие, обнявшись, такие хорошие слова о том, какой должна быть жизнь.

Она будет хорошей. И об этом тоже должен Маврик сказать своей тетке. И как можно скорее объявить ей главный лозунг: «Вся власть Советам!»

И вот он бежит по плотине так, что в ушах свистит весенний ветер. И ему кажется, что сейчас он бежит вовсе не к тетке, а

навстречу времени... Навстречу времени, в котором так много заключено неизвестного, таинственного и прекрасного...